



*Александр Юман  
Торбовский Семенов*

# БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА





**Без единого  
выстрела: Из  
истории российской  
военной разведки**

*Александр Юман  
Торбовский Семенов*

# **БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА**

*Из истории российской  
военной разведки*

# **ГЛАВА I**

***«Бояре путные» и  
«сторожеставцы»***

# ГЛАВА I

*«Бояре путные»  
и «сторожеставцы»*



# ИСТОРИЯ ТЕРМИНА «ВЗЯТЬ ЯЗЫКА»

Новгородские берестяные грамоты — голоса минувшего. О разном повествуют они: о расставаниях и о встречах, о любви, о долгах и расчетах сполна, среди этих листков есть один, который как бы обособлен от прочих. Он предельно краток: «Литва встала на корелу». Подписи нет. Кому писалось — тоже неизвестно. Единственная фраза эта содержит военно-политическую информацию, сообщение о том, что литовцы начали войну с корелами, племенем, жившим в то время в Приладожье, на нынешнем Карельском перешейке.

Событие тысячелетней давности подтверждено летописными записями того времени. Кто автор донесения? Тогда не было еще, наверное, термина, которым обозначали этих людей. Сегодня их называют военными разведчиками. Возможно, эта берестяная грамота с одной-единственной фразой — донесение такого разведчика, сообщение о событии, имевшем для новгородцев значение исключительной важности.

Подобные вести — о военных событиях на границах, о приближении вражеских ратников — должны были поступать в срок. И горе, если весть об этом запаздывала или не приходила вообще. «А в то время, — пишет новгородский летописец, — князья мордовские подвели тайно рать татарскую из мамоевой орды на князей наших, а наши князья не ведали, им о том вести не было».

Для русских княжеств, окруженных половцами, татарами, печенегам, военная разведка была не вопросом удачно выигранного или вовсе не выигранного сражения. Военная разведка была условием национального выживания.

Как звали первых русских разведчиков, неизвестно для нас. Летописи не сохранила имен. Только о делах их упоминают они иногда, чаще всего кратко.

Ипатьевская летопись рассказывает о походе князя Игоря Святославовича против половцев. Не вслепую движется князь и его войско. Впереди и по сторонам следует войсковая разведка — «сторóжи», как называли их тогда. «Из Оскола все пошли дальше, — ведет повествование летописец, — и тут к ним приехали сторожи, которых послали ловить «языка». Они сказали: «Мы видели, что ратные ратники ездят в поле наготове. Или поезжайте быстро вперед, или возвращайтесь домой, ибо не наше нынче время».

Войсковая разведка, высланная вперед, «ловила «языка». Так далеко в прошлое уходит этот метод сбора сведений о противнике и само это слово — «язык».

Но уже в то время задача разведки понималась на Руси шире, чем только сбор информации. Не только это, но и борьба с лазутчиками врага, введение его в заблуждение, дезинформация — все это было делом разведки с первых же действий, с первых шагов русской военной истории.

Когда в 1170 году князь Мстислав Изяславович отправлялся на половцев, судя по всему, он постарался заслать им преувеличенные сведения о силах, которые шли на них. «Была весть половцам, — рассказывает летописец, — от пленника, от Гаврилки, от Иславича, что

идут на них русские князья, и побежали половцы, бросив жен своих и детей и повозки свои». Так, благодаря дезинформации Мстислав Изяславович достиг того же, чего мог бы достичь ценою битвы. Не князь идет на половцев, по словам пленника, а князья. По всей вероятности, это был человек, оказавшийся в плену не случайно. Как не случайна и весть, сообщенная врагу и вызвавшая панику в половецком стане. Не стал бы летописец сообщать об этом с таким торжеством, не стал бы имя пленника упоминать с отчеством — «Иславич», не будь у него причины говорить о нем столь уважительно.

К обману противника, к дезинформации, чтобы посеять в рядах его страх и смятение, русские военачальники прибегали не раз. Но мало было сказать врагу то, что надлежало ему сказать. Враг не был так глуп, и наивен, чтобы верить каждому слову пленного или перебежчика. Удостовериться в истинности речей был только один способ — пытка. Вот почему тот, кто принимал эту миссию, заранее возлагал на себя крест мученика.

На московском престоле «слабый царь», Федор Иоаннович. Правда, есть при нем крепкий человек, конюший боярин Борис Годунов. На него-то и ложится все большее бремя государственных, а главное, военных дел. Запад, юг, восток — каждая сторона грозит государству нашествием и войной.

4 июля 1591 года набатом гудят все сорок сороков московских церквей. Крымский хан Казы Гирей что шел-де с войском на Литву, повернул внезапно свои полки и двинул их на Москву. Ночевал хан в Лопасне, а

ныне расположился станом совсем у столицы, против сельца Коломенского.

Москвичи попытались было поставить заслон — отправили на Пахру двести пятьдесят человек детей боярских. «Им было велено стать на реке и промышлять над передовыми крымскими людьми; эти передовые люди сбили их с Пахры, ранили воеводу и много детей боярских побили и взяли в плен». Так говорит об этом С. М. Соловьев в своей «Истории России».

Москва не ожидала нашествия. Плохо было в городе с войском. Двое князей, Андрей и Григорий Волконские, отправлены были со стрельцами на запад, воевать со шведом. Неужели опять, как встарь, гореть Москве, а жителям, кто уцелеет, таиться по окрестным лесам да оврагам?

Счет шел даже не на дни, счет шел на часы. Тогда-то Борис Годунов и велел сыскать некоего верного человека из московских дворян. С ним вел он речь с глазу на глаз, о чем — неведомо, но велел после того одеть человека в богатые одежды, коню же его подобрать сбрую узорную из серебра да золота. Потому что знатному человеку велика цена, а словам его большая вера.

Когда же настала ночь, тревожная ночь то ли перед неравным боем, то ли вовсе перед гибелью города, поднялись вдруг в Москве шум, крики, пальба. Ратные люди били в колотушки, кричали что было мочи, палили из ружей в белый свет — так можно было бы сказать, не будь всего этого глухой ночью. Встревоженные жители лепились испуганно вдоль заборов, недоумевая, что за шум, уж не беда ли, не ворвался ли хан в город? Но хан в город не ворвался. Переполох был поднят по велению

Годунова. «По какой же причине, — отвечали обывателям ратные люди, — о том ему самому да одному царю ведомо».

Шум и переполох этот были частью операции, о которой знали в городе только несколько человек.

В неурочный час, той же ночью, задолго до рассвета окна в семейной церкви Годуновых были ярко освещены. Пели певчие из монахов, вел службу священник и весь причет. Из мирян же в храме были только двое — сам Годунов да неведомый человек в знатных одеждах. Ради него-то совершалась сейчас служба. Идя на дело, он должен был причаститься и собороваться, совершить то, что делает человек, стоя у порога смерти.

Только двое провожатых сопровождали его до места, откуда виделись уже красноватые костры, горевшие всю ночь под Коломенским. Там была ставка хана.

Провожатые остались позади во тьме, всадник же пустил коня своим ходом в сторону огней. Недобрый их свет с каждым мигом становился все ближе. Можно было еще повернуть обратно, можно было свернуть в сторону на глухую тропу, и тогда мученическая чаша минула бы его. Но, держа при себе утешительную эту мысль и зная, что не свернет и не возвратится, он продолжал двигаться на красноватое зарево, пока откуда-то из темноты, из кустов не бросились к нему с протяжным визгом сразу несколько конных. Татары. Всадник разжал пальцы, и поводья упали. Теперь уже все. Теперь не было пути ни в сторону, ни назад. Но он принял свой жребий. Ради города и людей, живших в нем.

Его сорвали с коня, завернули зверски руки назад, так что в глазах поплыли круги. В лицо пахнул острый,

чужой запах — сырой кожи и еще чего-то. Разглядев, что это не простой человек, татары ослабили путы, даже посадили на коня и подвезли к шатру хана. Если б не знатные одежды, бежать бы ему за татарским конем с ременным арканом на шее. И в шатер его не втолкнули, не швырнули на землю, как простого пленника, а ввели. Ниц же перед ханом он опустился сам. Но на колени стал не поспешно, не по подлому и рабскому обычаю, а степенно, как перед самим государем вставал бывало. Так же и челом приложился.

Несмотря на поздний час, хан не спал. Не спали и мурзы, несколько человек.

По лагерю, как везли пленника, успел заметить он немалую суету и движение. Ко времени попал он к хану. В самое время. Только бы поверил хан, только бы сбылось, что задумано!

Как и велел ему Годунов, он принялся плаксиво излагать хану свои обиды на царя Федора да на бояр, а пуще всего на самого Годунова. Но едва переводчик зачастил, перекладывая слова на татарскую речь, как хан перебил его. Недосуг и не интересно было хану слушать его обиды. Был же хан лицом кругл да глазами быстр, более же ничего приметного за ним не было.

Перебив толмача, хан стал спрашивать, что там ночью в Москве стрельба да шум учинились, не бунт ли? На это ответил ему беглец, как бы нехотя и неподробно, что то прибыла подмога к московскому царю из Новгорода да из Польши, всего же тысяч до тридцати. Оттого-то в городе такая радость и пальба учинилась.

Покуда беглец говорил все это и слова его переводились хану, успел он подивиться на толмача. Не татарин, из русских, казак, видать. Как попал он к

неверным? Тот же, почувствовав к себе от беглеца внимание, чуть заметно, между делом, подмигнул ему. Одного, мол, мы, боярин, с тобой поля ягоды, оба беглые, под ханской волею ныне, но ничего, мол, перезимуем. Так хотел бы сказать ему толмач, и так он его понял.

Услыхав о подмоге, вскочил хан, стал что-то быстро говорить мурзам, что были с ним. Те заспорили о чем-то между собою. А один кричал визгливо и руку в сторону беглеца тянул, на него указывал. О нем, видно, шла речь, о нем вышел спор. Когда же подняли его с земли, то сделали это уже без всякого почета и, сорвав с него красивые одежды, поволокли из шатра. Толмач тогда и вовсе отвернул лицо: не одного мы с тобой поля ягоды, а разные люди, и судьба наша разная. Но те, что вели беглеца, крикнули толмачу что-то, и он птахою снялся с места, поспешив им вслед. Поспешил, чтобы переводить пытошные речи, потому что велено было перебежчика пытать крепко, чтобы верно узнать, точно ли прибыли в Москву ратные люди, сколько их и не врет ли он часом.

Горели костры в поле. Пофыркивали и шелестели во мраке чужие кони. Далеко было до рассвета. Чтобы не ходить далеко, беглеца поволокли к ближнему из костров. Он пытался идти сам, но его все равно тащили, потому что те, которые вели его, знали, что сам, своими ногами не может идти человек на то, что его ждало.

Лазутчики, которых всю ночь посылал Годунов к татарскому стану, не принесли никакой новой вести. Затих к утру лагерь, и неведомо было, готовятся ли татары к бою или, может быть, ждут чего. И только когда совсем рассвело и ушел туман, стали видны догорающие

костры и в спешке брошенный, совершенно пустой лагерь.

Хан поверил перебежчику. Да и как было не поверить, если тот не отрекся от своих слов под самой страшной пыткой. Тот же час, пока не рассвело, без шума снялись с места татары, бросив обоз и припасы, рассудив разумно, что лучше оставить под Москвою свой скарб, чем жизни.

Русская конница, бросившаяся в погоню, нагнала под Тулою лишь самый хвост татарского войска. Но ни там, ни позднее в южных степях, куда завело их преследование, не встретился конникам ни живым, ни мертвым тот «перебежчик», что ехал один через ночь на свет костров, горевших перед Коломенским. Держа данное слово, Годунов велел отслужить панихиду об убиенном рабе божьем.

За избавление Москвы от неминуемой гибели царь Федор Иоаннович пожаловал воевод кого одной, а кого и двумя золотыми монетами. Борису Годунову сверх того дана была шуба с плеча государева и золотой сосуд «Мамай». Назывался же он так потому, что в свое время захвачен был ратниками после Куликовской битвы.

...Первого сентября 1380 года в величайшей тайне три войска должны были встретиться на берегу Оки — литовского князя Ягайло, рязанского князя Олега и хана Мамай. Оттуда эта несметная разноязыкая рать должна была двинуться на Москву. Если бы все произошло, как было задумано, Москва бы пала.

Бывают ситуации, когда действия и поступки одного-единственного человека надолго вперед определяют последующее направление событий.

Имя боярина Захария Тютчева не столь уж известно в русской истории. Школьники не заучивают дат его жизни, нет ему памятников, и нет в городах улиц, названных его именем. Был же боярин тот всего-навсего послом, отправленным московским великим князем Дмитрием в Золотую Орду. Но не как дипломат оставил память он о себе в истории, хотя дипломат Захарий Тютчев был многоопытный и тонкий. Иные его качества дают нам повод вспомнить о нем сегодня — качества разведчика.

Будучи в ставке Мамаю, неизвестными нам стараниями он разузнал о плане соединения трех войск и совместном походе на погибель Москве. Не теряя ни дня, ни часа, отправляет он гонца к князю прямо из ставки Мамаю.

Дмитрий решил опередить врагов, не дать им объединиться, разбить до этого главного своего противника — Мамаю. Но он должен знать все о нем и о движении его сил.

Скачут кони, скачут день, скачут третий и все на юг. Торопят, погоняют их ратники. Это отряды разведчиков («крепкие сторо́жи»), отправленные князем Дмитрием в придонские степи. Нелегко конным прятаться в открытой степи, нелегко «добыть «языков», да еще чтобы расположенная по соседству орда не заметила, что появились разведчики, не спохватилась, куда деваются ее люди.

Родион Ржевский, командир одного из отрядов, доносит вскоре князю, что татары действительно идут на Русь. Но не торопятся, дожидаясь, видно, союзников и когда на Руси будет собран урожай, чтобы было что воевать и грабить.

15 августа назначено князем днем сбора дружин. Когда же войско его переправилось через Оку, князь высылает вперед «под самую татарскую сторо́жу» оперативную разведгруппу — так сказали бы мы сегодня. В составе группы пятеро московских дворян, особо искусных в делах такого рода. Эти умеют так затаиться в степи, что конный рядом проедет, не заметит, пес пробежит, не почует. Эти не станут хватать первого) встречного татарина, чтобы притащить его в качестве «языка». Они и первого пропустят, и десятого, чтобы взять наконец одного, да такого, который стоит ста. Горский Петр и Александрович Карп из этой пятерки сумели прихватить именно такого — человека из свиты Мамай. Само собой, такой человек не ездит без слуг и охранников, да и в пустынных местах ему делать нечего. Брать его пришлось чуть ли не в самой Орде и среди бела дня, да так еще, чтобы шума не было.

Но не зря старались разведчики. Сведениям, которые сообщил этот «язык», цены не было. Мамай, показал он, с войском стоит за Доном, всего в трех переходах от русских. Двигаться же не спешит, ожидая подхода литовцев и рязанского князя Олега. О том, что русская рать вышла ему навстречу, Мамай не знает, полагая, что Дмитрий-де не решится на такое дело. Всего же сил татарских 200—300 тысяч.

С такими данными, да еще при условии, что Мамай не догадывается, о приближении русских, можно было принимать решение, можно было развертывать силы и навязывать татарам сражение. Князь Дмитрий так и сделал. Но при этом ни на один час не прекращал он активность своей разведки. Всю ночь накануне

Куликовской битвы князь лично провел в разведке вместе со своим воеводой Боброком Волынским.

Так донесение Захария Тютчева явилось первым звеном последующего хода событий: решения князя опередить врага, собрав русское войско, и, наконец, самой Куликовской битвы и разгрома татар. После победы на Куликовом поле конец татарского ига был предрешен. Предрешено было в значительной мере и политическое будущее Москвы.

Но до этого некогда был день и был час, когда боярин Захарий Тютчев, уединившись в ставке Мамаю, сочинял свое тайное письмо князю. Мог ли он знать тогда, выводя первые свои строки, что не просто донесение пишет он, а творит нечто большее?

## **КАК ОТРАЗИЛИ «ЗЛОБНЕЙШИХ ШВЕДОВ»**

Появление сильного Русского государства изменило весь политический климат Европы. «Непреодолимое влияние России, — писал К. Маркс, — застигало Европу в различные эпохи врасплох и приводило в ужас народы Запада: ему подчинялись, как фатуму или конвульсивно сопротивлялись».

С Россией можно было торговать либо воевать. Сама Россия предпочитала торговлю. Но в любом случае, чтобы иметь дело с этой страной, о ней надо было что-то знать. Дипломаты, купцы, путешественники, посетившие русские земли, по возвращении часто выпускали нечто вроде путевых заметок. Записки эти всегда пользовались повышенным спросом. Интерес Европы к России нередко давал повод к разного рода легендам, которым, впрочем,

верили тем охотней, чем фантастичней и несообразней они были.

Зигмунд Герберштейн, немецкий дипломат и путешественник, прибыл в Москву в 1517 году. Как посол императора Максимилиана он вел с великим князем сложные дипломатические переговоры. Заодно же старался разведать, что мог, о стране, о городах и людях, живущих в ней. Вторично посетил он Московское государство через девять лет. Итогом этих путешествий стала его книга «Записки о московских делах». Среди описаний торговых путей, поселений, ремесел, а также и других полезных сведений есть там и рассказ о странном существе, именуемом «баранец». Живет или, вернее, растет «баранец» в русских степях. Когда созреет, то падает с дерева и начинает есть траву, как овца. Из меха этого «баранца», по его словам, русские делают свои знаменитые шапки.

Сообщения других путешественников или просто людей, побывавших в России, нередко были под стать этому. Значительно позднее, в 1728 году, английский консул писал из Петербурга своему начальнику в Лондон: «Я прошу вашу светлость не обращать внимания на сообщения, появляющиеся в газетах в отношении этой страны. С тех пор как я нахожусь здесь, я не видел о ней ни одной правдивой статьи».

Из этого отнюдь не следует, впрочем, будто все сообщения, касающиеся Русского государства, были такого рода. Выдумки, легенды и прямая ложь становились неизбежной издержкой контактов, Если газетчики или путешественники еще могли позволить себе это ради интереса или красного словца, то никоим образом люди, чьей профессией был сбор информации.

Такие люди, то есть разведчики, пользовались, понятно, любым поводом, чтобы узнать о России как можно больше.

Антони Дженкинсон, для русских — английский купец, дипломат, путешественник, четыре раза посетил Россию. Не раз встречался он с Иваном Грозным. По разрешению царя Дженкинсон совершил путешествие через всю Россию в Персию и Среднюю Азию. Итогом его трудов и наблюдений явились путевые заметки. Сейчас это ценный исторический источник, в его же время — источник не менее ценный военно-стратегической информации. Им же была составлена и выпущена в 1562 году первая английская карта России.

Через несколько лет в Лондоне выходит новая карта Русского государства. Автор ее, служащий английской торговой компании в Москве, человек, казалось бы, весьма далекий от географических интересов. Карта оказалась составлена с профессиональной, далеко не любительской точностью. В пояснении говорилось, что каждый пункт, изображенный на ней, строго привязан к долготе и широте, «как до сих пор никто еще не делал».

Повышенная любознательность иностранцев давала повод для обоснованных тревог и опасений. Тем паче когда за этой любознательностью стоял конкретный военный интерес. В то время единственным морским выходом России в Европу был Архангельск. Он-то и стал той дверью, через которую старались проникнуть в страну не только торговые гости, ученые и мастера, но и лазутчики.

Торговые люди, мастеровые, военные специалисты из разных стран — все они, понятно, нужны были молодому государству, всем им находилось здесь место.

Но приток этих людей должно было упорядочить и поставить под контроль.

Об этом Иван Грозный пишет указ и рассылает его пограничным воеводам. Приезжают к архангельскому городу торговые люди из разных стран, пишет Грозный, свободно едут из Архангельска по другим городам и даже в Москву, «а того не ведомо, какие люди, и проезжих у них грамот нет, ездят самовлаством». Царь поясняет, в чем опасность такого положения дел: «А иные иноземцы ездят из цезаревых и литовских городов не для торгу, для проведывания вестей и живут в городах и долгое время ездят к городу Архангельску и от города по моря по своя воля». Как бы от таких приезжих «какова дурна и лазутчества не было», а посему, заключает царь, не пускать их дальше Архангельска и задерживать там.

Но не только о литовских, цезарских и шведских лазутчиках была забота царя. Свежи в памяти народа были войны с татарами, завоевание Казанского ханства. Поэтому к восточным купцам проявлена была не меньшая осмотрительность. Особенно в пограничных городах царства: «Жить им в Казани много однолично не давати, чтобы они, живучи в городе и в остроге, никаких крепостей не рассматривали и вестей никаких не разведывали».

Шли годы, сменялись цари на московском престоле, но иностранные разведки не прекращали своего настойчивого интереса к русским делам. Вполне понятно, российская сторона принимала свои меры предосторожности, нередко довольно суровые. В 1586 году король датский пишет царю Федору Иоанновичу. Просит король, августейшего своего собрата сыскать и отпустить на родину его подданных — Юрия Герса с

товарищами, поехавших к царского величества Зеленой Земле, но земли той не нашедших и попавших на Новую Землю и там схваченных. Царь Федор отвечал королю датскому с присущей ему кротостью: «И нам было того человека сыскивати непригоже для того, что тот человек ездил кораблем в чужой, земле лазутчеством и таких везде, имая, казнят».

Но наука, видимо, не пошла впрок. Русские берега и секреты обладали, очевидно, неодолимой притягательной силой. А может, и не они сами, а те деньги, которые королевская казна предлагала за эти секреты. Еще один датский корабль был задержан русскими. И снова по обвинению в шпионаже. И опять с поличным.

Целых два года продолжалась переписка между двумя дворами. Царь Михаил, первый Романов, так отвечал датскому королю: «Пристал де тот дацкий корабль в нашем государстве к Колскому городку в осень, а ходил де тот корабль к нашим северным землям, к Пустозеру, а начальник человек на том корабле был вашего государя торговый человек Клим Юрьев (Блуме), а товаров на том корабле не было никаких, кроме съестного, бес чего быть нельзя, тем делом кабы они приходили лазутчеством к нашей царского величества земле чего проведывать».

Нужно было проявить величайшую беспечность или весьма недооценивать своего противника, чтобы отправиться на такого рода предприятие, не захватив хотя бы какого-нибудь товара — для прикрытия, для камуфляжа.

Иностранным разведкам не раз приходилось расплачиваться за недооценку русской секретной

службы. При желании, казалось бы, можно и научиться. Да и пора бы. Но к происходящему примешивались иные факторы. Появление огромного Русского государства на востоке внушало страх политикам и правителям Европы. Одни пытались противостоять этой, как им казалось, опасности. Другие стремились уйти от этого страха в комплекс собственного национального превосходства. Проявлением этого комплекса, порожденного страхом, было пренебрежение ко всему русскому и, как часть целого, недооценка русской секретной службы. Это было жестокое заблуждение, и впадавшие в него, подобно датским «купцам», должны были расплачиваться за свою гордыню.

Само собой, деятельность русской секретной службы, как и всякой другой, не состояла из сплошных триумфов. Были у нее и свои удачи, и поражения, были периоды активности и полосы недолгого затишья, когда на границах Московского государства не собирались недобрые тучи, не предвиделось войн и нашествий. Во времена Алексея Михайловича штат разведки состоял всего из одного дьяка и пяти подьячих, входивших в приказ Тайных дел. Очевидно, это был самый небольшой аппарат разведки, существовавший в те годы. В других европейских государствах делом разведки занимались десятки профессионалов и множество агентов. Только во Франции на «секретные дела» ежегодно ассигновывалось 5 миллионов ливров — фантастическая сумма!

Правда, малые масштабы дел разведки при Алексее Михайловиче позволяли царю самому вникать во все их детали, например, сочинять шифры для тайной переписки. Царь любил заниматься этим и делал это на вполне профессиональном уровне.

Вообще же, ведением военной разведки занимались в Московском государстве «бояре путные», или «путники», как их тогда называли. Когда же в XVII веке появились полки иноземного строя, офицеры, ведавшие войсковой разведкой, контрразведкой и охранением, стали называться «сторожеставцы» — это были те, кто «ставил», то есть организовывал, высылал разведывательные партии — «сторожи». При Петре I создается квартирмейстерская часть при генеральном штабе и должности квартирмейстеров. «Полковой квартирмейстер, — гласил устав тех лет, — не имеет в русской земле столь много дела, как и в иных землях, а особливо у цезарцев».

Туда, в иные земли, к цезарцам отправлял царь Петр доверенных своих людей, которым поручался сбор самой различной информации — что умышляют против России ее враги, каковы их силы, вооружение. По заданию царя русский представитель в Вене, отправляя одного такого человека в Венецию, поручил ему «проведать накрепко и взять на письме, или записать подлинно самому: на кораблях турецких и венецийских и на катрогах и на бригантинах, поскольку на каждом судне пушек бывает и людей и о всем состоянии того морского каравана».

Сведения о турецких кораблях, о числе пушек на них пригодились, надо думать, в годы последующих баталий, в годы азовского и крымского походов.

Когда российские фрегаты в первый раз салютовали над свинцовыми водами Финского залива, гром их пушек слышен был и в Лондоне и в Роттердаме. Но громче всего он отозвался в Стокгольме.

В водах Балтики тесно двум флотам, шведскому и русскому — так полагал Карл XII. Мысль эту он позаботился воплотить не в словах, а на деле. Северная война, которую пришлось вести России, была одной из самых жестоких войн той эпохи. Это был поединок не только военной мощи, это был поединок военных талантов каждой из сторон и, само собой, военных разведок.

...Почему бы храбрым шведским офицерам не посидеть своей компанией и не поговорить о делах в этой портовой таверне Антверпена? Кто услышит их здесь, за тысячу миль и два моря от русских? Да и кому охота вникать в их речи?

Они сидели за большим столом, пили вино, которое одинаково скверно во всех портах, и говорили о делах войны, что шла тогда и которую только потом назовут Северной. О славных набегах и о схватках на море говорили они, о том, что русские корабли медлительны и что на них слишком много пушек. И еще говорили они о предстоящем деле. Но поскольку дело то было в большом секрете, упоминать о нем решались только вскользь и то намеком.

И лишь позднее, когда вино возымело свое действие и языки развязались, они заговорили о деле в полный голос.

— Господа, господа! А представляете себе, какое лицо будет у царя, когда ему доложат об этом? А, господа? — И толстяк со шрамом на подбородке вытянул подвижное лицо и выкатил глаза, изображая крайнюю степень изумления и испуга. Он поворачивался в разные стороны, пока все за столом не оценили его шутки и не захохотали.

— Царь-то что. — Толстяк вернул лицу обычное свое выражение. — А вот воеводу в Архангельске мы удивим. То-то обрадуется: купцы пожаловали!

— Бах! — наставил на него палец сосед.

— Бах! Бах! — подхватили остальные и снова долго смеялись.

— А что, господа, я полагаю, экспедиция задумана основательно...

Почему бы не поговорить им, храбрым шведским офицерам, о своих делах? Кто услышит их здесь, за тысячу миль и за два моря от русских? Да и кому вникать в их речи? Не глупому же слуге, что приносит им вино и ни слова не понимает по-шведски. И не этому бродяжке с деревянной ногой, что совсем пьяный сидит со своей бутылкой. А в другом конце зала шумела своя компания, и оттуда слышались женский смех и песни.

Уходили они уже за полночь. Последним шел толстяк, он все никак не мог одолеть, высокий порог, и другие офицеры со смехом вытащили его на улицу.

Человек с деревянной ногой дождался, пока стихли их голоса на лестнице и последний раз звякнула колокольцем входная дверь. Только тогда он встал и, чуть припадая на деревяшку, направился в каморку, что была рядом с кухней. Слуга бегом принес ему свечу, перо и бумагу. Человек плотно прикрыл дверь и сел к столу. Выражение пьяной сонливости сошло с его лица. Сейчас, именно сейчас, по свежей памяти должен он записать весь слышанный им разговор.

Рано веселились, рано смеялись эти шведы. Про все написал он, про все. И про адмирала Съеблада, которому король Карл поручил это дело, и про то, где готовится

сама экспедиция и корабли — в Готенбурге. Все написал он, все, что слышал. А чего не мог написать, то додумал про себя. И он бы мог сидеть вот так же, как они, за большим столом, офицер среди офицеров. Так и было до недавнего времени, пока не пришел тот несчастный день и злосчастный залп со шведского фрегата не сломал его жизнь пополам. Уволенный с русской службы с аттестатом и деревянной ногой, он вернулся в Голландию, где не знал бы, чем занять себя, если бы верный человек не шепнул ему заглянуть к русскому представителю. Так оказался он снова при деле. А теперь уж, наверное, и при деньгах. За военные сообщения резидент платил щедро, а за такую весть тем паче.

Слишком уж много смеялись шведы, очень уж они веселились. Может, так же смеялись они, когда дали тот злосчастный залп изо всех двенадцати корабельных пушек?

В том же, 1701 году, в самом начале июля, караван купеческих кораблей вошел в устье Северной Двины. Два больших голландских фрегата, один английский и несколько парусников поменьше. Их и ждали и не ждали: летнее время — время навигации, но кто может знать, когда торговые люди пожалуют, может, завтра, а может, на той неделе.

Войдя в устье, корабли стали на якорь, ожидая лоцмана, или «вожа», как звали их в тех краях. Но он, видно, не торопился. Только к обеду от зеленого берега отошла лодчонка и стала приближаться к одному из кораблей. Волна была сильная, и лодка, ныряя носом, двигалась медленно и с трудом.

Приблизившись, легкой скорлупкой она плясала вверх и вниз у высокого борта, и гребцы прилагали все

силы, чтобы лодку не унесло прочь или не разбило в щепы, швырнув на корабль. Сверху свесился мокрый от брызг просмоленный веревочный трап. На палубу поднялись трое. Один был велик телом, лохмат и смотрел исподлобья. Именно таким моряки, никогда не видевшие русских, представляли их себе. Другой был постарше, щупл и белобрыс. Третьим оказался толмач. Главным, видно, был второй. Он же и говорил, другой больше молчал либо кивал в знак согласия.

— Счастливо плавать — Рука у щуплого старшего лоцмана оказалась неожиданно крепкой, а пожатие сильным.

— На торговые дела пожаловали?

— Рябов, Дмитрий, — представился тот, что был старше.

— Дмитрий, — буркнул другой.

Толстяк, со шрамом на подбородке, видно, шкипер, протянул руку другому лоцману, но тот только подержал ее в огромной своей лапе и мягко отпустил — боялся не соразмерить силы. «Дикий народ», — подумал толстяк в дружески улыбнулся. Но лоцман не ответил на улыбку и смотрел по-прежнему исподлобья.

— Жаль, Алексеича нет, сказал Рябов и зыркнул на толмача. — Толкуй им, чего молчишь? Жаль, говорю я, Алексеича нет нынче. Без Алексеича как корабль провести можно? Он первый лоцман в этих краях. Сорок лет плавал, каждый камень знал. Без него-то как?

Толмач перевел. Шкипер не понял, к чему бы это.

— Какой Алексеич?

— Какой Алексеич? — перевел толмач.

— Да лоцман, старик. Какой народ непонятливый. Бывало говорю ему: «Алексеич, без тебя-то как жить нам будет?» А он мне...

Толмач переводил. Толстяк слушал, кивал и чувствовал, как голова у него начинает пухнуть.

— А нынешний год у нас такой случай вышел, — не унимался Рябов. — Приняли мы два парусника, из цезарских земель...

— Любезный, погоди, — перебил его наконец шкипер. — Недосуг нам, скажи ему, — обернулся он к толмачу. — Скажи, что нам дело наше совершить надо. Надо к пристани подойти. Мы хорошо заплатим ему и его товарищу. Да и твоих трудов не забудем. Скажи ему.

Рябов и другой лоцман посмотрели на небо, потом в сторону города. Покачали головами.

— При нынешнем ветре какой проход кораблям будет? Вот Алексеич, царство ему небесное, бывало, по-над ветром ведет корабль. А сам от берега наискосок, наискосок правит. Вот как! Переведи-ка ему. Может, поймет.

Толстяк понял уже, что судьба, которая до этого сопровождала их кораблям и всему предприятию, послала лоцманов на редкость бестолковых и глупых. Но, оказалось, не только глупых — к тому же и упрямых. Почему-то они настаивали, чтобы первым шел фрегат с наименьшей посадкой, а последним из трех тот, что сидел ниже всех. В этом не было никакого смысла. Но что этим русским здравый смысл?

Рябов остался на первом фрегате. Другого перевезли на последний из трех, тот, что шел под

английским флагом. Остальные парусники должны были замыкать движение.

Когда корабль стал ставить паруса и выбирать якорь, толстяк не верил, что дело сдвинулось наконец с мертвой точки.

— Нет, ты скажи, ты скажи мне, зачем человек на свете живет? — не оставлял его Рябов. — Не знаешь? А я вот что скажу...

Толстяк отдал бы месячное свое офицерское жалованье за удовольствие сбросить этого типа в воду. Жаль, когда они подойдут к пристани, у них будут другие дела, не до того будет. Хотя, может, и найдется минута.

Медленно-медленно, почти незаметно караван пришел в движение. Первым снялся с места головной фрегат. Постепенно, по мере того как ветер заполнял паруса, он двигался все быстрее, рассекая непрерывную пляску волн.

Теперь лоцман стал другим человеком. Замерев рядом с рулевым, он управлял каждым его движением, каждым касаньем руля. Всматриваясь в однообразную рябь волн, он видел под ними то, что незримо было никому, кроме него, чуть заметным мановением руки указывал рулевому взять чуть влево или на несколько сажений правее. Временами и только на секунду отрывал он взгляд от воды, чтобы взглянуть на какой-нибудь прибрежный ориентир — дерево, стоявшее у воды, или большой камень. По мере того как они приближались к ним или миновали, было видно, чувствовалось, как нарастало или спадало его напряжение. Остальные корабли на близком расстоянии следовали за ведущим, тщательно воспроизводя его движения и маневры.

Архангельск стал виден по левую руку. Когда плавно обогнули остров, открылись приземистые дома, пакгаузы и причалы. Стал виден и ближний пустынный берег. На скалистом всхолмлении стоял плетень, отгораживая со стороны реки неведомо что и неизвестно для чего. Отметив это каким-то боковым зрением, толстяк успел подивиться нелепости сооружения. Впрочем, русские вечно разводят секреты! Видно, они только что минули какое-то особо опасное место, потому что Рябов снял шапку и размашисто перекрестился.

Нет, не сбросит его шкипер в воду, даже когда достигнут они причала. Без него не пройти им обратный путь. И, движеньем руки подозвав боцмана, толстяк шепнул ему что-то, указав глазами на Рябова. Боцман только ухмыльнулся и кивнул головой. Толстяк собирался сказать ему еще что-то, как увидел, что тот, подброшенный непонятной силой, полетел вдруг, распластав руки, на корму. Он сам не успел еще сообразить, что произошло, как руки его автоматически вцепились в поручни, удержав от падения. В ту же секунду раздался страшный треск. Это был звук, который морякам, пережившим его, снится потом всю жизнь в самых страшных снах.

Это был звук кораблекрушения. Фрегат сел на камни.

Порыв ветра резко рванул паруса, так что несколько мгновений казалось, что корабль вот-вот снимется с камней. Но этого не случилось. Только снова раздался треск. И тогда-то на палубе появились солдаты. Заливаемые водой, они лезли из трюма, расталкивая друг друга, топча упавших, не видя и не слыша своих офицеров, движимые одним стремлением — жить! Через

минуту вся палуба была уже заполнена людьми в мундирах. Маскарад, столь тщательно оберегаемый, был нарушен на виду всего города и нарушен необратимо.

Второй фрегат, шедший следом, тоже застыл в странной неподвижности и наклонился самым неестественным образом. Третий, пытаясь сойти с курса, взял резко вправо. Это был самый большой фрегат, сидевший в воде ниже других. Он почти завершил свой маневр, но вдруг тоже замедлил движение, дернулся и застыл. Паруса продолжали свое усилие, с каждой секундой все глубже погружая днище в песок. Не выдержав противоборства, мачты обрушились с грохотом, накрыв палубу обломками дерева и парусами. И словно всей этой картины гибели и поражения было мало, над бухтой прокатился недружный гром пушек и на берегу поднялись облачка дыма. Нелепый плетень лежал теперь на земле, открывая скрытую за ним батарею, нацеленную прямо на то место, где застыли три корабля. Ядра попадали в воду, не долетев до них добрую сотню ярдов. Но русские, видимо, этого и хотели. Это был не прицельный выстрел, это был ультиматум.

Парусники, что следовали за фрегатом, стали тут же заворачивать, чтобы, двигаясь против ветра, на одном течении выбраться в сторону моря. Напрасно терпящие бедствие призывали их на помощь. Подставлять свое днище подводным камням, а себя огню батареи не решался и не хотел никто.

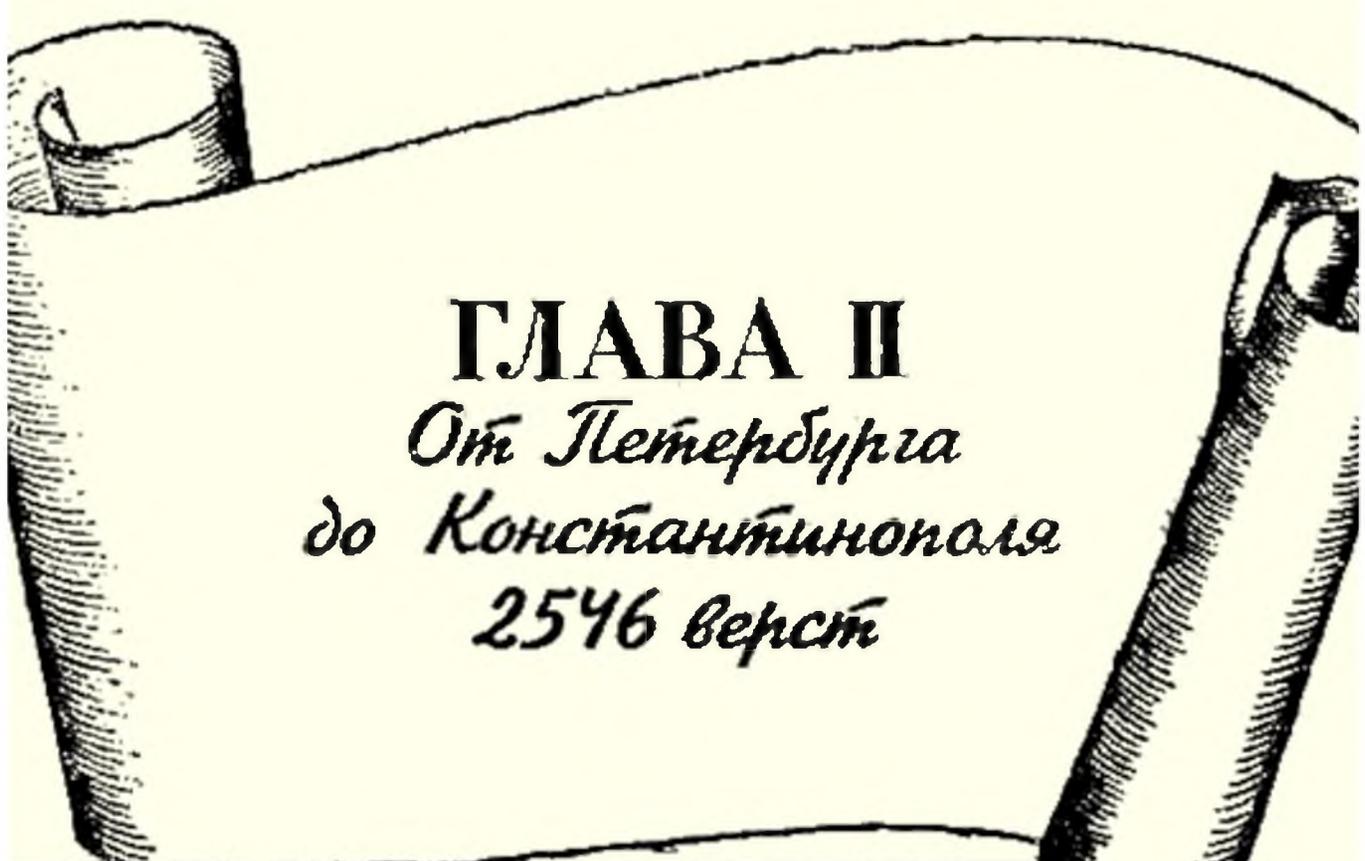
За всей этой паникой и суетой никто не заметил исчезновения лоцманов. Но с берега заметили их. Три темные точки, то появлялись, то исчезали в волнах, приближались к лодке, высланной им навстречу.

Сжечь и разрушить Архангельск — так замыслено было шведами. Это перекрыло бы путь в Россию амуниции и снаряжения в самый разгар войны. Получив донесение из Амстердама, Петр повелел расстроить тайные козни шведов. Батарея, установленная на берегу, была приурочена к их визиту. Но главное посрамление нанесли им «вожи», Дмитрий Рябов и Дмитрий Борисов. Сделанное ими равно было выигранному сражению.

Получив из Архангельска рапорт о том, как русская секретная служба перехитрила и переиграла шведов, Петр в походной своей палатке составил ответ П. М. Апраксину. «Зело чудесно!» — писал он, поздравляя своего генерала с удачей и с тем, что люди его отразили «злбнейших шведов».

# **ГЛАВА II**

***От Петербурга до  
Константинополя 2546  
верст***



**ГЛАВА II**  
*От Петербурга  
до Константинополя  
2546 верст*



В XVIII веке южная граница России была одной из самых тревожных ее границ. Набеги татар на Украину, бесконечные вылазки крымского хана держали южную часть империи в состоянии необъявленной, но постоянной войны. Положение это не могло продолжаться вечно. В 1736 году днепровская армия фельдмаршала Б. К. Миниха штурмом взяла перекопские укрепления, а донская армия овладела Азовом.

## **ЗЛОДЕЙ ЗАХВАЧЕННЫЙ В ДУБОССАРАХ**

«Так как Турция находится в крайней слабости, то от Вашего Императорского Величества зависит повелеть войскам идти прямо на Константинополь: как скоро они вступят в Буджак, то тамошние татары покорятся. Молдавия и Валахия поднимутся непременно: по переходе через Дунай и овладении магазинами встанет и остальное население, отягченное и разоренное до такой степени, что домов своих отступается; христиане поднимутся во всей Греции; останется напугать Константинополь и заставить бежать султана. Для этого достаточно несколько морских судов подвести По каналу и высадить 20 тысяч войска. Самое способное для этого время — будущая осень и зима.

Русский посол в Константинополе Вишняков императрице Анне Иоанновне. 1736 год, июль».

Двенадцать всадников, двенадцать серых теней, распластавшись в воздухе, слились с предрассветным сумраком. Через несколько секунд их не стало видно, а

через минуту замолк вдали даже дробный стук копыт приглушенный слоем дорожной пыли.

Есаул держался на полкорпуса впереди остальных. Он был старшим в партии и поэтому шел первым.

Тот, кто следовал сразу за ним, был так же неразличим в сумраке, как и остальные. Но чутким казацким ухом есаул отличал ход его коня от прочих. Конь чувствовал всадника и под человеком невоенным всегда шел чуть иначе. Тот, что двигался за есаулом, и правда был человек цивильный. И не в пример другим жителям Бессарабской земли светловолосый.

Две недели назад он прискакал верхом на взмыленном коне в Киев, прямо в ставку русской армии, и шепнул дежурному офицеру секретное слово. И сразу же без доклада препровожден был к секунд-майору.

— Хозяин корчмы под Дубоссарами, — доложил он, — срочно велел передать, что прибыл, мол, с вашей стороны через линии турецких войск неведомо кто. Человек армянского вида, собой чернявый. А, выпив вина, стал хвастать, что везет, мол, шпионские бумаги самому турецкому паше в Бендерах. И что паша тот отправит их-де в Стамбул самому султану, а ему паша за это золота даст, сколько душа его пожелает, так что он не только корчму эту, а все Дубоссары и весь край молдавский на эти деньги купить будто бы сможет. А что это за бумаги, человек тот никак не сказывал. Говорил лишь, что получил их в Киеве от некой важной персоны и что теперь, мол, турки не только что русские укрепления, но и сам Киев без труда могут взять. Войску же российскому по этой великой оказии ничего, мол, не останется, как чинить отступление по всей линии.

Корчмарь, льстивыми речами пьяного убажывая, все подливал вина, чтобы поболее у него выведать. Узнал же и то, что в Бендеры злодей не вдруг наведаться хочет, но не ранее, чем когда весть получит, что турецкий паша из Крыма туда возвратился. Пока же он здесь, в Дубоссарах, остаться намерен, да велел, чтобы никому о том вести никакой не было. Клятвенно его в том заверив и отведя злодею лучшую комнату, корчмарь сына своего Стефана тотчас же отправил к русским. Он-то и двигался сейчас следом за есаулом как провожатый. Но не только как провожатый, а, по мысли есаула, еще и как залог, дабы не было все это ловушкой и не приключилось бы с ними всеми какой неожиданности или конфуза. По хитрости да коварству турок мера весьма нелишняя.

Они долго двигались так, не меняя хода, и рядом с каждым всадником, как тень от тени, такт в такт, в том же ритме перемещался силуэт запасного коня. Это была небывалая роскошь. То, что есаулу не пришлось даже просить об этом, а его благородие господин секунд-майор сами о том изволили распорядиться, говорило о необычайной важности их секретной экспедиции.

— Знатный поиск к янычарам учинить надобно. Верю, братец, не подведешь, — секунд-майор говорил то, что приличествовало ситуации и что ему не раз приходилось говорить людям, которых он отправлял в тыл турецких войск. Майор был высок, в меру худ, и на лице его лежала тень давней печали. — Слышал я, — продолжал он, — что тебе не впервой такие дела, говорят, с другими запорожцами не раз за «языком» ходил, до Буга и даже дале...

Отправляя людей на дело, говоря им последние слова напутствия, секунд-майор против воли держал при себе мысль, что через пару дней, когда сидящий перед ним будет уже где-то там, сам он останется здесь, в безопасном удалении от янычарских пик. И хотя воинским своим умом он понимал, что так и должно быть, был еще и другой, как бы невоенный отсчет. И этот отсчет оставлял в нем чувство затаенного стыда и неловкости. Ему хотелось сказать уходящему что-то хорошее, доброе, что можно сказать человеку, прощаясь с ним навсегда, но, чувствуя нарочитость возможных слов и фальшь интонаций, он еще больше досадовал на себя. Так было и на этот раз.

Впрочем, тайные эти терзания секунд-майора остались не замечены есаулом. Не потому, однако, что ожидаемое дело поглотило все его помыслы. Понимая всю меру предстоящего, есаул относился к нему спокойно. Дело-то привычно. Куда больше внимание его было занято тем, что секунд-майор, оказывается, был наслышан о нем. Он был польщен этим, как польщен был самим его обществом, тем, что они сидят вот так и беседуют, причем секунд-майор угостил его заморской сигарой из собственного портсигара. Про себя заметил еще есаул и то, что господин военный был, видно, по артиллерийской части и что правая рука слушалась его не совсем, хотя он и скрывал это весьма старательно.

Спешились они за очередным поворотом, в тени смутно темневшего леса. Днем отсюда открывался вид на широкую равнину. Сейчас она только угадывалась в начинавшем светлеть тумане. Там, за этим туманом, не более чем в полуверсте лежали Дубоссары.

Коней и часть людей он велел оставить на опушке, отведя их на всякий случай под темную сень леса. Есаул потрогал рубленый шрам под свиткой. Каждый раз перед делом он начинал тупо и глухо ныть.

Мокрые ветви кустов бесшумно расходились перед ним и так же бесшумно смыкались, не оставляя следа. Теперь Стефан шел первым. То ли от утренней прохлады, то ли еще от чего он дрожал едва заметной мелкой дрожью. Приметив это, есаул чуть заметно кивнул одному из казаков, и тот, пристроившись за парнем, пошел за ним шаг в шаг, повторяя каждое его движение и не спуская с него глаз.

Нельзя сказать, сколько времени шли они так, потому что время остановилось. Несколько раз Стефан замирал и прислушивался. И тогда остальные останавливались и прислушивались тоже. Корчма появилась внезапно. Она словно выросла вдруг на их пути в десятке шагов от того места, где кончались кусты.

Но едва подобралась они к задней калитке и едва Стефан взялся за потемневшую медную скобу, как за высоким забором оглушительно прокричал петух. И тут же, отвечая ему, дом от дома загорланили на все голоса его собратья. И, как по сигналу, кончилось сонное безмолвие ночи. Где-то заблеяла овца, проскрипели ворота. И вдруг, словно только сейчас это стало заметно, все увидели, что почти рассвело.

Калитка распахнулась без звука. Чуть скрипнули ступени крыльца, и сразу, также без звука, — на пути их вдруг распахнулась дверь, и на пороге появился сам корчмарь весь в белом, как привидение. Рукою он делал им жест, приглашая следовать за собой в сени. Машинально есаул отметил, что корчмарь показывал им

рукой не так, как это в обычае местных жителей. Чтобы показать «ко мне», они, как и турки, делают жест «от себя», словно прощаясь. Корчмарь же нарочно показывал рукой наоборот — так, чтобы русским было понятно. Неведомо зачем отметив это про себя, есаул первым ступил в темноту сеней. Изогнутый турецкий нож он держал лезвием от себя, чуть отнеся руку в сторону, готовый ударить первым. Сени были пусты. Старик стоял уже у другой двери, снова делая им знак, чтобы они шли за ним.

Все в доме было так же тихо, и ничто не нарушало сонных утренних звуков, когда двое казаков через ту же заднюю дверь вынесли нечто, что издали легко было принять за мешок. Вблизи же можно было рассмотреть щуплого человека с узкой бородкой и кляпом во рту, связанного и спеленутого по всем правилам искушенных в таких делах запорожцев. Так же быстро, как делалось все в это утро, живой куль был доставлен к лесной опушке и привязан к коню — животом вниз.

Казака перекрестились. Хотя и далеко еще до конца и впереди был не один день пути среди вражьих войск, дело, ради которого добирались они сюда, сделано. Теперь миновать бы только турецкие заставы да патрули янычар, и считай, что на сей раз пришли живыми. Но есаул гнал от себя эти мысли, потому что знал, что в деле наперед загадывать никак нельзя.

Последним появился казак, которому он поручил проводника. Стефан шел с ним, он не сопротивлялся, но был бледен как мел. И тут же, раздвигая кусты, с шумом вывалился на поляну корчмарь в исподнем, в белом, как встретил их.

— Пощади, господин охвицер! Верни сына!

Причитания старика мало тронули есаула. Другие тоже смотрели на него кто с досадой, а кто с усмешкой. Неужели непонятно ему, что без проводника им не уйти! Совсем старый ума лишился.

— Верни сына! Бог тебе не простит!

Вот этого-то не надо бы говорить! Беду накликать недолго. Есаул с силой толкнул старика, а казаки оттащили, отволокли его прочь с круга. Корчмарь продолжал еще причитать в стороне, но никто уже не слушал и не смотрел на него.

Есаул ощупал дорогую, отороченную куницей шапку пленного, Видно, неспроста и пьяный, и во сне не расставался он с ней. Под подкладкой шуршало что-то, будто и впрямь бумага. Есаул вынул из-за пояса все тот же кривой нож и хотел было полоснуть по шапке, но в последний миг поберегся и осторожно распорол по шву. На траву выпали исписанные, сложенные вчетверо листки. Он не был силен в грамоте, но все же угадал, что писано не российскими буквами. На других листках были какие-то чертежи и цифирь. Обернув для верности бумажки в тряпицу, он сунул их за пазуху, а шапку кинул старику, не глядя.

Теперь, когда полностью рассвело, видно стало все селение. Было оно не то чтоб мало — дворов полсотни, не меньше. И хотя уже пора, давно пора было бы им отправляться, пока роса, пока солнце чуть встало, есаул все медлил. Не первым, как всегда, а последним поднялся он в седло, еще раз окинул взглядом проснувшееся село и тут только заметил на крайней улочке, что спускалась к реке, всадников. Некоторые были уже верхом, другие только седлали коней или выводили их из-под широкого, крытого соломой навеса.

Остальные, заметив всадников, как и он, тотчас распознали, кто это.

Следуя тому, что было приказано, сделав дело, надлежало им удалиться тотчас и не мешкая, без малейшего шума. Так надлежало поступить им, повинувшись воинскому артиклю и приказу господина секунд-майора. Но, кроме писаного артикля для регулярных войск, у запорожцев был свой свод понятий. В том, чтобы уйти тихо, как тать в ночи, уйти без пальбы и сечи, — было что-то недостойное воинской чести и самого казацкого их звания.

С двух сторон ударили казаки. Гиканье, крики, стук сабель наполнили не только проулок, куда ринулись они, но, казалось, все селение. Туркам был оставлен один путь — к Днестру. Так и было задумано есаулом — оставить врагу дорогу к бегству. Он знал: кто-то один побежит, а стоит броситься первому, как остальные последуют за ним. А что может быть лучше потехи, как гнать, догонять и рубить на скаку бегущих!

Вихрем промчались вдоль селения казаки, гоня впереди захваченных в схватке коней и наводя ужас на разбежавшихся при их приближении местных жителей.

— Как я его! Ты видел, Василь? А он на тын! На тын — уйти думал!

— А от меня двое! Не знаю, за кем. Одного саблей достал...

Солнце поднялось уже высоко, когда они наконец тронулись в путь. Ближе к полудню нестройная их кавалькада свернула с главного тракта и ушла в сторону по чуть заметной тропе. Здесь, в глухой балке, дождались сумерек. Злодея спустили с коня и дали ему

пить. Но пут с рук и ног не снимали. Бородка заострилась у него, казалось, еще больше. Он молчал, только глазами поводил, и были они у него желтые, как у змеи. Казаки речей с ним не заводили и вроде бы избегали глядеть в его сторону. Он был среди них как бы мертвым среди живых. Он был еще здесь, но от него уже пахло могилой, пахло дыбой и застенком. Потому, что каждый знал, что ждало его, когда, миновав боевые линии турок, они вернутся к своим. Впрочем, никто, из них тоже не мог бы зарекаться и о своей участи, пока по следу их и впереди рыскали янычары.

Шли только ночью, днем же старались укрыться где-ни будь в придорожной роще. Стефан вроде бы смирился, что увели его из дома. Казаки же потешались над ним и все грозились забрать его с собою в Сечь.

— Добрый казак будет. Вернешься к отцу, Стефан, на буланом коне, в одной руке шашка, пицаль в другой. Он тебя не узнает. Кто это, скажет, к нам пожаловал? Какой такой важный пан?

Но чем ближе подходили они к турецким линиям тем беспокойнее становилось у есаула на сердце. Уже под утро, когда приближались они к прибежищу, которое присмотрел им на день Стефан, есаулу померещился в отдалении какой-то шум. Это был тот звук, который издает большой отряд кавалерии, когда идет на рысях. Запорожцы попадали с коней и, припав к земле, стали слушать. Есаул, оставшийся в седле, понял все по их лицам. Никакой конницы, кроме турецкой, не могло быть в этих краях. Но и та не отправилась бы в путь ночью, когда бы не война или погоня. Это была погоня. Очень уж много шума натворили они в Дубоссарах. Не первый день, видно, турки рыщут по всем дорогам, чтобы свести

с ними счеты. Как в Дубоссарах туркам был открыт один путь — к реке, им сейчас тоже был открыт один путь — в сторону своих. Туда, где их наверняка уже ждали засады и летучие разъезды янычар К тому же близился рассвет и на этой чужой земле день не был их другом.

Есаулу почудилось вдруг, что дробный гул, доносившийся издали, стих. Казаки снова припали к земле. Было тихо. Тогда есаул рассмеялся. Видно, турки остановились тоже и, как и они, лежали сейчас на земле, стараясь услышать топот казацких коней.

Потом звук возобновился. Теперь, казалось, внезапно он стал заметно ближе.

У есаула зазудел, заныл шрам от раны, и он вспомнил некстати слова старика: «Бог тебе не простит!»

Но все-таки они вышли.

Они вышли, хотя были минуты, когда есаул думал: «Все!» Стефан вывел их.

Пару раз, правда, им пришлось прорубаться силой. А при последней схватке какая-то дурная пуля припечатала ногу злодею, что, как куль, связанный болтался на спине коня. Рот у него был замотан тряпкой, и они не сразу догадались, что он ранен. Когда спохватились под вечер, выйдя к своим, он потерял много крови. Пленного развязали, но он уже не держался в седле. Только глаза горели желтоватым, лихорадочным блеском, да бородка еще больше загнулась кверху ястребиным когтем, как янычарский нож. Пришлось оставить его в лазарете, в первом же полку, что встретился на их пути. К койке его был приставлен караул и обещано было стеречь злодея накрепко.

Сами же казаки вместе с захваченными бумагами несколько дней спустя объявились в ставке. Секунд-майор, как назло, отбыл куда-то по делам службы. Принял их какой-то другой штабной офицер, обласкал, говорил, что Россия не забудет их службы и обещал, что секунд-майор, как вернется, доложит об их деле самому его сиятельству фельдмаршалу графу Миниху. Всем розданы были награды, особо же велено было наделить корчмаря и его сына. Но хотя именно Стефан вывел их и он, а не корчмарь ходил под пулями, большая доля определена была старику. Впрочем, справедливость такого решения даже в мыслях никем не ставилась под сомнение. Награда всегда распределялась по старшинству. И им не виделось иной правды и иной справедливости, кроме этой.

Злодею между тем становилось все хуже. В полку, где он был оставлен, ждали офицера из Киева, ведавшего сыскными делами. Но офицер все не ехал. Кто-то в штабе предложил было самим опросить злодея, но мысль эта была сочтена дерзкою и хода не получила. На то были специальные люди, дабы вести розыск. О тайных делах им одним надлежит ведать. Если же кто по любопытству или по глупости узнавал, о чем ему ведать не полагалось, такому человеку самому следовал беспощадный допрос, из какой корысти или злого умысла разведывал он это. Допрос же вели пытошных дел мастера, в руках у них начинал говорить и немой. Вот почему, если и связана с пойманным злодеем какая тайна, лучше всего тайны, этой не знать и быть от нее подальше.

Наконец офицер из ставки прибыл. Он был молод, розоволик и держался весьма светски. В разговорах же намекал на некую важную протекцию, коию имеет-де в

самом Санкт-Петербурге. Пленного к тому времени успели уже похоронить. Но приехавший ни в малой мере не был раздосадован этим и вскоре отбыл обратно, оставив после себя запах легких сигар и некоторое почтительное недоумение.

У секунд-майора хватило терпения выслушать его бессвязный, но бойкий рапорт, суть которого сводилась к одной фразе — злодея нет в живых. Почему, по какой вине не прибыл он к пленному в срок, секунд-майор даже не спросил его. Вопрос был бы не впрок. Оставшись один, он стал левой рукой нервно гладить непослушную правую руку.

Между тем как происходило все это, пока запорожцы вспоминали переделки, в которых побывали, а Стефан добирался обратно в свои Дубоссары, на север, к Петербургу, скакал курьер. В кожаной сумке, с которой не расставался он ни днем ни ночью, курьер вез рапорт фельдмаршала Миниха на имя императрицы. Там среди описаний прочих дел и баталий были следующие строки: «Посланная же от меня 17 числа марта запорожская партия для взятия языка и учинения тревоги в Дубоссарах, которую вышеупомянутый армянин и взят, ко одному местечку 3 числа апреля прибыла; и так на оное внезапно нападение учинено, что не малое число тамошних турок и прочих обывателей побито, а другие сами от страху в воду побросались, и тем немалая тревога неприятелю уже учинена. А оная партия с добычею паки назад благополучно возвратилась...»

Перед секунд-майором на широком штабном столе лежали листки, захваченные в Дубоссарах. Описания крепостей и чертежи укреплений были сделаны явно рукой, искусенной в воинском деле. Турецкий шпион

побывал, видно, на всех главных фортификациях близ боевых действий. Будь при заставах книги для регистрации проезжих, не составляло б труда проследить его путь и выявить злоумышленника. Придя к этой мысли, секунд-майор задумался. Потом подвинул к себе стопку писчей бумаги и стал писать, неловко охватив перо всеми пальцами.

Будучи осведомлен о деликатности дел, коими занимался секунд-майор при особе фельдмаршала, киевский губернатор Семен Иванович Сукин принял его безотлагательно.

— Ваше превосходительство, — даже сидя, секунд-майор оставался несколько выше собеседника и, чтобы не выглядеть дерзким и не смотреть на губернатора сверху вниз, нарочно сутулился, — мне рапортами доносят, что, несмотря на военные действия, с турецкой стороны из Молдавии и из Крыма сюда немало разного народа вояжирует. В том числе без особой на то надобности. Через это всякого рода лазутчество учинено быть может, причиня великий вред российскому войску.

Семен Иванович не любил, когда ему говорили неприятные вещи. Даже в предположительной форме. Заметив, что его превосходительство морщатся, секунд-майор поторопился перейти к позитивной части.

— Посему не соблаговолите ли рассмотреть некоторые соображения о введении билетов, которые проезжающие заполняли бы, пересекая заставы. Такой способ, приличествующий цивилизованной стране...

Губернатор явно заинтересовался.

— Весьма любопытно, — заметил он живо — Мне представляется, подобный обычай существует во Франции.

— А также в германских княжествах! — подхватил секунд-майор, не будучи, впрочем, твердо уверен в этом.

Губернатор взглянул на него вопросительно поверх листка и кивнул. Да, и в германских княжествах.

Губернатор любил издавать разного рода постановления и приказы. В этом ему виделся способ положить конец хаосу и произволу во вверенном ему крае. Будучи искренен в этом, не менее искренен он был и в другом — в тайне сердца ему хотелось бы видеть себя первым законодателем Малороссии.

Но тут, однако, на ум ему пришел вчерашний разговор с сенатором, прибывшим по служебным делам из Петербурга. Сенатор заметил, между прочим, что в столице кое-кто не очень доволен усердием его превосходительства в делах законодательных. Не то чтобы было усмотрено что-то предосудительное, но при желаний кое-какие полезные начинания господина Сукина могут быть истолкованы как покушение на прерогативы центральной власти. Замечено это было вскользь, как и полагается говорить подобные вещи. Но ремарка сия была понята его превосходительством в полной мере и принята к сведению. Не без сожаления он еще раз взглянул на лежавшие перед ним листки.

— Весьма любопытно, — протянул он разочарованно. — Оставьте мне, я подумаю.

Сам жест, которым собрал он листки и положил их на край стола, говорил, что дело это безнадежное.

И тут же, чтобы дать выход досаде, в которой повинен был собеседник, он принялся не без желчи расспрашивать секунд-майора, каким образом случилось такое, что некий «турченин», что в Киеве был на примете, ушел за границу? Это было старое дело, но вопрос этот был неприятен секунд-майору еще и потому, что с турком этим оказался связан некий Куртина, грек, который им, майором, не раз «в шпионство употреблялся». Теперь он лишался еще и агента — сбежавший турок распознает грека под любой личиной.

— Дабы впредь такого конфуза не приключалось,— заключил губернатор, к которому вернулось хорошее расположение духа, едва он заметил, сколь неприятен разговор собеседнику, — надобно принять меры...

На этих словах Семен Иванович Сукин пожевал губами и замолчал. О том, какие меры имел он в виду, губернатор не счел возможным распространяться в присутствии лица хоть и доверенного, но по субординации находящегося значительно ниже его. На сей предмет он нынче же отпишет его сиятельству фельдмаршалу графу Миниху. В письме он изложит свои мысли о том, какие меры принять надлежит, «дабы из турецких пленных и из партикулярных людей никто при границе не держался». Поскольку же идет война, исходить эти меры должны от военных и к его канцелярии иметь касательства не могут. Хитрость же заключалась в том, что тем самым и спокойствие в крае упрочено будет, и хлопот по его ведомству нисколько не прибавится. Если же граф найдет повод уклониться, это его уклонение на будущее всегда в уме держать можно.

Разговор с губернатором о бежавшем турке, сколь ни был малоприятен, натолкнул секунд-майора на догадку. Не было ли связи между злодеем, взятым казаками в Дубоссарах, и этим турком? Может, кто видел их вместе? Или есть еще какая важная улика?

Посыльный, которого он отправил за Куртиной в Белую Церковь, на другой день вернулся, объявив, что еще 20 числа апреля волею божьей грек умер. Узнав о том, секунд-майор не опечалился, а только несколько огорчился на собственное бесчувствие. Правда, он не любил грека. Не любил за вечное его лукавство и жадность. «Уж не от яда ли?» — усомнился майор и велел узнать поподробнее, какой смертью он помер. Но главное, через верных людей распорядился неприметным образом проведать, не видел ли кто оного беглого турка со злодеем, схваченным в Дубоссарах. А если видели, то когда и за каким делом?

Через пару дней пронырливые людишки доложили ему, что один трактирщик клятвенно уверяет, будто видел, мол, их обоих у себя дважды. Сидели-де в углу и шептались. А о чем, то ему неизвестно. И по внешности, как он говорит, весьма на тех двоих походят. Секунд-майор велел привести трактирщика. Едва перевалившись через порог, трактирщик бросился в ноги.

— Ваше благородие, не погубите!

— А чего ж тебя губить, братец? — заметил майор тем леденящим своей ласковостью голосом, который специально был припасен у него на случай таких вот разговоров. — Разве что воровство какое за тобой числится? Тогда уж не обессудь.

Кивком выслав конвойных, секунд-майор медленно обошел вокруг трактирщика. Тот как был на коленях, так и остался, только поворачивался вслед. В рыбьих глазах его было соответствующее ситуации выражение подобострастия и испуга.

Но при всех жалобных возгласах и валянии в ногах в облике его присутствовало некое тайное лукавство. Краешком глаза он словно приглядывал за секунд-майором, как бы пытаясь угадать, а так ли делает он все, потрафил ли он его благородию? «Шельма, видать», — заключил про себя майор.

— Говорят мне, — продолжал он, усаживаясь за широкий штабной свой стол, — что неких персон в своем заведении ты заметил?

— Истинно так! — возликовал трактирщик.

Секунд-майор неспешно, весьма неспешно достал из ящика серебряный новенький рубль с профилем государыни Анны Иоанновны и, повертев в пальцах, положил его на край стола. Трактирщик впился глазами в серебряный кружок.

— А скажи-ка мне, любезный, означенные персоны каковы по внешности будут?

Трактирщик зачастил словами. Из описания его как бы и правда явствовало, будто видел он их, будто тот и другой у него встречались. Но откуда взял он, как они выглядели, не со слов ли того, кто его допрашивал? Такие худые людишки повсюду есть, секунд-майор встречал их. Ради награды, а то и просто ни про что на кого хочешь любое показать могут.

А что, любезный, не заметил ли ты у того, что поменьше, у вертлявого, серьги в ухе? А другой вроде бы на одну ногу хромал шибко. Так ли?

С этими словами он взял рубль и, словно нехотя, повертев в пальцах, несколько раз переложил из руки в руку.

Трактирщик горячо подтвердил все им сказанное. И что хромал один, и про серьгу в ухе. Секунд-майор хрустнул пальцами, зря он теряет с этой шельмою время. Но, войдя во вкус игры, ему стало жаль ломать ее сразу.

— Ну а о чем толковали они, ты небось, братец, слышал?

— Слышал! Слышал, ваше благородие. Злодейство умышляли они. Измену!

Секунд-майор швырнул монету в ящик стола и с шумом задвинул его.

— Ну а коли и вправду видел ты их и речи их воровские слышал, да не донес, значит, и сам заодно с ними. Значит, суд вам один и одна расправа!

Произнес это он все тем же ласковым голосом, так что смысл сказанного дошел не сразу. Когда же дошел, трактирщик взвыл и чуть не замертво повалился на паркет, напуганный теперь уже по-настоящему. Но майору все это уже надоело.

— Вон — рывкнул он и затопал ногами так, что зазвенели стекла в высоких окнах.

Шельма взвился как на пружинах. Он плашмя ударился в дверь, едва не расщепив собой обе лакированные ее половинки, а дальше его как ветром сдуло.

— Каналья, — пробормотал майор, ничуть, впрочем, не выведенный из себя всей этой сценой. И напускной гнев, неотличимый от настоящего, и топанье ногами, и крик — все это было частью обхождения, ожидаемого от него как от начальника и от барина. Если же и испытывал он в ту минуту некоторую досаду, то лишь потому, что понимал: ниточка ускользнула снова. И теперь уж, наверное, окончательно.

Это было как в штоссе — карта шла или не шла. Сейчас она явно не шла. Секунд-майор собрал бумаги, захваченные в Дубоссарах, и, достав из дальнего ящика медный резной ключ, с усилием отомкнул дубовую дверцу шкафа. Здесь, в массивной железной шкатулке, хранились бумаги, не подлежавшие оглашению ни при каких ситуациях. Сюда сложил он и эти листки, полагая, впрочем, что в свое время он вернется к этому. Так, вероятно, думал он, опуская тяжелую крышку.

Сейчас, по прошествии двух с половиной веков, мы знаем, что к этому делу он так и не вернулся. Может, обстоятельства сложились так, а может, другие дела потребовали пристального его внимания и усердия.

Так и остались затерянные в прошлом — злодей, схваченный в Дубоссарах, бежавший «турчин», грек Куртина, который «не раз в шпионство употреблялся». Затерян и забыт за давностью лет оказался и запорожский есаул, и славные его товарищи. До нас не дошло даже их имен.

# КТО БУДЕТ ПОМНИТЬ СЕКУНД-МАЙОРА?

Вскороности губернатор сам пригласил секунд-майора заглянуть к себе, пообещав дать кое-какие бумаги, которые он, не доверяя никому, держал в личном своем кабинете.

Из папки, лежавшей перед ним, один за другим он вынул несколько листков и, пробежав глазами, протянул некоторые майору, другие же убрал обратно.

— Полюбопытствуйте. Если найдете что интересным для его сиятельства, я велю изготовить копии.

Даже те читая, по внешнему виду секунд-майор догадался, что это были за листки. Это были донесения верных людей, конфиденентов, или «приятелей», как их еще называли. Разными путями шли эти сложенные в несколько раз, потершиеся по сгибам листки, прежде чем попасть сюда, в кабинет его превосходительства. Люди, которые несли их на себе, пробираясь мимо турецких линий, знали, что, если их схватят, им не придется уже выбирать себе смерть. У янычар не было большей радости и лучшего развлечения, чем, собравшись возбужденной толпой, созерцать, как палач в липком от крови кожаном фартуке сдирает с зашедшегося в крике человека кожу. Обычно для этого ему нужны были два-три помощника, и недостатка в добровольцах не случилось.

Все это успел подумать секунд-майор, пока Сукин перебирал лежавшие перед ним листки. То ли отсвет от окна так упал на его лицо, то ли Семен Иванович повернулся в эту минуту на такой ракурс, только

секунд-майор, взглянув на него, подумал: «Не жилец». Он увидел на лице его печать недалекой смерти.

Ему и самому было непонятно, из чего складывалось это ощущение, он несколько раз испытывал это чувство, и всякий раз предчувствие не обманывало его. Однажды он прочел печать смерти на лице подхорунжего, которого отправлял в Крым, чтобы разведать там о турецком флоте. Он хотел было даже отменить командировку, но возомнил тот знак суеверием. Секунд-майор провел по глазам рукой, отгоняя навязчивую память.

Не прошло и года, как ему пришлось вспомнить пророческую свою догадку. Пока же, вернувшись к себе, он разложил перед собой листки и велел зажечь свечи.

«По прибытии моем в Рашков, — читал он, — застал я авангард турецкий в нескольких тысячах и 10 пушках на той стороне Днестра реки под командою Соркадзи-паши и полковника Музуры. На сей стороне Днестра под Молокишем на горе стоит с татарами сераскер-султан Алим-Гирей в великой осторожности...»

Нет, не постарался, видимо, «приятель». «Несколько тысяч» — разве это сведения? Ради этого не стоило брать на себя риск, идти в поиск.

Сообщение от «приятеля Д.»: «27 числа Гендж Али-паша прибыл в Хотин в числе выбранного войска от 5 до 6 тысяч. Помянутый бендерский сераскер прибыл в Хотин 28 числа, где от Калчак-паши принят с пушечною пальбою, и якобы войска при нем — турецкой пехоты 20 тысяч, да конницы до 40 тысяч и до 60 пушек имеется». Это уже нечто более точное и конкретное. Секунд-майор окунул перо в бронзовое жерло чернильницы и выписал на листке эти цифры. Чернила были изготовлены из

орешков по всем правилам и, когда подсыхали в свете свечей, сверкали мелкими блестками.

Следующий листок «от приятеля Ш.»: «Сераскер-паша бендерский со всею тяготою и со всем войском из Бендер выступил и следует своею стороною, и, по прибытии в недаленое расстояние выше польского Ягурлыка, встретил его Рашковский губернатор Савицкий и просил, дабы турки на польскую сторону не переезжали...» В качестве отступного губернатор передал турецкому войску целый обоз продовольствия. Это был тревожный знак. Но относился он к сфере скорее государственной, чем военной. Было неясно, что это — вынужденный поступок или умышленная помощь туркам в войне с Россией?

А вот «перевод с письма италианского, в цифре писанного, от корреспондента под литерою «Д»: «Из Бабадаги. Был здесь держан совет, в котором решено, дабы визирь Дунай переехал. Военным выдали жалованье. Поход имеет быть в последних числах апреля, пока мост окончится. Здесь военных людей мало находится». Донесения из местечка Сороки он отложил отдельно. В них предстояло еще разобраться. Рядом с ними легли донесения из Кишинева, от тамошнего «приятеля» Луппола.

«Превосходительный господин губернатор киевский. Вашему превосходительству, милостивому моему патрону и благодетелю, при целовании Вашего превосходительства руки, покорно кланяюсь. С покорнейшим моим почтением Вашему превосходительству доношу...»

Секунд-майор нетерпеливо перелистал мелко исписанные страницы, добираясь до последней.

«...Между тем, при покорнейшем моем почтении, рекомендовав себя высокой Вашего превосходительства впредь милости, остаюсь Вашего превосходительства покорный и послушный слуга Луппол».

Молдаванин, служивший в армии визиря, интендант бошницких полков, Луппол писал, как всегда, многословно. Правда, в многословии этом нередко содержались ценные сведения. Вопрос, который пытался решить майор, заключался в том, насколько сведения эти были истинны.

Секунд-майор придвинул к себе другую стопку бумаг. Это были донесения из Сорок, написанные тамошним полицейским приставом. Он заглянул в конец послания. «Между тем с покорностию моею остаюсь Вашего превосходительства покорным слугою Андронаки».

Слова. И там и там сплошная вязь слов. Но сквозь эту вязь и у Андронаки и у Луппола с некоторых пор стала проступать одна мысль, одно стремление — склонить русских к походу в Молдавию. Луппол пространно писал о слабости турок, о том, что они готовы разбежаться при одном слухе о приближении русских. Андронаки обращался к другим доводам. «В Буджаке, — писал он, — и около Буджака весьма много имеется волов, коров, овец, лошадиных табунов и разного скота: ежели бы воспоследовала армия всероссийская в оные стороны, весьма изобильно была бы удовлетворена».

Почему кишиневский интендант и пристав из Сорок так едины в стремлении склонить русских к походу в Молдавию? Не стоит ли за ними кто-то один, кто движет их рукой, пишущей донесения? Может, сам визирь или

кто-то из его генералов, расставивших ловушку и думающих теперь, как бы заманить в нее русских? И куда как неспроста Луппол допытывается в своих письмах о военных планах и замыслах русских.

Сомнения эти пришли секунд-майору давно, еще в начале зимы. Дабы проверить их, он тогда же отправил в те края лазутчика, киевского мещанина Степанова, человека дотошного и во всяком деле соблюдавшего свой интерес. Пробравшись под видом польского торгового человека, он заявился в Кишинев к Лупполу. Принят был ласково, гостил у него, осматривал город, а потом вдвоем они объездили деревни, где стояли бошняцкие полки на постое. Вроде бы и правду писал Луппол. А вроде бы и нет. Если турки столь слабы и не помышляют противиться русским, почему во многих местах видны следы воинских приготовлений? Бендеры, где побывал Степанов, изготовлены к обороне, в крепости установлена новая батарея и даже сады перед ней скрыты, чтобы шире открыть поле обстрела. Непохоже, чтобы турки были слабы или чтобы их было можно застать врасплох.

Хитрит с ними Луппол, лукавит.

Обо всем этом в который раз думал он сейчас, перекладывая листки донесений. Не было у него веры тому, что написано в них. Но и поручиться, что все там ложь, он тоже не мог бы. Андронаки вроде бы не лжет. Но проверить бы! Близился день, когда господин фельдмаршал, возвратившись из Петербурга, где он проводил зиму, повелит генерал-квартирмейстеру доложить о турецких обращениях — где турки, сколько их, каковы их планы. И особенно будет интересоваться Миниха все, что касается земель за Бугом и за Днестром.

А еще будет его интересовать, почему господин майор, состоящий при генерал-квартирмейстере, не удосужился получить эти данные и не думает ли господин майор, что ему пришло время уйти в отставку и удалиться навсегда в свою деревню без пансиона и без мундира?

Генерал-квартирмейстер был из кавалеристов, на пост же этот назначен только ввиду случившейся вакансии и, главное, повышения, с этим связанного. Никаких других резонов назначению этому не было, как не было, впрочем, и резонов ему не состояться. В дела он не вникал, оставляя это секунд-майору и другим офицерам, состоявшим у него в подчинении. Тому была у него своя логика. Люди, бывшие под его началом, освобождали его от скучной обязанности знать и думать. Во всяком случае, от обязанности делать это в пределах, обременительных для него. Они составляли бумаги, вели переписку, вечно принимали каких-то посетителей. В отличие от них он посвящал себя занятию куда более высокого разряда. Он служил.

Впрочем, все эти обстоятельства ни в коей мере не мешали ему быть человеком и честным и добрым. Он никому не мешал, а во все времена это высшая похвала из тех, кои могут быть сказаны в адрес начальства.

Когда сотнику Константину Бантыжу велено было немедля отправляться в Киев, в ставку армии, первой его мыслью было сказать больным. Он сразу понял, кто и зачем прислал за ним. Года не прошло, как вот так же приехали к нему посыльные в синих мундирах. И не понять было, то ли для почета сопровождают его они, то ли конвой. Но тогда, едва завершив дело и вернувшись в полк, он сказал себе: «Все. Хватит».

И вот опять.

— Мамо, Ганна! Собирайте-ка в путь-дорогу. — Он притворялся, будто ему весело. Пусть, и правда, думают, что едет он до Киева, а оттуда в Нежин принимать коней для полка. Пусть думают так.

Но чего же собирают они его, как на войну? «И то, словно чувт!» — подивился сотник. Сколько раз ездил до этого он и в Нежин, и в Белую Церковь. Почему же сегодня заплакала мать, прижимая его к себе, прощаясь? А на жену пришлось даже прикрикнуть, чтобы перестала реветь, глупая баба. И она заулыбалась ему сквозь слезы, как солнышко после дождя.

Знал сотник, что на обратном пути непременно привезет он обновку ласковой своей жене, привезет гостинцы матери и ребятишкам. Не знал только, не мог поручиться об одном: будет ли этот обратный путь, написан ли он ему на роду.

Когда подъезжали к Киеву, было утро, солнце едва встало, и над домами пригорода в воздухе плыл колокольный звон. У каждой церкви был свой набор колоколов, от малого и до самого главного, и свой звонарь, звонивший отлично от остальных. Сотник знал: киевляне по колокольному звону могли угадать церковь и даже кто звонит. Самому же ему слишком редко приводилось бывать в славном граде, чтобы постичь эту премудрость. Только колокола лавры в торжественной их весомости различал он среди общего благовеста. И какое-то непривычное чувство радости бытия, благодарного удивления, что он живет, коснулось на миг его сердца. «Уж не в последний ли раз для меня все это?» — мелькнуло у него.

Но не след было думать сейчас так. Как-то случилось, произошло само собой, то ли конь, то ли сама

дорога вывели его к лавре. Оно и к лучшему, что побывает он здесь перед таким делом, не ведая, жизнь или смерть ждут его. Сотник спешился, и с ним спешили сопроводившие его, видно, сами не понимавшие до конца, кто же они — почетный эскорт или конвой.

Когда секунд-майор, под звон курантов на площади поднимался в отведенный, ему кабинет, сотник, стоя во фрунт, уже ждал его у дверей.

— Здорово, Бантыж!

— Здравия желаю, ваше благородие! — ответил как припечатал. Не горласто, как на плацу, но и не чрезмерно тихо, а именно с той долей куражу, который полагался в таких апартаментах и при данных обстоятельствах.

— Ну что, Константин? Как ратные твои дела?

Расположившись в креслах, секунд-майор не торопился предложить сотнику стул. Тот, как и полагалось делать это, не ответил, а отрапортовал: полк его-де на отдыхе, когда же опять идти на дело, о том, надо знать, начальство ведает. Когда секунд-майор кивнул ему наконец на стул, сотник опять же не сел, а только исполнил приказ садиться. Но так и быть должно, как необходима была и последующая часть беседы, когда секунд-майор участливо расспрашивал его о домашних делах, о матушке, о детях. Они исправно обсудили эти вопросы, хотя оба понимали, что секунд-майор не для того находится в ставке господина фельдмаршала, а сотник вовсе не ради этого проехал сюда целых двести верст. Когда тема эта оказалась исчерпана и оба почувствовали, что беседа вот-вот должна перейти к

самой сути деликатного дела, сотник вскочил вдруг и вытянулся, как на смотре:

— Ваше благородие! Дозвольте сказать слово!

Секунд-майор даже смешался на мгновение от такой дерзости. Но тут же кивнул и даже полуулыбнулся милостиво. Люблю, мол, храбрых. Хотя храбрости супротив начальства он вовсе был не ценитель.

— Я, ваше благородие, что осмелюсь заметить. С прошлого года как посылаем был я вашей милостью по турецкую сторону, после того в стычках мне не раз случалось участвовать. Осенью этой янычар плашмя палашом меня по голове достал. Думал уже, не буду жить. Но вот жив остался, только память отшибло. Из турецкой и молдавской речи, что знал, почитай, половины не осталось. Как отрезало. Не гожусь я боле в ваши дела. Увольте, помилосердствуйте, ваше благородие. Дозвольте обратно в полк воротиться.

Не умел врать начальству сотник. От лжи своей сам же покраснел до корней волос. Но поймать его на наивном этом вранье или сказать ему, что не верит ему, было никак нельзя. Секунд-майор понимал это, поэтому покачал головой, посочувствовал:

— Плохи твои дела, Константин. Весьма плохи. Трудно тебе придется. Ну да авось бог не выдаст. Кроме тебя, послать сейчас никого нельзя. Из толмачей кого взять? Сам понимаешь, здесь военный человек нужен. Кого из моих офицеров — он турка только в стычке встречал. Говорить с ним только на саблях знает. Так что уж послужи, братец. Государыня и отечество не забудут.

Вроде бы и не приказ. Словно бы даже просят его. Но ведь «нет»-то не скажешь. Сотник понял уже, что идти придется. И стало ему очень себя жаль.

— Ведь как же получается, ваше благородие? Ну был в плену я, научился турецкой да молдавской речи так, что никто меня ни от молдавана, ни от турка отличить не мог. Через то и бежать сподобился. А теперь что же? Неужто мало того, что я в турецкой неволе муку за христианскую веру принял? За что же сейчас страдаю? Когда товарищи мои в честном бою будут, мне по ихним басурманским базарам шнырять да каждый миг себе позорной и страшной смерти ждать? Где же справедливость, ваше благородие? За что мне по гроб жизни такие мытарства и мука?

А ведь прав был Бантыж. И в плену претерпел он. И сейчас ратную свою долю наравне с другими несет. Так мало того, еще и он, секунд-майор, не оставляет его своею милостью. А вся-то вина сотника, все несчастье, что на чужих языках может он изъясняться, как никто другой не умеет. Казалось бы, он лучше других. Но оттого жить ему было только хуже. Подивившись этому противоречию жизни и утешительно отметив про себя, что лучшим всегда в этой жизни хуже, секунд-майор нимало не поколебался, однако, в своем решении. Сотнику безотлагательно нынче же идти в турецкую сторону. Но мало было, что так решил он своею волей. Нужны были решимость и воля человека, которому предстояло сделать это.

— Ладно, — махнул он рукой и добавил притворно: — Возвращайся домой. Да поспеши. Выступить приказ по весне будет. Через Буг да через Днестр полки пойдут. Сколько там турок и где они, мне

то неведомо. А уж командирам и тем паче. Как в темном лесу солдатушки наши будут там. И сколь их поляжет, я тебе не скажу. Это уж тебе лучше знать. Кровь-то их на тебе, сотник, на твоей душе будет. Что же стоишь, воин? Иди. Возвращайся до дому, к жене да на печку...

Сотник опустил голову, и видно было только, как побледнел он, как побелела его шея. Секунд-майор встал и молча остановился у окна, стоя к нему спиной.

Под вечер того же дня из Киева выехал человек, не российского вида. В повозке, тяжело груженной, был при нем медный да кожаный товар, каким торгуют обычно в Молдавии. Коляска же и сами кони были турецкие, захваченные в военном обозе. Когда солнце стало садиться, он неспешно повернул с дороги и, отъехав в сторону, остановил коней за высокими кустами верб. На редкой весенней траве расстелил молитвенный коврик и повернулся лицом к востоку. Наступило время намаза. Сотника Константина Бантыжа больше не было. Был Махмуд Керим — купец средней руки — из Бургаса. Он уже проезжал по торговым делам в Молдавии. На ярмарках, по торговым рядам и в гостиницах были люди, встречавшие его раньше, люди, что вели с ним дела, оставаясь от этих дел в немалой выгоде. По этой причине Махмуд Керим был для них желанный партнер, ожидаемый гость и приятный собеседник. Но, прежде чем появиться там, ему предстоял еще немалый путь через российские и польские земли.

— Салам алейкум!

— Ваалейкум ассалям!

Махмуд Керим привычным жестом поднес руку к тюрбану, затем к сердцу. Склонившись в полупоклоне, он успел отметить, что вошедший был немолод, не из

торговых людей и явно не из военных. Впрочем, мало ли кого можно встретить на постоялом дворе? Чиновник? И правда, на поясе чернильница и рядом, в сафьяновом футляре, калям — тростниковая палочка для письма. Это мог бы быть писец, если бы не этот футляр из сафьяна, ставивший его на несколько рангов выше.

— Аюб-ага, — представился вошедший, — Доверенный по сбору податей светлейшего паши Бендерского, Да продлит аллах его дни!

— Да продлит аллах его дни! — подхватил Керим. — Я, недостойный купец, обрадован и польщен вашим высоким обществом. — Широким жестом он указал на подушки, разложенные на полу, и дважды хлопнул в ладоши, вызывая слугу разжечь кальян для гостя. Пока мальчик-молдаванин занимался этим, Керим успел рассмотреть пришедшего, отметив про себя и свинячьи хитрые его глазки, и сжатые в ниточку губы, губы скупца и святоши, и уши, как у филина, изобличавшие завистливый и злой нрав.

По тому, с какой жадностью принял вошедший к кальяну, видно было, что ему давно хотелось курить. Возможно, и на знакомство-то набился он только ради этого. Керим был наслышан о жадности сборщиков податей. Может, это удача? Желания жадного известны заранее. Поэтому с ним легко иметь дело. Правда, в то же время с жадным невозможно иметь дело. Ибо желания его не знают меры. Впрочем, не он выбирал себе гостя. Хочет, он или не хочет, Аюб-агу послал ему случай. Сборщики податей много ездят и еще больше знают. А хорошее угощение развяжет его язык.

— Надолго ли пожаловал, почтеннейший, в Сороки? — не выпуская из рук кальяна, осведомился

чиновник. Как и подобает торговым людям, Керим ответил уклончиво. Все зависит от случая, от того, ниспошлет ли ему аллах в делах удачу.

Мальчик-молдаванин принес зеленый чай и лепешки Керим почтительно просил гостя разделить скромную его трапезу. Тот стал отказываться тем голосом, каким отказываются обычно, чтобы принять приглашение. Потом мальчик принес шеш-кебаб, а следом пилав. Это был щедрый ужин. Он располагал к беседе. К дружбе и к откровению.

Но почему-то не было дружбы. И не было откровения. Тень недоверия и настороженности застыла в узких глазках Аюб-аги. И никакие слова, никакие льстивые речи не могли отогнать ее. Керим не сразу понял, какую ошибку допустил он. Сборщик податей, в жизни не истративший на другого человека ни пара, не мог поверить, чтобы другой мог сделать это просто так. Какую выгоду, какую корысть искал от него Керим? Весь вечер пытался Аюб-ага понять это. Пока пальцами, с которых стекал горячий бараний жир, он запихивал в рот пригоршни плова, недоумение и тревога беспрестанно точили его сердце. И теперь они так глубоко запали в его душу, что Кериму нелегко оказалось рассеять их.

— Осененный высоким доверием светлейшего паши вы, полагаю я, немало путешествуете? Побывали в местах, где мне, недостойному, быть не случилось?

Взгляд, который метнул на него исподлобья Аюб-ага, исполнен был тревоги. Но наклон головы, последовавший за этим, был скорее снисходителен, слова же прозвучали даже благосклонно:

— Пожалуй, почтеннейший. Пожалуй.

Керим заставил себя подобострастно востепениться.

— А не сподобились ли вы заметить, каково состояние торговых дел в Румелии или у пределов цезарских? Нашего брата купца спрашивать о том сомнительно. Каждый норовит утаить правду ради собственной выгоды...

Так вот ради чего этот ужин и ласковость купца. Вот по какому делу оказался он нужен и выгоден. В глазах Аюб-ага мелькнуло понимание и утвердилось там, вытесняя тревогу и настороженность. Все обретало свой смысл, все становилось на свои места.

Сам того не ведая, Керим задел струну, которая касалась самого сердца его собеседника. Во всей Молдавии не было, наверное, человека, который мог бы точнее сказать, за сколько можно купить хорошего коня в Измаиле, воз кожи в Бендерах или в Бабадаге меру зерна. Не потому, что Аюб-ага занимался коммерцией, потому, что всю жизнь любимым его занятием было считать деньги, лежавшие в чужих кошельках. Сколько выручил Ахмед-эфенди за свой табун, продав его на осенней ярмарке? А сколько потерял, купив на вырученные деньги зерно у проезжего грека в Бургасе? Эти расчеты, которые сборщик податей проводил обычно в уме, заполняя его дорожный досуг, нередко оказывались небесполезны и в прямом его деле.

— Воз сена стоит в Кишиневе два пара. Когда же в прошлом месяце туда прибыл сераскер Гулям, а с ним 20 тысяч его конницы, цены поднялись до четырех пара. А стоило сераскеру и его войску начать движение на Бендеры и Хаджибей, как цены стали поднимать на всем пути их следования!

И он взглянул на Керима победно и радостно, как бы приглашая его соучаствовать в своем удивлении и восторге. И Керим изобразил на лице такое участие. Но дабы поддержать известную остроту беседы, позволил себе осторожно заметить:

— Но не до четырех же пара.

— Да, — согласился Аюб-ага несколько огорченно. — Не до четырех. Но уж до трех-то пара это точно.

Керим с важностью наклонил голову, давая понять, что именно это он и имел в виду:

— Но ведь так бывает всегда, когда движется войско. Особенно во время войны.

— Не обязательно! — оживился Аюб-ага. — Не обязательно! Сиятельный сераскер паша бендерский проследовал в прошлом месяце через Кишинев, а с ним 10 тысяч конного и столько же пешего войска. Базар даже не заметил их появления!

Керим изобразил на лице изумление, которое было тем более искренним, что о движении этого отряда турецких войск он не знал.

— Светлый паша — хитрый, как степной волк. — Аюб-ага в искреннем восхищении воздел руки. — Никто, как аллах, подал паше благую мысль идти на русских через польские земли, мимо города Ягурлык. Вернее, не идти, а только сделать вид, что он собирается это сделать. При виде столь славного и храброго войска поляки убоялись разорения. Их губернатор Савицкий вышел навстречу войску и просил обойти его пределы. В подкрепление своей просьбы он велел доставить светлейшему паше целый обоз провианта. И сверх того

два стада овец и коров! А сколько мешков муки и проса! Базару не было и дела, что через, город проходит войско! Вот какой умный и хитрый человек сераскер паша бендерский, да продлит аллах его дни!

Так, не задавая вопросов, Керим услышал в тот вечер много полезного для себя, причем не только в отношении цен и товаров. Когда же настала ночь и пришло время сна, во всем мире не было, казалось, лучших друзей, чем Керим и Аюб-ага. Хотя Керим и вел свой отсчет ситуации, он полагал, что гость исполнен к нему самых добрых чувств. Но, оказалось, свой отсчет вел не только он.

Керим проснулся, разбуженный солнцем, которое било ему в глаза.

— Осел и сын осла! — выбранил он слугу, не за творившего на ночь ставни. Но выбранил нерадивого больше для порядка. Керим даже рад был, что проснулся так рано. Он многого ждал от сегодняшнего дня. Вчера, посетив несколько домов, где предлагал свой товар, среди прочих побывал он и у Андронаки. И если ему и пришлось пробыть там чуть дольше, чем у других то не настолько, чтобы это могло быть заметно. Впрочем, кому замечать?

Сегодня, как бы продолжая коммерческие свои дела, он должен повторить свой визит и взять приготовленные для него письма.

Вчерашний мальчик внес в комнату кувшин с водой и таз для умывания. Через пару минут он вернулся, неся на голове поднос с завтраком — кукурузные лепешки, сыр, кишмиш и кислое молоко. Но Керим отослал слугу. Позавтракает он в харчевне, что при базаре. Заодно узнает там, что нового в городе. Спускаясь из комнаты по

деревянной скрипучей лестнице. Керим полагал возвратиться к обеду.

Он не вернулся сюда никогда.

Тенистый дворик гостиницы был пуст в этот ранний час. Единственным человеком, который оказался там, был вчерашний его знакомый Аюб-ага. Выйди Керим минутой раньше или позже, он, может, и не встретил бы его. Но разве человек сам выбирает карту, которая выпадает ему?

— Салям алейкум, — приветствовал его Керим.

Аюб-ага не ответил. Вместо приветствия он стал на пути Керима и пальцем уперся ему в грудь.

— Ты! — выдохнул он, и Керим почувствовал кислый запах вина. — Так, говоришь, ты из Бургаса? А я был сейчас в караван-сараяе, там с торговыми людьми разговаривал. Нет, говорят, такого купца в Бургасе Махмуд Керима. Может, ты не из Бургаса, Керим? Или зовут тебя по-другому? А? Ты вспомни!

В узеньких прорезях его глаз не было ничего уже от вчерашнего недоумения и тревоги. Только хмельное торжество и злорадство прочитал в них Керим.

— Молчишь! — Он вцепился в рукав Керима. — А ну-ка пойдем к сераскер-баши! Ему скажешь, что ты за птица, за кого выдаешь себя!

Он говорил все громче, распаляясь от собственных слов.

Побелевшими губами Керим растянул рот в улыбке.

— Аюб-ага, дорогой, — руку он положил себе на грудь, как бы для большей убедительности, между тем как пальцы незаметно ушли за пазуху, нащупав там

холодную рукоять ножа. В последний миг он скосил глаза на провалы гостиничных окон и успел удержать руку.

— Аюб-ага, дорогой, — повторил он. «Самое главное — говорить. Продолжать говорить!» — мелькнуло в сознании. — Родился-то я в Бургасе, Вот и говорю, что оттуда. Из Бургаса. Разве я посмел бы обманывать такого почтенного человека? Я честный купец, уважаемый. Дурные люди обманули тебя...

«Говори! Говори!» — приказывал он себе и видел, что Аюб-ага не верит ни единому его слову.

— А куда я иду? Куда я иду-то, — скороговоркой частил он, хотя Аюб-ага не спрашивал его ни о чем. Нужно было что-то сделать, сделать именно сейчас, пока они одни, пока не появились любопытные и свидетели. Пока нет толпы. От толпы спасения нет, Керим понимал это. — А я иду к одному человеку, — продолжал он, только чтобы не молчать. — Тут недалеко живет. По торговому делу иду. Долг получить нужно. Большие деньги. Может, у него и нет при себе таких денег-то...

При упоминании о деньгах «в глазах у сборщика податей мелькнули затаенные блики. На лице отразилась работа мысли. Он даже ослабил хватку, и Керим мягко освободился от цепких его пальцев. Но Аюб-ага вроде бы и не заметил этого.

— Долг, говоришь? — Было видно, как он силится, как он хочет поверить Кериму, но пьяная злоба мешала ему. На лице Аюб-аги продолжалась еще борьба, когда Керим, неведомо как, каким-то озареньем постиг вдруг ход его мысли. Если Керим не тот, за кого выдает себя, значит, за ним действительно что-то есть. Тогда доносителю полагалась половина его имущества и половина всех бывших при нем денег. Но Керим идет к

должнику. Он получит сейчас много денег. Может быть, подождать с доносом? Но и рисковать было страшно — вдруг, надеясь на большее, он упустит то, что сейчас само идет ему в руки? Страх и алчность терзали сердце сборщика податей.

Когда чаша судьбы колеблется и не может установиться, достаточно малого усилия, чтобы подтолкнуть ее. И Керим сделал это:

— А может, пойдём вместе, Аюб-ага, почтеннейший? Это здесь, неподалеку, — он махнул рукой в сторону; ближайшего глухого проулка, поросшего пыльным репейником. — Мой недостойный должник не посмеет уклониться в присутствии столь высокого человека. И мне спокойнее будет. Такие деньги...

«Иди же! Иди!» — мысленно подталкивал его Керим. И Аюб-ага, словно повинувшись мысленному его приказу, двинулся с места. Но они не прошли и десятка шагов, как он вдруг остановился.

— Пешком, значит? А коней там оставляешь? — кивнул он на гостиничную конюшню. Сообразил, значит, что не бросит купец своих коней, не бросит товар и поклажу. Вернется. И деньги, что взыщет, принесет тоже с собою.

— Иди сам, — сказал словно против воли, как выдавил из себя. — Недосуг мне. Когда вернешься-то? — Спрошено это было нарочито легко, почти без нажима, как бы между прочим. И, услышав от Керима простодушный ответ, что вернется с деньгами к обеду, неискренне скривил в усмешке ниточку губ. — А и правда. Наврали про тебя те людишки из караван-сарая. Сам вижу, все наврали.

— Почтеннейший, — во второй раз приложил Керим руку к груди. — Скорблю, что не можете сопровождать меня, недостойного. Не откажите хотя бы отобедать со мной сегодня. В залог вашего покровительства. В знак взыскания долга.

Обмануть обманывающего — обман ли это?

Он шел, стараясь не убыстрять шаги, пока не вошел в проулок. И все время, пока шел, перед глазами его была красная мертвая голова, насаженная на пику, которую он видел третьего дня на базарной площади в Бабадаги. Одни отшатывались, другие старались подобраться поближе, толкались, перешептывались: «Русский шпион».

Он знал, почему голова была такого цвета. Перед тем как отрубить ее, с того, безымянного, кто был схвачен, с живого содрали кожу.

Войдя в проулок, где никто не мог уже видеть его, он ускорил шаги. Почти побежал.

Не пошел с ним Аюб-ага. Не пошел. Не судьба, значит, была сборщику податей кончить жизнь этим утром. Не судьба валяться в бурьяне до вечера, пока собаки по запаху крови не нашли бы его там.

...Цирюльник был суетлив и многословен, как все его собратья. И невозможно было понять, что двигалось у него быстрее — пальцы или язык. Но только не дело, которое совершалось с медлительностью, возможной только на Востоке. И важно было заставить себя войти в этот ритм, не дать почувствовать своего нетерпения. Клиенты, приходящие в цирюльню, не торопятся никуда.

На дальнем конце базара он отыскал полутемную лавку старьевщика, откинул рваный полог и нырнул

внутри. Человек, который какое-то время спустя выбрался оттуда, ничем — ни внешностью, ни одеждой не походил более на купца из Бургаса, на Махмуда Керима. В базарный ряд вышел молдавский крестьянин в ветхой одежде и стоптанных башмаках, робкий и неуверенный в движениях, как все люди его звания. Он сделал несколько шагов и затерялся в толпе.

Он не пошел больше к Андронаки, но, как сумел, постарался поскорее выбраться из Сорок. Не должно обманывать себя, полагая, будто при этом им владели лишь некие высшие соображения, будто единственным помыслом его было как можно скорее доставить в Киев собранные им сведения. Нет нужды делать сотника Константина Бантыжа храбрее, чем он был когда-то в жизни.

И все время, пока пробирался он назад, ночевал в скирдах, переходил вброд реки, отлеживался в придорожном бурьяне, услышав цокот коня, все это время маячила перед ним красная, как обваренная, мертвая голова, насаженная на ржавую лику.

Но иная, видимо, смерть написана была ему на роду. Приблизившись к русским линиям и не дождавшись ночи, он решился искутить судьбу, как будто и без того не делал этого многократно. На жеребце, лихо украденном накануне, он бросился наперерез, через поле, и была минута, когда ему казалось, что все позади, что и на этот раз он ушел от всех смертей. Услыхав за спиной конский топот и крики, он оглянулся не сразу. Сторожевой разъезд улан, приняв за лазутчика, настигал его с занесенными палашами. Он же, припав к мокрой шее чужого коня и оборотив побелевшее лицо к тому,

что совсем уже доставал его, тщетно пытался выкрикнуть: «Свой! Свой!» пропавшим вдруг голосом.

«Галяцкаго полку Ежинсковский сотник Константин Бантыж, который пред сим из Киева в турецкие места нарочно для разведывания был послан, почему оный, быв в Сороке и в Кишиневе, и в Бендерах, и в Каушан, паки назад через Сороку возвратился и, в канцелярии его сиятельства генерал-фельдмаршала и кавалера графа Ф. Миниха явясь, сказал:

Слышал он, Константин, тамо и сколько мог видеть, что ныне в Бендерах и около Бендер под командою сераскера Абдуллаг-паши войска турецкого и конного и пехотного 12 тысяч, да под командою Бекир-паши бошняков 7 тысяч, итого 19 тысяч; оные от Бендер в полторы версты выступя, не переезжая Днестра, лагерем стоят; в Бендерах пушек больших и малых 150, и пороху там довольно, и несколько мортир и бомб есть; токмо тамо военным провианта довольно числа не имеется (о чем он, Константин, тамо в Бендерах от турецких офицеров и обывателей слышал), и за недовольствием провианта военные жалуются и многие бегут. При Бендерах через Днестр мост сделан...»

Сотник говорил, а писарь поскрипывал пером, склонив голову набок, досадовал, когда не успевал за его словами. Капитан-поручик, по должности обязанный присутствовать при сем, скучал отчаянно. Он сидел за шатким дорожным столиком, то сплетая, то расплетая прокуренные табаком пальцы. Время от времени он пытался вставлять какие-то вопросы. Это было лишено смысла, потому что сотник знал, что говорил, а сверх того сказать все равно ничего не мог. И, понимая это, капитан-поручик еще больше сатанел от скуки.

«...При визире, мнят, имеет быть войска и с теми, которые вновь пришли и будут, до 50 тысяч всякого, а генерально многие турки по мнению своему говорят, что в нынешнюю кампанию под командою визирскою всякого войска турецкого с бендерским, хотинским и очаковским всего может быть до 70 тысяч, а более того быть не надеются... Из Константинополя вышли 4 корабля и все катроги и фуракаты под командою Надей-паши на помощь городу Кафе и городу Керчи. Визирь послу цезарскому соболью шубу подарил и к тому великую честь показал. Говорят, что аглинский и голландский послы вместе с турецкими министрами на границы ехать не хотели, объявляя визирю, что они из России ожидают известия, что двор российский прямое ль намерение имеет мириться или нет. Турецкий султан к хану крымскому кафтан, саблю и булаву послал за службы, что он в России был и тамо разорение учинил, генерала убил и генеральского сына и многих пленил, за что ему султан благодарил...»

Исписав страницу донизу, писарь ловким движением бросил на лист горсть песка, потряс его и стряхнул песок на пол. Три с половиной писчих листа — весь итог многодневных трудов и скитаний сотника. Итог всех его страхов, изворотливости, повседневного риска, удач и неудач, для описания которых не нашлось и не могло найтись места на казенной бумаге. Три с половиной листа — это все, что интересно и важно господам, заседающим здесь, в ставке, среди непонятных бумаг и расстеленных по столам карт.

Когда расспросные речи были завершены, секунд-майор велел позвать сотника и обласкал его. И было за что — сопоставив принесенное сотником, с тем, что у него было, секунд-майор теперь доподлинно знал:

Андронаки — верный его confident и российскому престолу искренне предан. Сотнику же он велел никуда из Киева не отлучаться. В ставке прибытия фельдмаршала ожидали со дня на день.

По прошествии какого-то времени Бантыж был представлен графу. Миних улыбнулся ему милостиво, благодарил за службу и спросил, нет ли какой просьбы. Сотник был научен заранее, что на этот вопрос его сиятельства следует отвечать браво, что безмерно счастлив и обласкан служить под началом господина генерал-фельдмаршала и что в народе его сиятельство зовут-де «соколом» и «столпом империи». Заученные слова застряли в горле, он запнулся и помотал головой.

Граф же, занеся уже было руку над дарственной табакеркой с собственным вензелем, остановился в своем движении и при виде такого невежества даже нахмурился. Но секунд-майор, стоявший при нем, тут же шепнул графу, что сотник-де оробел, сомлел в своих чувствах в присутствии столь высокой персоны. И Миних умилился, услышав, что храбрый воин растерялся в его присутствии. Это оказалось ему даже приятнее тех слов, которые тот мог бы произнести. Фельдмаршал, довольный, протянул ему серебряную табакерку. А также дозволил благодарственно целовать унизанную перстнями руку.

Засим храбрый казак, сотник Константин Бантыж, отбыл в свой полк, который готов был уже к походу, и дальнейший след его теряется. Известно только, что позднее, когда полк был переброшен на запад и брал Бендеры и Хотин, сотник весьма старался разыскать своего знакомца по Сорокам Аюб-агу. Но встретил ли он его и какой был между ними разговор, о том неизвестно.

Всякий раз с наступлением осени, с приближением холодов обе стороны прекращали военные действия. Полки отводились на зимние квартиры. Главнокомандующие, турецкий и русский, покидали на это время свои армии, удаляясь на зиму в столицы.

Весной по прибытии в ставку главнокомандующий фельдмаршал Миних, как и надлежало тому быть, выслушивал рапорты генералов о делах, совершившихся в армии за время его отсутствия. Поскольку же дел особых не было, после петербургской событийной жизни рапорты казались ему скучны, происшествия — ничтожны, а сами генералы — ленивы и нерасторопны.

Явившись по вызову фельдмаршала, генерал-квартирмейстер зычно произнес приветствие и вытянулся, как на плацу. «С такой внешностью в лейб-гвардию бы ее величества, — отметил про себя Миних. — На правый фланг. А то и впереди полка». Жестом он ласково пригласил генерала садиться. Само собой, приглашение это не относилось к секунд-майору, как всегда, сопровождавшему его с докладом.

Хотя манера садиться и не была предусмотрена артиклями устава, генерал-квартирмейстер и это проделывал с тем воинским изяществом, которому нельзя было научиться, но которое приходит само собой только после многих лет, проведенных на плацу, в муштре.

— Ну, господин генерал, что там у вас по вашему департаменту? — вскинул брови Миних. Секунд-майор быстрым движением подал генералу папку, в которой лежал переписанный набело рапорт.

Генерал раскрыл папку, отнес ее от себя на вытянутую руку и уставился на исписанные листки. Потом сделал глубокий вдох и шевельнул губами.

Миних сдержал улыбку.

— Господин генерал, стоит ли вам утруждать себя чтением? На то у нас секунд-майор имеется. Не так ли?

Если бы с плеч генерал-квартирмейстер а был снят в ту минуту некий тяжкий груз, он не испытал бы большего облегчения. Чуть заметным жестом граф позволил секунд-майору сесть.

— Полагаете ли вы, генерал, — повернулся Миних к нему, когда рапорт был прочтен, до конца, — полагаете ли вы, что дела в Крыму таковы, что нынешним летом нельзя ждать оттуда выступлений в пределы российские? И другое. Если такое выступление воспоследует, сможет ли армия фельдмаршала Ласси воспротивиться ему без нашей помощи?

Не меняя решительного выражения своего лица, генерал-квартирмейстер повернул голову к секунд-майору, как бы передавая вопрос ему. Когда же тот отвечал, генерал снова смотрел на фельдмаршала, так что получалось, что всякий раз отвечал как бы он.

— Осмелюсь заметить, ваше сиятельство, — вставил майор, выбрав удачную паузу, — наш конфидент из Молдавии, некий Луппол... — И он изложил вкратце свои сомнения, связанные с этим делом.

По мере того как он говорил, Миниха все больше разбирал смех. Однако причины своего веселья фельдмаршал пояснять не стал, что было в его нраве — время от времени ставить подчиненных в тупик и заставлять их теряться в догадках. Веселье же его

вызвано было тем обстоятельством, что, просматривая пересылаемые ему в Петербург копии писем конфиденентов, он пришел к тем же сомнениям, что и майор. Сомнениями этими он поделился с давним своим знакомцем, Иваном Ивановичем Неплюевым<sup>[1]</sup>. Кто-кто, а Иван Иванович был искушен в делах такого рода. Ознакомившись со списками посланий, он разделил эти подозрения. Чего бы ради конфиденгент стал допытываться, не собирается ли русская армия на Бендеры и каким путем пойдет, не по Днестру ли? Неплюев отписал Миниху в столицу: что делают такие конфидененты суть «хитро вымышленный обман: сколько российскую сторону они уведомляют, а более того стараются о здешних обращениях уведать».

Это-то знаменательное совпадение и развеселило господина фельдмаршала до чрезвычайности. Самым забавным представлялось ему то, как деликатно и сослагательно строил свои фразы секунд-майор в отношении дела, которое ему, Миниху, представлялось предельно ясным.

---

<sup>1</sup> И. И. Неплюев (1693—1773) был родом из бедных новгородских дворян. Был послан учиться за границу, в Венецию и Испанию, по возвращении во время экзамена Петр I особо отличил его. В своих записках Неплюев вспоминал: давая после экзамена руку для целования, Петр сказал: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все оттого: показать вам пример и хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству».

Был Иван Иванович Неплюев русским резидентом в Константинополе, контр-адмиралом, заместителем Оренбургского края. Восьмидесяти лет, умирая в своем имении, в деревне, он велел поставить на могиле памятник со следующими словами: «Здесь лежит тело действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера Ивана Неплюева. Зрите! Вся та тщетная слава, могущество и богатство исчезают, и все то покрывает камень, тело же истлевает и в прах обращается. Умер в селе Поддубье, 80-ти лет и 6 дней, ноября 11 дня 1773 году».)

Кончив смеяться, он промокнул глаза тонким платочком и сунул его обратно за красный обшлаг мундира.

— Так вот, — в глазах фельдмаршала заиграло непонятное торжество, — напишите этому confidentу, да немедленно, что наступление в эту кампанию будет идти на Молдавию. И даже точнее — на Бендеры.

Генерал-квартирмейстером это изъявление фельдмаршальской воли воспринято было с величайшей готовностью. В знак чего лицу своему он придал выражение еще большей решимости и даже некоторой непреклонности. Что же касается секунд-майора, то он пришел в замешательство. Сколь возможно доверять эти сведения confidentу, а столь сомнительному Лупполу тем паче? А вдруг посыльный попадет в руки турок? Но, встретив на свой вопрос ликующий взгляд фельдмаршала, он осекся.

— Чтобы посыльный попал в руки турок, — подхватил Миних. — Превосходная мысль! Превосходная мысль! Не правда ли, генерал?

— Так точно, ваше сиятельство, — пророкотал тот эхом, явно пребывая вне того, о чем шла речь.

— И то, — продолжал, не слушая его, Миних. — В таком разе сообщению этому куда больше веры будет. Отправьте кого-нибудь из ваших людей, майор, да постарайтесь, чтоб он попался. И непременно.

Отпустив их наконец, Миних остался в прекрасном расположении духа. Он был чрезвычайно доволен своей выдумкой и тем, что так ловко проведет турок. Решать же, кого отправить с этой миссией, да так, чтобы он непременно попался, — это было предоставлено

секунд-майору. Ему должно было сделать выбор — кого обоими руками отдаст он на мучительную смерть и пытки.

Однако, как ни было ему неприятно, как ни было тяжело делать это, мысль, что слово фельдмаршала можно было бы как-то обойти или не исполнить, не приходила ему в голову. Ему ясен был стратегический смысл этого дела. Если турки поверят, что русская армия собирается идти на Бендеры, они стянут туда свои силы, убрав их с пути главного удара, который, начинал он догадываться, будет обращен к югу. Вне сомнения, дезинформация эта спасет жизнь многим из офицеров и сотням нижних чинов. И все эти жизни можно купить ценою единственной жизни одного человека. С военной точки зрения расчет этот был безукоризнен. Но вопреки этим соображениям, вопреки здравому смыслу было в этой арифметике нечто, чего секунд-майор не мог принять. Дело было даже не в том, что нужно было послать человека на верную смерть. Любой командир в бою делает это. Здесь же было нечто совсем другое, нечто недостойное, нечто почти подлое, что-то от предательства. Во имя каких бы благих целей ни делалось все это, секунд-майор не мог заставить себя воспринимать это иначе.

Впрочем, все эти чувства несколько не мешали ему понимать неизбежность самого дела. Поэтому при всем, что он испытывал, в то же время он мысленно перебирал возможные кандидатуры. Был бы жив грек Куртина, секунд-майор без особых сожалений послал бы его. Впрочем, Куртина не подошел бы, слишком многие из конфиденентов были ему известны, и без пытки, от одного страха, он назвал бы их всех. Степанов, что из киевских мещан и ходил к Лупполу, тоже знал слишком многих.

Но, даже поняв, что пошлет он, наверное, есаула, ходившего с партией под Дубоссары, секунд-майор какое-то время продолжал еще мысленно перебирать других. На свою беду, есаул был предпочтительней прочих по всем статьям. Этот только под крайней пыткой назовет, кому нес он письмо, а то и вообще не скажет. В любом случае такой посыльный должен будет внушить врагу уважение к себе, а значит, к письму, что при нем будет найдено.

Позвав адъютанта, он велел ему разыскать есаула и тотчас привезти его в ставку в Киев.

Однако выбрать человека и отправить его было не самым сложным из того, что предстояло сделать. Посланный, а главное, письмо, что было с ним, непременно должны были попасть в руки турок. И уж кто-кто, а есаул, человек решительный и ловкий, постарается сделать все, чтобы с ним этого не случилось. Значит, некий тонкий ход был нужен.

По старой артиллерийской привычке думалось ему лучше всего, когда он двигался, в седле ли, пешком. Секунд-майор не заметил, как прошел почти весь Крещатик, машинально отвечая на приветствия других офицеров, впрочем, успев отметить про себя, сколь много среди них совершенно молодых людей, вчерашних подпрапорщиков и юнкеров, только что получивших золотой кант на камзол и шляпу. То, как носили они кивера, придерживали тесаки на ходу, вскидывали руку, приветствуя офицеров, все это отдавало той молодцеватостью новобранцев, которые прошли уже и училище, и казармы, и парады и которым представлялось поэтому, что они знают все, но которым предстояло еще приобщиться к главному — к крови и смерти. Осенью,

пройдя через все, по возвращении из похода они будут уже другими. Точнее, другими будут те из них, кто вернется.

«Кто вернется», — повторил он про себя. Слыша обрывки их разговоров, вглядываясь в мальчишеские их лица, майор невольно как в зеркале времени видел себя, каким был он когда-то. Многие ли уцелели, многие ли остались в живых из прежних его сверстников и приятелей?

Он заставил себя вернуться снова к предмету нелегких своих раздумий. Как посланного выдать туркам, да так, чтобы ни сам он, ни неприятель явно о том не помыслили? Но, хотя он знал, что тому есть пути и способы, почему-то он не мог понудить себя думать об этом. Некая мысль мешала ему. Мысль, в которой он не хотел признаться себе, но которая уже была. И, пытаясь не дать ей всплыть в сознании, он понимал уже, что усилия эти тщетны.

Мысль же, оформившись окончательно и будучи облечена в слова, заключалась в том, что честней всего и достойней было бы отправиться с этой миссией самому.

Он понимал, что ожидало его, если турки его схватят, и знал, что живым в руки им он не дастся. Погибнуть же в схватке с клинком в руке — может ли офицер желать себе лучшей смерти? Тогда и письмо, что найдут при нем, обретет в глазах неприятеля необычайную важность — коль скоро посланный защищал его ценою свой жизни. Но, пустив вольную мысль по этому руслу, представляя себе все, вплоть до исхода, секунд-майор делал это с некой утешительной для себя оговоркой приблизительности, необязательности всего этого расклада. Это была как бы

игра ума, за которой он наблюдал с некоторой отстраненностью, словно бы со стороны. Но в то же время как бы другой частью рассудка он понимал уже, что сделает это. Вернее, не сможет не сделать. Теперь, когда ему пришла мысль о себе, послать есаула значило бы откупиться, значило бы купить свою жизнь ценою другой жизни. Но даже сейчас, понимая это, он думал не о есауле, а о себе — сможет ли жить он с таким камнем, с таким бременем на душе?

Возвращаясь от Владимирской горки назад по Крещатику, он уже точно знал, что дело совершит не кто-нибудь, а он сам.

«Что делаешь, делай быстро». Предстоящей ночи было достаточно, чтобы он успел подготовить свой уход, чтобы раннее утро застало его уже в пути. Да и так ли уж много дел? Разобраться в счетах, дабы не оставлять за собою долгов, привести в порядок бумаги и сжечь кой-какие записки, чтобы чужие руки не касались их. Покончив со всем этим и написав рапорт, сухо объяснявший его поступок, он вынул чистый лист и положил его перед собою. Хотя перо было отточено недурно, он зачем-то отточил его снова. Потом передвинул чернильницу и переставил подсвечник. И только после этого вывел первые слова: «Мой ангел Софи...»

Он не писал жене много лет, после некой истории, теперь уже, впрочем, в свете почти забытой. В свое время все сочли, что он поступил великодушно. Теперь же в дистанции лет видя все отстранение, он запоздало казнил себя за жестокосердие, несострадание и неспособность прощать. И то, что так долго казалось ему

неразрешимым, стало вдруг просто той великой простотой, которая всегда стоит рядом со смертью.

«Мой ангел Софи...»

Помолившись перед сном на сей раз дольше обычного, секунд-майор вопреки своим ожиданиям крепко заснул. Разбуженный денщиком ни свет ни заря, как было приказано им с вечера, первое мгновение он не понимал ничего и ничего не помнил. Но тут же, вспомнив, подумал почему-то не о коляске, которая, наверное, уже заложена, не о деле, на которое идет, а о письме «Мой ангел Софи». И, вспомнив, почувствовал вдруг то, чего не испытывал много лет, — любовь и счастье. Подумалось, что нужно скорее отправить письмо. Сейчас начало марта, когда она получит его? И тут же понял, что, когда это произойдет, его не будет уже среди живых.

И вдруг ему захотелось жить.

Он порвал свой рапорт. Экое мальчишество и донкихотство! Не будет сниться ему есаул, не будет! Да и вообще, почему должен он своею волей идти на смерть — что за безумие?

Боже, сколько минет дней, пока дойдет письмо!

В ставке он застал необычайную суету и движение. Фельдмаршал издал приказ — всем частям быть готовыми выступить через двадцать четыре часа, как воспоследует приказ к походу.

Он едва переступил порог своего кабинета, как тут же в дверях появился офицер от его сиятельства. Фельдмаршал, окруженный генералами и офицерами штаба, кивнул ему поверх голов остальных.

— Посланного с письмом, о чем распорядился я было... — пояснил он, чтобы майору было понятно. — Посланного тотчас возвратить обратно. — И, почувствовав потребность пояснить, поднял палец: — На Востоке говорят, майор: «Ты сказал мне раз, и я поверил, ты сказал еще раз — я стал сомневаться, ты сказал в третий раз — и я понял, что ты лжешь».

После этих слов, смысл которых был, впрочем, понятен только ему, мановением руки Миних отпустил майора.

Означала же сия его сентенция следующее. Еще зимой, будучи в Петербурге, граф сам приложил усилия, дабы ввести неприятеля в заблуждение. Вернее, попросил об этом все того же Ивана Ивановича Неплюева, написав ему в Киев. Оставив уже свой высокий пост в Константинополе, Неплюев продолжал держать в руках важные нити, уходившие весьма далеко. Миних писал в письме: «Дабы визирь наивяще силы свои разделить мог, разгласить в Польше, будто за секрет, что вящая часть войск Ея Величества будущей весною, как можно рано, оборотятся... к днестровским берегам — противу Белграда (Аккермана) и Буджака, что всемерно через поляков у неприятеля известно будет».

Визирь слыл человеком искушенным в хитрости и, что главное, знающим в этом деле меру. Если отовсюду он будет получать сообщения, что Миних идет-де в Молдавию, настойчивость эта даст ему заподозрить обман: «Ты сказал в третий раз, и я понял, что ты лжешь». Чтобы обман был достоверен, должно помнить о мере.

...Когда в заключительном этапе войны русская армия, пройдя по Молдавии, с боем взяла Хотин и Яссы,

в этом, как и прежде, была немалая заслуга разведки. В Молдавии русская армия имела немало добровольных помощников среди местного населения. Для молдаван приход русских означал освобождение от власти турок, от бесконечных их притеснений и поборов, которые усилились особо во время войны. Соблюдая величайшую скрытность, в ставку прибыл представитель недовольных Абаза и был принят Минихом наедине. С ним же фельдмаршал передал послание «мультянским господам». Он писал: «А ея Императорского Величества всемилостивейшее желание есть не токмо господарства от турецкого ига освободить, но и вовсе счастливыми учинить, ежели возможно, учредя их особыми вольными княжествами». Письмо свое он заключал тем, что «все то надлежит содержать в крайнейшем секрете».

В агентурную работу наряду с конфидентами все больше включаются кадровые офицеры. От выполнения отдельных заданий некоторые из них переходят к профессиональной деятельности в этой области. Возникает тип военного разведчика-профессионала.

Из донесения императрице Анне Иоанновне от 3 января 1739 года: «Для разведывания о неприятельских движениях наши офицеры в Польше в разных местах доныне имеются и через них, тако ж и через корреспондентов, частые о всех их неприятельских обращениях известия в получении имеем».

От офицеров разведки, размещенных в Польше, донесения поступали ежедневно. Благодаря этой системе постоянного наблюдения, писал Миних, «неприятель внезапно напасти не может, следовательно, мы в состоянии будем оного предостеречь и сильный отпор учинить».

Мир, заключенный после долгих переговоров и с большим трудом в 1739 году, более походил на перемирие. Каждая из сторон подписывала его, скрепя сердце. Противоборство двух империй должно было продолжиться если не в следующие годы, то в ближайшие десятилетия. Поэтому ни та, ни другая сторона не только не свернула свою агентурную сеть, но прилагала усилия, чтобы всячески ее укрепить и расширить.

По заключении мира в армии произошли обычные в таких случаях перемены. Миних возвратился в Петербург и пребывал там весь в военных делах и политических интригах. Следом за ним потянулись и другие высшие офицеры. Осыпанные вниманием и милостями двора, они вовсе не рвались из своих петербургских особняков обратно в казармы. Генерал-квартирмейстер получил лестное повышение и уехал одним из первых. Отъезд его ничего не изменил в делах секунд-майора, как раньше ничего не меняло его присутствие. Рапорт, поданный секунд-майором об отставке, оставался пока без ответа. В столице было не до него.

Он понимал, что в отставке ему будет не хватать всего, чем он жил и к чему привык за все эти годы. Будет не хватать этих людей, дел и обстоятельств, тончайшие нюансы которых нужно было держать в уме за невозможностью изложить на бумаге. В чьи руки передаст он все это? Кто будет его преемник и как пойдут у него все эти столь высокосложные дела?

Вечерами же, отрешась от ежедневных забот и облачась в халат, переданный ему с оказией из Петербурга, на время он переставал быть тем, кем был все эти годы — секунд-майором. Когда наступали ранние

сумерки, он сам зажигал в новом подсвечнике свечи и раскладывал на столе письма, написанные на тонкой французской бумаге. По мере того как шли месяцы и недели, писем становилось все больше. Он перечитывал их каждый вечер. Даже те, которые знал наизусть.

Вечерами он жил будущим.

Дождливым весенним днем секунд-майор навсегда покидал Киев. По пути на тракт он заехал в ставку проститься еще раз. Несколько офицеров, немногие, кто оставался, вышли на крыльцо и помахали вслед отъезжавшей под дождем кибитке.

Они были счастливы, он и Софи, и прожили в любви и согласии до глубокой старости.

Если нам очень хочется, чтобы это было так, то так оно и было.

# **ГЛАВА III**

## ***Между войнами***

# ГЛАВА III

## *Между войнами*



Бывают периоды мира, на которых лежат как бы две тени — тень войны минувшей и приближающейся войны. Таким было целое тридцатилетие между двумя русско-турецкими войнами 1735—1739 и 1768— 1774 годов.

Пойдя в свое время на заключение мира, обе державы почитали этот мир невыгодным для себя и не почетным, Россия так и не получила выхода к морю, а Турция не обрела уверенности, что не потеряет своих владений. Достигнутый баланс сил был приблизителен и неустойчив.

## **ВЕРНЫЕ ЛЮДИ И КОНФИДЕНТЫ**

Калейдоскоп лиц, которые занимались делами разведки, после секунд-майора, был упорядочен в 1763 году, когда при киевской губернской канцелярии была учреждена особая «секретная экспедиция». Возглавил ее Петр Петрович Веселицкий, назначенный на эту должность не более и не менее как указом Сената. В постановлении о создании экспедиции ему прямо вменялось в обязанность, чтобы прилагал «он, Веселицкий, с ведома генерал-губернатора, всевозможное старание о изыскании удобных способов к благовременному из заграниц турецких получению достоверных известий о всех тамошних заслуживающих применения и уважения происшествиях». Прибытие Веселицкого в Киев, однако, затянулось. Назначенный в 1763 году, он приехал в Киев только два года спустя, в 1765 году. Двухлетнее его опоздание, несомненно, имело свои причины, и, очевидно, весьма уважительные, принимая во внимание тот пост, с которого переходил

он. Был же Веселицкий начальником тайной канцелярии главнокомандующего в Семилетней войне. Конец войны и совпал с новым его назначением. Но каждому понятно, что окончание войны вовсе не означает конец деятельности ведомства, которое он возглавлял.

Правда, двухгодичное свое опоздание Веселицкий постарался компенсировать по прибытии величайшей активностью и инициативой. Однако, как и всякий российский чиновник, Петр Веселицкий не был волен в своих действиях. Любые его решения, любые поступки регламентировались тяжелой и неповоротливой машиной государственного аппарата.

— Значит, предлагаете учредить должности конфиденентов в означенных городах? — В вопросе Ивана Федоровича Глебова, киевского генерал-губернатора, было не то чтобы сомнение, а скорее общее недоумение.

— Так точно, ваше превосходительство. В означенных городах. — Веселицкий знал, что как человек военный Глебов любил, чтобы с ним придерживались привычной ему военной лексики.

Глебов отвел глаза от бумаг, которые держал перед собой, и поверх очков глянул на Веселицкого. Он увидел человека средних лет, штатского, даже слишком штатского для тех дел, которыми ему поручено было ведать.

Глебов еще раз с сомнением посмотрел на листки и пожевал губами. Все эти годы ему жилось достаточно спокойно и мирно в его генерал-губернаторском кресле, чтобы научиться ценить и свое положение, и мир, и покой, царившие в крае без особых, впрочем, на то с его стороны усилий. Любые перемены и инициативы таили

угрозу нарушения этого. Даже столь незначительные, как те, что предлагались сейчас его посетителем.

— Ну что ж, — произнес он наконец, чтобы сказать что-то, и снова принялся рассматривать листки, делая вид, что читает. Ему не было нужды читать их. То, что было написано там, он и так знал со слов Веселицкого. В проекте этом, несомненно, был свой резон. Цепь постоянных конфиденентов в главных городах вдоль русско-турецкой границы была бы гарантией против внезапного нападения турок, а перемещение турецких войск, стягивание их к границам может пройти незамеченным, если смотреть из Киева или Петербурга, но не из Очакова, не из Бендер или Могилева. Все это так. Ну а если неведомо каким путем туркам станет известно об этой акции? Вдруг это будет воспринято ими как подготовка к войне? И в результате баланс, столь оберегаемый Петербургом, окажется нарушен. Но, даже если всего этого и не случится, оставался вопрос, который, как дамоклов меч, нависал над чиновниками империи любого ранга. Это был вопрос: «Кто позволил?» В любой миг из Петербурга могли спросить, кто позволил генерал-губернатору Глебову учреждать конфиденентов в указанных городах? При таком раскладе генерал-губернатору предстояло бы давать ответ по всей гражданской и военной строгости.

— А что же старые-то? — с надеждой переспросил он. — Чем плохи? Старые-то конфидененты есть, и довольно.

— Да почти никого уж не осталось, ваше превосходительство. Перемерли все.

Его превосходительство покачал головой. И то правда: большинство прежних конфиденентов были

ветеранами прошлой русско-турецкой войны. Сколько ж лет минуло с тех пор.

— Значит, в Очакове, Бендерах и Могилеве?

— И в Яссах, ваше превосходительство. И в Яссах, — подсказал Веселицкий с готовностью, но достаточно твердо. — Причем каждому confidentу должно установить жалованье. Рублей сто в год, думаю, довольно будет. Но это всенепременно, ежели хотим, чтобы дело было. За работу платить надобно.

— Подумаю, — пообещал Глебов. — Точнее, я уже подумал. Своей властью решить этого я не могу. Должно соизволение получить из Петербурга. Буду писать в Коллегию иностранных дел. Так что вы подготовьте-ка мне бумагу. Только вот послушайте меня, совет мой вам пригодится. Коли надо какие средства получить для дела, запрашивайте чуть не вдвое более. Тогда получите, что вам надобно. Они, — генерал-губернатор доверительно кивнул на высокий лепной потолок, — знают, что запрашивают всегда больше, чем надо, и всегда дают половину. Так что давайте означим жалованье confidentам в 200 рублей. А получим сколько надо. Странная эта арифметика, но да так уж заведено испокон.

Веселицкий давно знал эти азы бюрократических игр. С учетом их он и составлял свой проект. Но если его превосходительство намерены увеличить ставки, он с этим спорить не станет. Посему, поблагодарив губернатора за науку, обещал сделать все, как было велено.

Коллегия иностранных дел, получив рапорт Глебова с просьбой об учреждении confidentов, как и сам Глебов, не решилась взять на себя бремя

ответственности. Решение было передано в высшую инстанцию — самой императрице, от которой в конце концов и последовало высочайшее утверждение. Как и ожидал Глебов, жалованье для конфидентов было при этом урезано. Вместо просимых 200 рублей были назначены другие цифры: от 50 до 150 рублей в год.

По получении разрешения секретная экспедиция тут же направила в турецкие владения своих людей. Задание их заключалось в подыскивании конфидентов. Одним из таких агентов был пограничной комиссии комиссар и коллежский асессор Иван Чугуевец. По возвращении он подал в экспедицию рапорт-отчет. Кто же был подобран им в конфиденты? А главное, из каких критериев исходил он в своем выборе? Предоставим ему слово.

«Для такого в Крым отправления, нахожу я способнейшими, надежнейшими, искуснейшими из всех в Крыму торгующих запорожцев и малороссиян есаула Василья Рецетова и полтавского мещанина Павла Яковлева Руденка. Первой, будучи с молодых лет в войске Запорожском по купеческому промыслу, многократно в Крыму бывал, о всех тамошних внутренних поведениях и обрядах совершенно сведом; знакомых и приятелей из знатных крымских обывателей довольно имеет; он, кроме Крыма, торговлю производил в Царь-Граде и на островах беломорских, по которой причине употреблен был от г. тайн. сов. Обрескова в некоторых секретных разследованиях и для вывозу пленных и отпущен с рекомендацию; словом, человек знающий и достойных качеств. Последний Руденко с молодых лет по купечеству промышляет в Крыму и в Царь-Граде, и больше в Крыму, нежели в отечестве, обращается. Он своими честными поступками и постоянством приобрел у всех знатнейших крымских чиновных немалой кредит и почитаем ими

знатнейшим и честнейшим из всех здешних купцов; ему все состояние крымских обывателей, образ правительства и нравы, по долголетному с тем народом обхождению, ведомы; он же на татарском и турецком языках весьма искусен; следовательно, по политическим делам в тамошних местах весьма способен».

Петр Веселицкий, надо думать, немало позабавился, получив это донесение: на секретную службу предлагали принять человека, на этой службе уже состоящего. В то самое время, когда Иван Чугуевец предлагал завербовать Василия Рецетова, сам Рецетов по заданию русской секретной службы был занят тем же делом — подыскивал конфидента.

На примете имел он определенного кандидата — не кого-нибудь, а переводчика самого очаковского паши «греческой породы» человека, Юрия Григорова. Был Григоров не беден, от паши положено было ему немалое жалованье — триста левов в год. Главное же — «в знак султанского к нему благоволения» носил он зеленую шапку. Не простое это дело, завербовать человека, известного самому султану.

Два обстоятельства, правда, несколько облегчали задачу, что стояла перед Рецетовым. Прежде всего он хорошо был знаком с Григоровым, пожалуй, даже дружил с ним ни много ни мало тридцать лет. И другое. Еще мальчиком, живя в Запорожской Сечи, Григорову случилось быть в церкви, когда казаки и все находившиеся там присягали дочери Петра, императрице Елизавете Петровне. Целовал крест и он, Григоров. Всю жизнь он чувствовал себя нравственно связанным этим обетом верности.

В Киеве понимали, сколь непростое дело поручено бывшему есаулу. Сам генерал-губернатор велел привести Рецетова к себе и, беседуя с ним с глазу на глаз, пояснял, «каким образом одного переводчика сондировать, уговаривать, присягою обязать». Но инструктаж инструктажем, а не в меньшей мере полагался Рецетов на свое знание жизни и человека, с которым предстояло ему говорить.

Не сразу приступил он к столь деликатной теме. Как писал Рецетов в отчете, пригласив Григорова на квартиру, где остановился, он «реченого переводчика старался наилучшим образом угостить; нарочно для него взятыми презентами его обдарил, благодаря за дружбу и за благодеяние, оказанное в прежнюю мою бытность по возвращении из Царя-Града, а между тем напаятовал ему о прежнем доброжелательстве к Российской империи; а как сие было наедине, то и он меня заимно о своей ко мне дружбе и неотменной преданности к империи сильнейшим образом уверил; после того звал он меня к себе в дом, куда я пришед, для лутчего его приискания, по их обычаю, сделал подарки жене его и дочери, чем он весьма довольный оказался».

Позднее, вернувшись в Киев, Рецетов представил в экспедицию перечень этих подарков: «1 футро<sup>[2]</sup> черное; 1 футро казанское беличье; 3 конца полотна трубковского; 53 арш. полотна гладкаго ярославского; 3 головы сахару весом 15 ф., 1 ф. Чаю, 65 ок. масла, 23 квартаы водки».

Во время заверений во взаимной дружбе Рецетов заметил, что знает способ, каким переводчик хана может

---

<sup>2</sup> *Футор* — кожа особой, мягкой выделки.

доказать свою преданность Российской империи и заслужить высочайшую протекцию самой императрицы. Что же это за способ, Рецетов обещал рассказать, как писал он потом в отчете, «буде он по дружбе согласится со мною на узморьи для прохаживания идти, где наедине свободнее и безопаснее ему открыться могу, ибо ничто нам не помешает. И так, вышедши к берегу, начал я ему внушать, в силу данной мне секретной записи, о порученной по оной комиссии; но приметя на то некоторое с его стороны сомнение, принужден был клятвою его подтвердить, что я единственно для того в Ачаков отправлен, при чем показал ему секретную записку за рукою г-на канцелярии советника Веселицкого и там его убедил».

Конфидент считался принятым на секретную службу, когда давал клятву перед образом, «по христианскому обычаю, о четырех глазах», то есть в присутствии единственного свидетеля. Григоров принес клятву и на долгие годы стал доверенным лицом и конфидентом русской разведки. Жалованье ему было положено поначалу от 120 до 150 рублей в год. Было оговорено, что сумма эта может быть увеличена в зависимости от его ревности и важности сообщаемых известий.

Первые же сведения, поставленные новым конфидендом, оказались столь важны, что вопреки всем ограничениям решено было жалованье ему удвоить. Хотя усердие и рвение его были не ради денег, такая прибавка оказалась весьма кстати. Сбор сведений требовал времени, разъездов, а главное, подарков. Ничто так не развязывало языки, как подарки, — этим словом деликатно обозначали разного рода подношения,

даваемые небескорыстно. Термин этот помогал избежать другого, более грубого слова.

Предоставление секретной информации за деньги, оказание услуг за плату было вполне в нравах тогдашней Оттоманской империи. Заниматься этим не брезговали лица, пребывавшие на самом вершине лестницы власти. В свое время русский посол в Константинополе просил Петра I прислать ему побольше «мягкой рухляди» (мехов) «для удержания интересов Вашего Величества понеже визирь великий емец». Европейские дипломаты, оказавшиеся в Константинополе, довольно быстро усваивали эти нравы. Так, голландский посол граф Кольерс каждый год тайно получал из Петербурга «дачи» и «награждения» за услуги, оказываемые по секретной части. На таком же жалованье (о чем посол, естественно, не догадывался) состоял и его переводчик, Вильгельм Тейльс. Из тех же фондов русская разведка оплачивала услуги французского посла и его переводчика.

Язык подарков, подношений, иными словами — подкупа, понятен был и в вассальном Турции Крыму. Когда в 1766 году встал вопрос об учреждении там русского консульства, миссия склонить к этому хана была поручена капитану, офицеру разведки Анатолию Бастеву. В инструкции, изготовленной на сей предмет, говорилось:

«Когда же Бастевик усмотрит, что и при хане никакие другие побудительные резоны ни малейшего действия иметь не могут без златого доказательства о пользе и надобности пребывания в Крыму нашего консула, в таком случае он, Бастевик, может в крайней конфиденции ханскому наперснику внушить, что если его принципал поскорее его дело в здешнее удовольствие

решил, то ему в благодарность за то отсюда придется с посылаемым к нему новым здешним консулом тысяча червонцев и два меха: один соболий, а другой лисий, или подобное, что ему, хану, самому угодно будет».

Зная неизбежность такого рода «накладных расходов», и было решено увеличить жалованье конфиденнта Григорова вдвое.

Когда не случалось оказии и верного человека, письма свои отправлял он обычной почтой. В те патриархальные времена это представлялось делом достаточно безопасным. Адресовались эти послания на имя купца Пантазия, но имели отличительный знак — три прямых черты на конверте. По этому знаку коменданту крепости святой Елисаветы велено было письма те тотчас изымать из прочих и безотлагательно через нарочного доставлять в секретную экспедицию в Киев.

## **ВОЙНА У ПОРОГА**

С некоторых пор в сообщениях конфиденнтов и офицеров разведки начали появляться тревожные вести: Турция готовилась к войне. Пока это были первые шаги. Но тот, кто делает первый шаг, собирается обычно совершить и последующие. В Валахии и Молдавии, сообщали конфиденнты, турки стали сооружать склады для амуниции и провианта. По рекам поплыли целые караваны бревен, связанных толстым морским канатом, — турки собирали лес, идущий обычно для наведения переправ и строительства укреплений. Разведчики доносили: из приграничных районов стада постепенно отгонялись вглубь. Появлялись сообщения о передвижении войск; «из Румелийской стороны на Дунай

собралось тысяч до сорока», «город Очаков вскорости ожидает из Анатолии янычар тысяч до десяти».

Сообщениям этим можно было доверять или не верить, но игнорировать их было невозможно. На всякий случай, дабы избежать внезапного нападения, генерал-майору Исакову предписали «неприметным образом форпосты войскам приумножить и удобную от неприятеля иметь предосторожность». О военных приготовлениях турок сообщено было и Румянцеву, генерал-аншефу и кавалеру, с тем чтобы он постепенно придвинул, войска, дабы, когда нужда потребует, границы «там скорее защищены быть могли». Как и Исаков, Румянцев должен был провести сей маневр «без малейшей о том огласи». Предосторожность эта вызвана была не только военными соображениями. До последней минуты российская сторона оставляла шанс — избежать начала военных действий. Русская армия не должна была совершать никаких акций, которые могли бы быть поняты турками как приготовление к войне. Мир продолжай оставаться неустойчив, и немного было нужно, чтобы этот баланс оказался нарушен. Иногда войны вспыхивали только из опасений, что другая сторона начнет ее первой. В России меньше всего хотели дать Турции повод к таким опасениям.

Но если вопреки всем этим благим побуждениям Турция готовится напасть?

Для разведывания, доподлинно ли турки чинят приготовления к войне, решено было отправить к крымскому хану капитана Бастевика с письмом. Следовать же ему в Крым не прямо, а через Балту и Дубоссары, чтобы найти повод повидаться с тамошним

конфидентом Якуб-агой и попытаться получить от него вести. Для сопровождения же капитана как лица немаловажного был придан ему эскорт — четыре запорожских казака.

Якуб-ага, к тому времени наместник в Дубоссарах по должности своей не имел особых поводов встречаться и разговаривать с русским капитаном. Бастевик понимал это. Значит, нужно было создать такой повод.

Поздно вечером, подъезжая уже к Дубоссарам, Бастевик велел съехать с дороги.

— Братцы, — обратился он к казачьему конвою, что сопровождал его, — посмотрите-ка коляску. Что-то, сдается мне, заднее колесо не держится, из стороны в сторону вихляет. Не потерять бы.

Казачи спешились, потрогали колесо, покачали головами. Все было в порядке.

— Хорошее колесо, барин. Не извольте беспокоиться.

Но капитан стоял на своем. Не держится колесо, как бы не случилось чего.

— Ну раз благородие так полагают, значит, так оно и есть.

Смекнули казаки: не первый раз были в подобном деле. Один, поднатужившись, поднял заднюю часть коляски, другой подвалил камень. Дело пошло. Но пошло с трудом, хороший каретник мастерил ту коляску и вовсе не для того, чтобы так легко было в ней что-то сломать или испортить. Когда наконец тронулись и выехали на дорогу, заднее колесо и правда выписывало кривую.

По случаю такой приключившейся в пути аварии Бастевик, едва добравшись до квартиры, отправился к наместнику просить прислать кузнеца и каретника, чтобы можно было ему продолжать свой путь.

«Как провожать он, Якуб, меня из дому стал, — писал Бастевик много позднее в своем отчете, — то дал ему вид, с которого он догадаться мог, что я с ним желаю наедине видеться. А по уходе моем от него, Якуба, в показанную мне квартиру, чрез час прислал он, Якуб, ко мне Магмута, который мне сказал, что по прошествии часа в ночь выйти мне из квартиры моей якобы для прогулки и назначил место, где мне ожидать; почему я тотчас в назначенное место и пришел, где и ожидал. А как он узнал, что я там уже ожидаю, то он, Якуб, выслал ко мне своего мальчика, который мне и объявил, чтоб я пришел к его пану. А за прибытием моим для лучшего и способнейшего разговору взял меня за руку и ввел в свою спальню, куда по их обыкновению никто не входит, и начал я говорить речь, до него принадлежавшую, в силе данной мне мемории, и данное мне письмо и посылку вручил ему. Разговор же наш с Якубом, — заключал капитан, — продолжался до пяти часов. И, окончив те разговоры, простясь с ним, отошел я в отведенную мне квартиру».

На другой день, когда повозка была починена, Бастевик и бывший при нем казачий эскорт отправились далее. Того, что выведал он у Якуба, что видел сам по пути, довольно было, чтобы понять — Турция готовится вступить в войну безотлагательно. С рапортом об этом уже с дороги отправил он казака к российской границе, к Орловскому форпосту, куда тот благополучно прибыл.

Сам же Бастевик с поредевшим эскортом отправился далее, не ведая, впрочем, что ждет его в конце пути.

Независимо от Якуб-аги исправно посылали свои донесения Юрий Григоров из Очакова, Попович из Крыма и Дубоссар, Молчан из Бендер. Польский священник Илья Сулима через верных людей прислал письмо Глебову, предлагая свои услуги по секретной части. Дважды в месяц писал Кафеджи из Могилева.

Иоанн Николаевич Кафеджи был «знатной и богатой купец», его услугами Веселицкий пользовался и ранее в бытность свою при главнокомандующем в Семилетнюю войну. Тогда Кафеджи исправно сообщал о маневрах и планах армии Фридриха II. Судя по всему, секретная экспедиция и сейчас весьма дорожила этим конфидентом. Инкогнито его соблюдалось самым неукоснительным образом. Даже в реляциях на высочайшее имя генерал-губернатор ни разу не раскрывает его тайны — повсюду он фигурирует как «могилевский приятель».

Кафеджи рисковал и работал на разведку не ради денег. Об этом упоминается в указе императрицы на имя киевского обер-коменданта Ельчанинова. Не следует назначать жалованье человеку, говорится в указе, который согласился поставлять сведения, как христианин и «из усердия к империи». Сведения, что доставляет он, куда дороже тех ста пятидесяти рублей, которые могут быть ему назначены. Кроме того, деньги эти получать ему «не беспостыдно, тем паче; что оное при его знатности и богатстве не сделает ему в капитале большого приращения».

Когда над южными границами империи стали собираться тучи, «могилевскому приятелю» было

поручено послать от себя в турецкую армию верных людей «для разведывания как о тамошних обстоятельствах, так о состоянии и числе главной под предводительства верховного визиря армии».

Каким образом, под какой личиной проникли люди эти в турецкую армию, каковы были их имена — об этом не осталось ни памяти, ни следа. Известно только что в самый краткий срок в секретную экспедицию было доставлено обстоятельное донесение, содержащее все сведения, интересовавшие ставку русской армии.

Накануне отъезда капитана Бастевика к Якубу, за три недели до объявления Турцией войны России, другой confident, Яков Попович, писал ему, что объявлен секретный приказ султана янычарам готовиться всем к походу. В Бендерах, сообщал он, арнаутские войска с крайней поспешностью ремонтируют крепость, готовя ее к обороне, а в крепость Казыбей «приведено из Константинополя множество всяких военных сбруй и припасов».

Получив это сообщение, которое вкуче с другими донесениями и рапортом казак доставил от Бастевика, Веселицкий составил доклад, который тут же подан был генерал-губернатору. В кабинете Глебова доклад этот не задержался. Того же дня переписанный набело с курьером отправлен он был в столицу государыне. Другие копии тут же посланы были в Коллегию иностранных дел и обоим командующим армиями, расположенными на юге: генералу А. М. Голицыну и генералу П. А. Румянцеву.

Для Веселицкого и его людей война началась задолго до того, как она была объявлена официально. Русскую армию, предупрежденную заранее, турецкий

ультиматум и начало военных действий не застали врасплох.

Что касается капитана Бастевика, то он благополучно достиг Бахчисарая. Однако хан под разными предлогами не принимал его, откладывая аудиенцию со дня на день. Так продолжалось до того утра, когда капитана разбудили звуки оружия и крики янычар под окном. Это явились за ним. Но прибывшие препроводили его не в ханский дворец, а в темницу.

Долгие месяцы провел капитан в плену. Когда же его выменяли наконец на пленного турецкого офицера, война была уже в самом разгаре.

Киев, которого он не чаял уже и увидеть, встретил Бастевика бабьим летом. В ставке капитана ждал указ о производстве в следующий чин. Кроме того, его с нетерпением ждал Веселицкий, который, не дав бывшему капитану ни дня на отдых и поправление здоровья, поручил ему очередное дело, не терпевшее отлагательств.

Подполковник Каразин, к которому приставлен был теперь Бастевик, ростом невелик, голосом тих, и, если б не славный послужной его список, трудно было б поверить, что Каразин — боевой офицер и прошел в боях не одну кампанию.

— Господин Бастевик всем потребным вас обеспечит, — пояснил Веселицкий. — И к людям своим, что у него по ту сторону имеются, путь укажет.

Бастевик не помнил, чтобы с кем-нибудь канцелярии советник держался с той мерой почтительности, как с подполковником. Бастевик на своем опыте знал, что почтительность имеет свои

оттенки, свои нюансы. Почтительность же Веселицкого к подполковнику была совершенно особого рода. Каразина он знал еще по прусским делам, по Семилетней войне. Видно, советнику известно было о нем нечто, что внушало ему столь глубокое уважение. Бастевик полагал, что Веселицкий так или иначе откроет ему что-то, если только это не связано с выполнением каких-то прежних секретных дел. Но Веселицкий предпочел промолчать.

Для России смысл начавшейся войны был в одном — получить выход к Черному морю. Останется ли гигантская империя замурованной в полосе безводных степей, или прорубит еще одно «окно в Европу» на юге?

Для Турции победа означала бы сохранение статус кво, сохранение владений в Молдавии, в Крыму, вдоль Черного моря.

Что касается народов, находившихся под властью Турции, то для них победа России должна была принести им долгожданную свободу.

Игра на неизвестности и страхе — это был ход, привычный в таких делах. Ему можно было противопоставить только одно — слово самой российской императрицы о даровании свободы народам, что будут освобождены от турецкого ига. Но мало было составить такой манифест, мало было перевести его на другие языки и распечатать. Нужно было найти средства тайно доставить манифест туда, где его ждали, — в Молдавию, Сербию, Грецию, В этом-то и должна была состоять миссия, возложенная на подполковника Каразина. Но для выполнения задачи, столь ответственной и столь трудной, необходимо было прикрытие, личина, которая не вызывала бы ни сомнения, ни подозрений.

Настоятель Киево-Печерской лавры архимандрит Зосима Велькевич не был удивлен визитом генерал-губернатора. Иван Федорович Глебов нередко жаловал его своим обществом, ценя его светлый ум. Сейчас шла война, обстоятельства привели Глебова под эти своды. И от того, о чем пришел он говорить с настоятелем и о чем собирался просить его, было ему неловко. Словно на дурное пришел подбивать старца.

Отец Зосима являл благостность не только по облику и по сану, но и по самой человеческой своей сущности. Хотя то, что предложил ему Глебов, было противоестественно и глубоко чуждо душе, он выслушал пришедшего без гнева и раздражения, только со скорбью. И здесь, в этой обители, мирская тщета и злоба пытаются достать его и втянуть в свои игры.

— Пасторский долг мой, — так ответил он Глебову, — наставлять прихожан и духовенство в деле любви, в деле не лжи и правды. Как же я выйду к ним с алтаря и буду вещать им слово божие, будучи сам во лжи с головы до ног? Коли своею рукой подпишу я эту бумагу, гласящую, что подполковник ваш суть инок и принял чин монашеский, — сие ложь будет. Ложь перед богом и ложь перед людьми. Грешен я словом. Грешен делом. Грешен помыслами. Грешен по неразумению своему и слабости. В здравом же уме и трезвой памяти на грех и на ложь не пойду. Извини, коль огорчил тебя, Иван Федорович. Обрадовать не могу.

Но не напрасно Глебов бывал у архимандрита и не без пользы проводил многие часы в беседах с ним. Знал он, что сказать на это и что возразить ему.

— Непохвальна всякая ложь, владыко. Ведаю. Две лжи есть. Одна себе на корысть. Другая же ложь на

пользу братьям по вере, братьям, что сейчас в турецкой темнице томятся, как некогда апостол Павел в узах. Не учит ли нас Христос отдавать души за братьев наших? Приняв на себя сей грех, мы исполним высокую заповедь любви к ближнему.

Отец настоятель молчал. Он сидел, полузакрыв глаза.

— Смутил ты меня, Иван Федорович. Молитва подскажет мне, как поступить должно. А сейчас оставь меня.

Глебов встал и склонил голову, принимая благословение.

На другой день нарочный из лавры принес губернатору пакет. В нем лежал большой лист — свидетельство монаху Симеону на свободный пропуск его в заграничные монастыри. В тексте, подписанном архимандритом и скрепленным печатью лавры, значилось, что «предваритель сего Словено-сербской нации Далматской уроженец, Венецианской Республики подданный, Симеон Путнин, прибыв в 1765 году по обещанию своему из отечества в нашу Лавру для поклонения св. мощам, приняв в оной по собственному изволению чин монашеской, а ныне возжелал для спасения души своей путешествовать за границу в другие св. места, того ради мы всех христианских земель и областей начальников, духовных и мирских, смиренно молим оному монаху Симеону в пути его чинить свободной пропуск...».

Сборы не заняли много времени, и вскоре Каразин покинул Киев, отправясь в рискованную свою миссию. Бастевик хотел было проводить его до последнего пункта русских войск, но, когда подполковник сказал, что не

стоит брать на себя труд, настаивать не стал. Те часы и дни, которые провели они с Каразиным вместе за сборами и подготовкой, почти не сблизили их. У каждого была своя жизнь и своя судьба, которая сейчас ненадолго свела их вместе, чтобы потом, возможно, они не встретились никогда. Оба они понимали это. Да и сам Бастевик знал: отправляясь на такое дело, последние часы он предпочел бы побыть наедине с собою.

По прошествии дней, необходимых для подтверждения, что Каразин отбыл и передовые турецкие линии благополучно миновал, И. Ф. Глебов отправил императрице рапорт об этом деле, в котором говорилось: «Помянутый подполковник, по исправлении надобной ему одежды и протчего, что до безопаснейшего продолжения его странствования к г. Букурешты принадлежало, 14 числа сего же месяца отсюда в обыкновенном своем одеянии по почте отправился. А у последнего форпоста намерен он командиру оного оставить свое платье и, переодевшись в иноческое, в образе монаха чрез Галицкий уезд пробираться к пустынному монастырю, называемому Великий Скит, который в реченном уезде на самой границе, в горах, против того места, где к Трансильвании Молдавия примкнула. При себе явного имеет: данное ему от архимандрита Киево-Печерской Лавры письменное свидетельство; одну старую псалтырь, в досках которой весьма неприметно скрыта грамота к бану; одну такую деревянную фляшку, в каковых странствующие тамошних краев иноки для утоления в пути жажды обыкновенно воду держат; она сделана двудонная и служит к сохранению посылок; одни четки и один из простого дерева монашеской посох, в коем уместилось по 10 экземпляров манифеста на Греческом, Словено-сербском

и Волоском языках. По прибытии его в сем приборе в помянутый пустынный монастырь выпросить намерен у тамошнего начальника, яко состоявшего под ведомством знаменитого в Молдавии Сочавского монастыря, одного себе спутника для препровождения до оною, откуда он посредством и способствованием архимандрита уповаает безопасно препровожден даже быть до г. Букурешта. Посланной в бытность его здесь, уважая критические обстоятельства и нежность своей комиссии, старался все то, елико до беспечного продолжения его пути и скрyтия своего предприятия касаться могло, наилучше распорядить, избирая ближайшиe способы, каковы только придуманы быть могли, в свою предосторожность; но со всем тем удача в его предприятии кажется подвержена немалой опасности и зависит от жребия, которой со временем откроется».

Жребий, выпавший на долю Каразина, оказался благоприятен. Он благополучно завершил свою миссию, чем нимало содействовал победам российского оружия. Поскольку же путь обратно был особо труден, на время военных действий монах Симеон удалился в русский православный монастырь на горе Афон. Там он и остался, приняв со временем особо строгий постриг. Имя да и звание, что носил он в миру, со временем были забыты.

По обычаю, бывшему на Афоне, после смерти монаха какое-то время спустя череп его доставали из земли и, отмыв, писали на лбу имя и ставили на длинные полки, рядом с множеством других таких же черепов, принадлежавших некогда жившим здесь, при монастыре, монахам. По прошествии лет, в некий весенний день появился там новый череп. Белой краской молодой послушник вывел на нем имя: «Симеон». Надпись

получилась не совсем ровная, но сделать было уже ничего нельзя, и он поставил его на солнце — сушиться.

# **ГЛАВА IV**

## ***Шпионы короля терпят фиаско***

# ГЛАВА IV

*Шпионы короля  
терпят фиаско*



## **ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ И САКСОНИЯ**

В Семилетней войне (1756—1763 гг.) две коалиции противостояли друг другу: Англия, Пруссия и Португалия, с одной стороны, Россия, Австрия, Франция, Испания, Швеция, Саксония — с другой. Для Англии и Франции это была борьба за их заморские владения в Северной Америке и Индии. Россия воевала за безопасность западных своих границ, за расширение политического и военного влияния. Пруссии важно было утвердить свою гегемонию среди других немецких государств. Каждая сторона считала, что имеет достаточно оснований, чтобы бить в барабан и хвататься за оружие.

## **ПОРУЧИК ДАЛЕГОРСКИЙ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ**

Прусский король Фридрих II был больше военным, чем монархом, больше главнокомандующим, чем королем. Историки до сих пор спорят о вкладе, который он внес в военное искусство. Есть, однако, пункт, по которому мнения их сходятся. Это роль, которую сыграл прусский король в истории шпионажа.

Сам Фридрих не делал секрета из этого своего пристрастия. «Маршал де Субиз, — говорил он, — требует, чтобы за ним следовало сто поваров; я же предпочитаю, чтобы передо мной шло сто шпионов». Упоминание о ста шпионах не просто красивая фраза. Цифра эта была не так уж далека от истины. Все годы войны, когда русский корпус находился на территории

Пруссии, Саксонии и других германских княжеств, он был окружен, как облаком мошкары, шпионами прусского короля. Ни в одной из предшествовавших войн русской разведке не приходилось работать с таким напряжением и в таких обстоятельствах.

Поединок этот начался задолго до того дня, когда пушечная пальба возвестила начало военных действий. Каждая сторона заблаговременно старалась разведать о противнике возможно больше. Прусские шпионы, просачиваясь через Курляндию и Польшу, проникали на территорию империи. Русская военная разведка тоже не сидела сложа руки. За семь лет до начала войны Военная коллегия получила агентурным путем добытые данные «о всей прусской военной силе, порядке при баталиях, и о состоянии крепостей и дорог, да оригинальные планы прусских крепостей Стетина, Пилау и Мемеля и карты прусской Литвы и прусским городам, деревням и местам».

Уже накануне войны, видя политический и военный расклад, прусский король задался целью первым нанести удар по русским войскам. Замысел его заключался в том, чтобы, едва разведка донесет, что русская армия пришла в движение, из Пруссии ей будет нанесен внезапный удар. Удар по войскам, находящимся на марше, не развернувшимся для боя, мог оказаться сокрушающим. Как и в других своих планах, главную ставку король делал на разведку. Не исключено, что этот замысел мог бы удалиться. В этом случае ход кампании, исход войны, а возможно, и ее последствия выглядели бы иначе<sup>[3]</sup>.

---

<sup>3</sup> К началу Семилетней войны большая часть территории нынешних Соединенных Штатов являлась французской колонией. Значительная доля переселенцев там были французы и господствующим языком — французский. В результате войны большая часть этих владений перешла к Англии. Соответственно стал меняться и

Однако этого не произошло. Секретное письмо короля, адресованное его генералам, в котором он развивал свой стратегический план, стало известно русской разведке. Замысел начала войны, каким намечал его прусский король, изучался одновременно и в Берлине и в Петербурге. Неизвестно, где изучался он более тщательно.

Когда военная кампания планируется на территории противника, первое, что должна обеспечить разведка, это карты. Еще до начала войны решено было собрать все, что известно о предстоящем театре военных действий «у тех персон из генералитета от офицеров», которые бывали в прусских владениях раньше. Их просили письменно изложить, кто что помнил и знал. Особо же важно было описание селений, рек и дорог; главное — «сколько иные к проходу войск удобны или трудны».

Из описаний этих, написанных по памяти, составлялись первые, приблизительные, чертежи и карты. Но это был только начальный, исходный, шаг. В мае 1756 года граф Алексей Бестужев-Рюмин обратился с особой реляцией к Военной коллегии: «Да благоволит Военная Коллегия,— писал он, — из команды своей нарочно нарядить и отправить надежных и искусных инженерных офицеров несколько человек, которые в Литве и в Польше, а лутче бы еще таких, кои и в Пруссии бывали, и расписав им кому в Курляндии, и кому от Смоленска также и от других пограничных городов ехать

---

состав поселенцев. Если бы этого не произошло, на месте сегодняшних Соединенных Штатов сейчас, возможно, было бы другое государство. Язык большинства его жителей, очевидно, был бы французский. Естественно, сегодня нам трудно представить себе это, как трудно представить себе и возможные последствия этого гипотетического хода событий.

надобно, снабдить их по благоизобретению сходственными с настоящим делом секретными наставлениями, чтоб каждой из них под видом своих нужд и под другим званием, от российской границы чрез Литву и Польшу ближайшим и удобнейшим для проходу войск путем ехал, и следуя до самых прусских владений, лежащие от России ко оным дороги осматривал, оные по местам с показанием удобностей и трудностей для проходу описывал и на карте положил, и, о прусских владениях сколько возможно будет увидеть и сведать, однако не въезжая в оные, описать старался».

Вскоре число русских путешественников, следовавших через земли короля и соседние территории, значительно возросло. Многие ехали как курьеры с письмами к посланникам российского двора, находившимся в Дрездене, Гамбурге, Гданьске и других местах. Маршруты были составлены так, чтобы каждый, из них следовал разным путем. Тем шире оказывался диапазон охвата. Были приняты во внимание и меры предосторожности.

Наставление, которое давалось словесно, было весьма подробным. Офицер, отправляясь на секретную рекогносцировку, должен был возвращаться той же дорогой. Делалось это, чтобы он мог еще раз проверить, правильно ли рассчитал расстояния, верно ли прикинул ширину рек, точно ли записал названия. Технике измерений был посвящен особый раздел наставления:

«Имеv при себе малые компасы, а особливо с солнечными часами, во время следования вашего наиприлежнейше примечать ситуацию мест и способность дороги и где есть и сколь велики реки, луга, болота, леса, горы и протчее и в каком расстоянии место

от места и на каком румбе лежит, а чего собою совершенно приметить невозможно, о том пристойно по довольной уверенности и надежности от тамошних обывателей чрез любопытство выведывать и обо всем иметь обстоятельной секретной журнал. Буде же иногда за чем тот журнал вносить будет нельзя, то твердо в памяти содержать».

«Твердо в памяти содержать», насколько возможно, избегать записей нужно было, чтобы против разведчика не было никаких улик. «Все сие стараться исправлять весьма скрытно, — говорилось в наставлении, — и отнюдь не подавать поводу за шпионов себя признавать и арестовать».

Но если разведчик будет задержан, должно быть ясно, что это лицо, к русской армии никак не причастное. Для этого многим из них давали с собой «апшит», документ об увольнении с военной службы. Формулировка увольнения — «якобы по какому их неудовольствию». Иными словами, по неудовольствию со стороны начальства в адрес бывшего офицера.

Такой документ должен был быть подписан императрицей. Но речь шла о документе заведомо фальшивом, о документе, который должен был лишь вводить противника в заблуждение. Значит, нужно было либо просить ее императорское величество поставить подпись под фальшивыми документами, либо подделать ее подпись. Казалось бы, в последнем не было особого греха — делалось-то государственное дело. Однако в Военной коллегии не нашлось человека, который отважился бы на это — подделать руку императрицы, сфальшивить высочайшую подпись. Совершил такое деяние? Да или нет? Если да — на дыбу, на каторгу, в

Сибирь, а там некому будет доказывать, из каких высоких и государственных соображений сделано было это. Решено было, объяснив суть дела, просить императрицу саму вывести свою подпись на ложных бумагах.

Получив такой «апшит», тщательно изучив наставление, спрятав в двойные карманы малый компас, специально изготовленный ради этого дела, путешественники один за другим отправляются в путь. Многие следуют на воды, другие совершают вояж с женами. Их интересуют достопримечательности, живописные виды. Заметив, что в гостиничном номере муж каждый вечер склоняется над какими-то дорожными записями, жена начинает сердиться:

— Что ты там выводешь какую-то цифирь, милый? Надоело, право.

— Пустяки, любезная, пустяки.

И бумажка, ловко скатанная в трубочку, возвращалась на свое место за шов в подкладке камзола.

— Скоро ли Кенигсберг, друг мой? В дороге так скучно.

— Скоро, любезная, скоро.

От казанского полка на скрытую рекогносцировку был направлен капитан Бурмак, от ростовского — поручик Наумов...

По мере приближения конфликта по дорогам все реже попадались курьеры из России, путешественников становилось все меньше. С началом войны перед русской разведкой встали новые задачи и неожиданные проблемы.

Две кареты двигались навстречу друг другу. Мощный камнем путь был узок, как большинство провинциальных дорог в Саксонии. Кому надлежало свернуть на обочину, уступая дорогу, вопрос этот был весьма непростой. Это могло зависеть от знатности путешественника, от его статуса при дворе и не в последнюю очередь от личных его качеств — меры галантности или же степени наглости.

Так сближались два экипажа, каждый из которых двигался, словно бы не видя другого, так, как если бы другого не существовало. Но рано или поздно один должен был свернуть. Час, когда происходило все это, был утренний, но не очень ранний.

Экипаж, двигавшийся с востока на запад, был запряжен в четверку гнедых. То, как шли они, и сам вид их достаточно говорили о владельце. Под стать гнедым была и лакированная карета желтого дерева. Завершали картину два ливрейных лакея, вытянувшихся на запятках. Коляска, двигавшаяся навстречу, была обычным дорожным экипажем, без лакированных дверей и без лакеев. Тем не менее за ней было преимущество — конный эскорт казаков.

По мере того как экипажи сходились ближе, движение их замедлялось, пока оба не остановились в десятке сажений друг от друга. Капитан-поручик тронул коня шагом, направляясь к карете неучтивца.

Капитан-поручик намерен был с должным политесом, но твердо изъяснить, что в сопровождаемом им экипаже следует императорская почта и что как таковой ей надлежит уступать путь согласно названному высокому званию. Повторяя про себя, как будет звучать это на здешнем, немецком, наречии, он не

успел, однако, приблизиться к карете, когда оконце в ней растворилось, кружевная занавеска откинулась и оттуда выглянуло создание совершенно ангельское. Оно улыбнулось господину офицеру, явив одновременно белокурость, голубоглазость и белозубость.

Капитан-поручик снял в ответ шляпу и поклонился учтиво, сам же рукой дал знак казакам освободить дорогу. Желтая карета проследовала мимо, и господин офицер был вознагражден взглядом, который женщине недорого стоит, а мужчина ценит столь высоко, что способен запомнить его надолго, иногда на всю жизнь.

Но блаженная и чуть глуповатая улыбка не успела еще сползти с лица капитан-поручика, как физиономия его вдруг вытянулась. Он буквально выпучил глаза вслед удалявшейся карете: сзади, на запятках, облаченный в лакейские позументы стоял не кто иной, как поручик Далегорский!

Первым движением капитан-поручика было пришпорить коня и догнать экипаж, чтобы удостовериться, что зрение обмануло его. К счастью, благоразумие взяло верх и спасло его от того, чтобы стать посмешищем в глазах не только знатной дамы, но и своих же людей.

«Далегорский? Что за бред?»

Заняв прежнее свое место во главе движения, капитан-поручик не удержался и оглянулся пару раз вслед удалявшейся карете, что было понято казаками совершенно превратно и вызвало среди них тайное веселье.

Поведать самому Далегорскому об удивительной этой встрече капитан-поручик мог не раньше, чем

доставив почту и возвратившись к себе в роту. До тех пор он обречен был пребывать в состоянии растерянности и недоумения.

Почтовая оказия, которую сопровождал он, представляла собой скорее исключение, нежели правило. Вступая на должность, главнокомандующий подтвердил действие воинского артикля, введенного еще Петром I и запрещавшего всякую переписку из действующей армии. Чем вызвана была эта мера, командующий детально изъяснил в своем приказе. Частные письма, писал он, по недосмотру или небрежности могут содержать важные военные сведения.

В силу этого, а также по причине кишачих повсюду шпионов прусского короля запрещена была всякая корреспонденция из армии. Но категоричность эта неизбежно предусматривала исключения: «Буде же кому востребуется надобность о своих партикулярных нуждах писать, оные могут те свои письма с заплатою почтовых денег в главную квартиру посылать, где определением полевого почтмейстера оные рассматриваемы, и с адресом, куда надлежит, имеют быть отправляемы».

Такие письма, собранные за несколько месяцев и опечатанные полевым почтмейстером лично, и сопровождал сейчас капитан-поручик. Ему предстояло доставить их через всю Саксонию, и Силезию, и польские земли к первой российской заставе. Там письма пойдут уже без охраны по причине отсутствия шпионов и злодейств, которые совершаются здесь на каждом шагу. Именно для охраны, не ради почета нужен был казачий эскорт, что следовал сейчас впереди и позади экипажа.

Желтая карета удалялась между тем все дальше от места нечаянной встречи. Проследовав без остановки

через несколько селений, к вечеру она прибыла наконец в Шнеберг. Когда экипаж остановился во дворе гостиницы, лакеи проворно соскочили с запяток. Один отворил дверцу, другой почтительно помог сойти госпоже на землю. Следом за ней появилась компаньонка, сухощавая дама в лиловом, которую лакей, впрочем, тоже поддержал за локоть, хотя и не столь почтительно. Молоденькой девушке, даже такой взбалмошной и своенравной, как фрау Амалия, путешествовать без компаньонки было в высшей степени неприлично. Да и небезопасно. Для того и существовали компаньонки — обычно дамы одинокие и бедные, но хорошего происхождения. Фрау Элиза, сопровождавшая госпожу, соответствовала всем трем этим требованиям.

Ужин был сервирован в дубовом зале. За высокой спинкой кресла, в котором расположилась молодая госпожа, весь вечер стоял Ганс — так звали лакея, чьим сходством с неким поручиком так поражен был проезжий офицер. Все, что надлежало делать по должности, Ганс совершал ловко и даже с некоторым изяществом, что, впрочем, не имело никакого значения. Молодая госпожа довольна была новым лакеем. Новым же он был по той причине, что наняла она его всего несколько дней назад. Помог в этом очаровательный русский, который должен был выдать ей пропуск для следования через линии войск и пикеты. Хотя ясно было, что никто не вздумал бы чинить путешественнице препятствий и пропуск был сущая формальность, сведущие люди посоветовали ей все-таки обзавестись им. Как-никак шла война. Услышав о намерении госпожи держать путь в сторону, где расположены противные войска, и узнав, что делает она это только, чтобы встретиться там с любимым братом,

который состоит при тех войсках в драгунах, русский был необычайно тронут.

— Уж эта война! Брат и сестра оказываются разлучены!

Узнав же, что из мужской прислуги ее сопровождает всего один лакей, старый Фриц, русский обнаружил еще большее участие.

— Поймите меня, — он даже приложил к груди руку. — Я не хочу вас пугать. Но казаки... Поверите ли, они даже своим командирам не повинуются. Мне просто страшно за вас...

Фрау Амалия побледнела от ужаса. Она всегда боялась этих страшных бородатых людей в лохматых меховых шапках. Добрый русский пожалел ее.

— Мне вчера только рекомендовали одного молодого человека в услужение. Посмотрите, может, он подойдет вам. У меня были на него свои виды, но готов уступить его вам ввиду крайности ваших обстоятельств...

Молодая госпожа была так признательна, что запомнила даже, как зовут этого господина, — Веселицкий. А еще говорят, что у русских такие трудные имена!

Когда идет война, люди путешествуют неохотно и мало. Кроме молодой госпожи и фрау Элизы, к ужину спустились лишь несколько человек: двое торговых людей из Магдебурга, чахоточный студент с румянцем на впалых щеках и военные — хмурый кавалерист с рукой на черной перевязи и штабной майор при аксельбантах и с моноклем на синем шнурке, цвета его мундира.

Магдебургские торговцы сдержанно поздоровались и сочли, что воздали тем долг общительности. В течение всего ужина они не взглянули больше ни на кого и не сказали никому ни слова, переговариваясь вполголоса между собой по одним им лишь ведомым торговым делам. Кавалерист все внимание сосредоточил на тарелке, на которую смотрел с такой мрачностью, будто там находился виновник всех его несчастий, из которых раненая рука была наименьшим. Интерес к дамам и галантность проявили только офицер со студентом.

Услышав, что молодая госпожа отважилась на столь опасное путешествие с единственной целью — повидаться с братом, студент пришел в совершенный восторг. Он привел даже какой-то пример из греческой мифологии и прочел латинский стих, которого никто не понял, но который, к счастью, оказался недлинен. Румянец на его щеках разгорелся еще больше.

Дав ему от декламировать, майор в наступившей паузе осведомился учтиво, в каких частях изволит служить брат молодой госпожи, а узнав, что в драгунских, стал высказывать соображения, где надлежит ей искать его.

Главная квартира расположена сейчас в Цвиккау, там же расквартированы и многие части. Драгуны же стоят неподалеку, в трех местах. Полковник фон Винцель со своими молодцами...

К сожалению, госпожа не знала, у кого служит ее брат. «Уж эти женщины!» — привычно удивился майор.

— Тогда придется побывать во всех трех местах, — терпеливо пояснил он. — Кроме того, два эскадрона

драгун состоят при главной квартире. Может, лучше с них и начать...

Это интересовало госпожу значительно больше, чем латинские стихи и греческие. Почувствовав себя ненужным, молодой человек впал в уныние и меланхолию.

— Крайне сожалею, — продолжал майор. В монокле его подрагивал и играл отблеск свечей. — Крайне сожалею, что не могу предложить свои услуги сопровождать прекрасную госпожу в столь трогательном ее путешествии. Счел бы для себя величайшей честью. К сожалению, дела войны вынуждают ехать в противоположную сторону, к Мариенбергу и далее. В этом направлении ожидается передвижение главных сил. Если б не служба, с величайшей бы радостью...

Госпожа Амалия сделала легкое движение рукой и, не глядя, приняла от Ганса подогретую салфетку.

— Ценю ваше участие, господин майор. Но теперь я под защитой армии его величества, мне ничто не грозит, А что было, когда я ехала сюда! На дороге нам повстречалась целая банда казаков! Целая банда! Они окружили карету. Они хотели разорвать нас в куски!

— И разорвали бы! — подхватила фрау Элиза.

— Несомненно, — сверкнул моноклем майор. — Это сущие бестии.

— У них такие шапки! Какие физиономии! Не знаю, как я не умерла от страха! — Сейчас, когда все затаив дыхание слушали ее, она и сама верила в каждое свое слово. — Но они не посмели! Нет. Не посмели!

— Не посмели! — снова подхватила фрау Элиза.

На секунду фрау Амалия вроде бы сбилась, потому что потеряла нить — почему казаки не разорвали их, почему они не позволили себе такой маленькой радости. Но тут господин майор любезно пришел ей на помощь.

— Они не посмели потому, что знали — армия его величества не простит им!

— Совершенно верно! — обрадовалась Амалия. — Именно это я и хотела сказать. Они испугались, что армия его величества не простит им. И поэтому обратились в бегство. Все до одного. Они были такие смешные, когда скакали от нас что есть мочи!

— Один даже упал! — подсказала фрау Элиза.

— Да, — согласилась Амалия. — И не один.

Никто не смотрел на студента. И никто не видел его лица. Но если бы кто-нибудь взглянул на него в ту минуту, он увидел бы человека, который познал, в чем могло бы быть высшее его счастье: оказаться там, на дороге, и умереть со шпагой в руке, защищая фрау Амалию.

На следующий день поутру, когда только закладывали экипаж, компаньонка поведала ей дурную весть. Свистящим шепотом она сообщила, что новый лакей оказался отъявленный плут и мошенник. Оказывается, он картежник. Слуги донесли ей, что вчера, когда господа легли спать, он играл в карты со старым и добрым Фрицем. И даже проигрался ему. Этот злодей проиграл старому и доброму Фрицу вперед все свое месячное жалованье. Глаза фрау Элизы были круглые от ужаса, светился же в них отнюдь не ужас, а торжество. Это была бескорыстная радость человека, который узнал о другом дурное.

Но госпожа оказалась слишком снисходительна. Ах, у нее такое доброе сердце! Она только отчитала Ганса и сказала, что, если еще раз услышит о его скверных привычках, сразу же рассчитает. Ганс просил прощения и плакал. В конце концов госпожа простила его. Фрау Элиза вздыхала. Госпожа вечно портит прислугу своей добротой.

Через пару дней гнедые стучали подковами по мостовой Цвиккау. Городок кишел военными. Прохожие в цивильном платье буквально терялись среди треуголок, напудренных кос и мундиров.

После поисков, расспросов, поездок в близлежащие деревни, где, расположившись бивуаком, стояли войска, желтая карета в конце концов добралась до полка, в котором служил брат молодой госпожи. По печальному стечению обстоятельств, однако, его не оказалось в части. Он должен был вернуться лишь через несколько дней. Правда, офицеры полка и сам господин полковник, осатаневшие от армейской скуки, постарались скрасить столь милой гостье ее ожидание. Среди всех этих любезностей и забав, на которые фрау Элиза непременно сопровождала госпожу, компаньонка не сразу заметила, что Ганс вроде бы отлучился куда-то. Она не стала говорить об этом госпоже, ей хотелось, чтобы негодный поотсутствовал дольше, дабы тем очевиднее была его порочность и дурной нрав. Сначала она беспокоилась, чтобы лакей не вернулся слишком скоро, тогда в этом не было бы столь явного проступка. Потом, когда времени прошло достаточно, она стала нетерпеливо поглядывать за порог, предвкушая, как поведает госпоже об этом бездельнике. Поскольку же Ганс все не появлялся, она забеспокоилась, уж не обворовал ли их этот негодяй. Но все оказалось на месте, даже его сундучок и вещи в нем,

в этом она потрудились убедиться сама. Это было еще более пугающе и тревожно. Когда же госпожа наконец сама потребовала Ганса к себе по какому-то делу, фрау Элиза вынуждена была признаться, что не видит его уже второй день. Почему же она молчала?! Как смела она покрывать негодяя?! Досада и гнев, которые, Элиза надеялась, накопятся у госпожи на Ганса, в полной мере достались ей самой. Так зло получило свое воздаяние. Правда, фрау Элиза надеялась утешить свою обиду, когда Ганс объявится, вернувшись с загула. Но Ганс так и не объявился. Возможно ли большее свидетельство человеческой неблагодарности?

...Отчет, который поручик Далегорский составил по возвращении, был отправлен главнокомандующему с курьером.

— Ваше превосходительство! — Далегорский встал и машинально занес было руку назад, чтобы одернуть фалды ливреи. — Как вы полагаете, отдаст госпожа Фрицу мое жалованье, что я проиграл? Очень не хотелось бы мне в должниках оставаться. Карточный долг все-таки!

Веселицкий рассмеялся. Он любил шутку.

— Уж не послать ли мне вас, поручик, еще раз? Чтобы проверить. На сей раз уже в собственном мундире.

Они представили себе, как вытянулись бы лица у госпожи Амалии, а главное, у фрау Элизы и других, кто видел там Ганса в ливрее, и засмеялись.

Далегорский вернулся в полк, опередив капитан-поручика на несколько дней. Рассказ его о желтой карете и странном сходстве Далегорский встретил скептически.

— Не может такого случиться, — пожал он плечами. — Конечно, разные люди есть. Но чтобы уж так, совсем моя копия — такого не бывает!

Далегорский был далеко не единственным, кто по заданию секретной службы вынужден был сменить на время свой мундир на другую одежду или даже ливрею. Один из рапортов главнокомандующему сообщал, например, об офицере, который «через всю Пруссию проехал до Данцига, будучи в службе лакеем у одной женщины, и, что он объявил, то ни мало ни сходно с разглашениями, что прежде были...».

Метод, единожды примененный, если он оказывался успешен, неизбежно становится общим. Противная сторона тоже прибегала к этому способу, правда, модифицируя его на свой манер. Там, где должно было проявить гибкость, применялась сила, где предпочтительнее был ум, в ход пускалась жестокость. Вот как писал об этом сам Фридрих II, командующий прусской армией и «король шпионов»: «Когда нет никакой возможности добыть сведения о неприятеле в его же крае, остается еще одно средство, хотя оно и жестоко: надо схватить какого-нибудь мещанина, имеющего жену, детей и дом: к нему приставляют смышленного человека, переодетого слугой (обязательно знающего местный язык). Мещанин должен взять его в качестве кучера и отправиться в неприятельский лагерь под предлогом принесения жалоб на притеснения с вашей стороны. Вы предупреждаете его, что если он не вернется со своим провожатым, побывавшим у неприятеля, то вы задушите его жену и детей, разграбите и сожжете его дом. Я должен был прибегнуть

к этому средству, когда мы находились под Хлузитцем, и оно мне удалось».

В самый разгар военных действий русские разведчики находили способы проникать в тылы и само расположение прусских войск. Такой рейс совершил, например, капитан Василевский, которому специально для этого случая был изготовлен литовский военный мундир. Военно-стратегическая информация, которую собрал он, была настолько важна, что копия его рапорта была направлена самой императрице.

По мере того как усложнялась война, сложнее становились и задачи, которые приходилось решать разведке. Сведения о том, сколько у противника пушек и где расположены его части, были по-прежнему важны. Но этого становилось недостаточно. Русская секретная служба начинает задаваться уже не только ближайшими тактическими задачами, но ставит перед собой стратегические проблемы — каков военный потенциал противника, политическая обстановка, настроение народа?

Для того чтобы составить такую обобщенную картину, недостаточно уже наблюдений одного разведчика или собранных им сведений. По ниточке, по крупице собиралась такая информация, стекаясь к начальнику тайной канцелярии главнокомандующего, надворному советнику П. П. Веселицкому.

Конный племенной завод занимал в военном потенциале Пруссии такое же место, как сегодня, скажем, танковый завод или завод по производству моторов. Обе стороны понимали это значение. С такой же настойчивостью, с которой русские стремились захватить завод прусского короля, с такой же

настойчивостью противник делал все, чтобы завод не достался русским, старался скрыть от глаз русской секретной службы.

Когда летучий отряд драгун, двигавшийся в авангарде казанского полка, достиг местечка, где был расположен королевский конный завод, он застал там лишь остывшие, пустые стойла. Все восемьдесят жеребцов и стадо кобыл были срочно переведены в другое место. Куда?

Постепенно, по обрывочным данным, по сообщениям конфиденентов, удалось установить — в Померанию. Но провинция велика. Запад Померании? Юг? Наконец величайшими стараниями через верных людей тайная канцелярия установила — конный завод переведен в Штеттин, где содержится сугубо тайно.

Столь же кропотливые усилия потребовались и в другом деле — выяснить политические настроения подданных прусского короля. Заключение, которое явилось результатом этого, было нелицеприятно и объективно. Несмотря на непрерывные войны, которые вел король, несмотря на огромные поборы, которыми беспощадно была обложена «вся здешняя земля и всякого чина люди», король оставался весьма популярен. Как говорилось в докладе, составленном секретной службой, «сие неоспоримая правда, что он у каждого чина звания и возраста так много любим, что каждый на него поднесь всю свою надежду полагает». Заключение это было составлено отнюдь не на основании поверхностных наблюдений: как отмечалось там же, местные жители «как доброжелательство свое к королю Прусскому, так и к нам свое неблаговоление, всеми

образы хотят прикрывать и стараются, но оныя легко через тучу их притворства видимыми оказываются».

Истории секретной службы хорошо известны случаи, когда доклады и данные составлялись таким образом, чтобы сделать приятное, польстить носителю верховной власти, кто бы им ни был — император, президент, диктатор. Здесь мы видим нечто прямо противоположное — желание сказать правду, сколь бы ни была она неприятна тем, кто будет читать ее.

Но если прусские подданные и любили своего короля, у других, у поляков например, не было особых причин для этого. Куда больше поводов имели они опасаться и ненавидеть своего воинственного соседа. Огромная армия была им создана не для парадов. Молодые люди были облачены в мундиры не только для того, чтобы красиво маршировать под барабанный бой. Если бы русский корпус не пришел во владения прусского короля, батальоны Фридриха давно уже печатали бы шаг по улицам польских городов. Многие поляки понимали это. Поэтому столь велика была их доля среди конфиденентов, помогавших русским. Немалое число среди них носило духовное звание и было облачено в сутаны.

Таков был, например, аббат Лок, настоятель небольшого монастыря на границе с Померанией. Через своих людей ему удалось построить целую разведывательную сеть во владениях короля. Не выходя за пределы монастырских стен, аббат знал, что происходит за сотни верст от него. Он сообщал Веселицкому о слабости прусских гарнизонов в провинции Бранденбург и в Западной Померании и об усиленном укреплении Штеттина. Он сообщал о

передвижении прусских войск, перечисляя численность полков и даже имена их командиров.

Те, кто занимался сбором этих сведений, в буквальном смысле клали головы на плаху: прусский король слишком хорошо знал, что значит разведка, и разведчиков противника не щадил. «Из Штеттина, — писал аббат Веселицкому, — водою сплавляют в Ландсберг: сено, солому, провиант, амуницию и пушки. Пушек на берег выгружено 280, но пороху и пуль не столько привезено, сколько к ним надобно».

За этими строками стоит ситуация: тяжелые баржи и два-три парусных корабля, причаленные к пологому берегу. Упряжки лошадей, десятки матросов, солдат, рабочих суетятся на берегу и у схода. Команды, которые, покрывая шум, выкрикивает фельдфебель. И команды, которые вполголоса отдает офицер, отвечающий за разгрузку, и исполнять которые его люди бросаются бегом. Офицер, как и положено ему, в треуголке и при шпаге. А где-то в стороне, на пригорке, сидит человек. Возможно, послушник или монах. Можно подумать, что он занят размышлениями или молитвой. В руках у него четки, и время от времени он передвигает костяшки слева направо. Кому придет в голову, что глазами, которыми смотрит он на происходящее, эту сцену видит сейчас русская тайная канцелярия, надворный советник Веселицкий?

Когда по прибытии прусского корпуса в польское местечко бургомистру было поручено предоставить подводы для нужд армии, он не возражал. Он сказал только, что для этого ему необходимо осмотреть прусский лагерь, чтобы знать, что за припасы надо везти, сколько их. Обходя лагерь, бургомистр старается

заметить все — число палаток и по сколько человек размещается в каждой, какие при корпусе орудия и сколько их. «Я в сем лагере, — пишет он рапорт Веселицкому, чтобы той же ночью отправить его, — 50 орудиев счел, под которыя от 8, 10 и до 19 лошадей запрягают. Сей корпус во вторник, во втором часу по полуночи, разделясь на две половины, в поход выступил».

Конфидентам, находившимся на территории короля, опасно было подписывать донесения своим именем. Мало ли что может случиться. Поэтому многие из них имели свой знак или букву. Таким был, например, один из самых верных конфидентов, иезуит Броун, подписывавший свои послания буквой F.

## **ПРУССКИЙ ШПИОН С АНГЛИЙСКИМ ПАСПОРТОМ**

Донесение, поступившее на имя главнокомандующего, сообщало об очередном лазутчике, засылаемом в русскую армию: «Он среднего роста, лицо продолговатое, темноватое, глаза черные, волосы черные, небольшая борода, носит камзол (поддевку) коричневого барокана и вокруг туловища ремень из скверной кожи». Сообщение это доставлено было «с той стороны». Лазутчик был еще в пути, а русская секретная служба готовилась уже к его встрече.

Оттуда, с территории врага, из других стран в тайную экспедицию донесения шли беспрестанно. Компания английских купцов с товарами из Лондона и Глазго должна проследовать через Польшу и Курляндию в пределы империи. Казалось бы, к чему русскому главнокомандующему С. Ф. Апраксину знать об этом?

Причина тому, однако, имелась: это были не купцы, под видом английских купцов в Россию следовали лазутчики прусского короля. Предписание, направленное на его, главнокомандующего, имя, гласило: «Мы не сомневаемся, что вы о примечании за ними и о том старание приложите, дабы их весьма схватить...»

Письмо русского посла при саксонском дворе предупреждало главнокомандующего о прусских шпионах, «которых, слышно, в Курляндии, да около Ковно есть немалое число». В этом сообщении не было ничего нового. Новым же было нечто другое — упоминание о некоем капитане Ламберте, который «объявляет себя английским офицером, но прямо главным есть шпионом на Российской границе».

Сообщение это надобно было проверить. Вскоре тайная канцелярия получила сведения, что такая персона с английским паспортом в Риге действительно объявилась. По паспорту Ламберт значился вояжером, то есть как бы путешествующим. Выбор Риги был не случаен — там стоял лагерем большой контингент русских войск. Надлежало решить, что делать со шпионом. Арестовать его, выслать или даже судить — это было бы всего проще. Но самое простое решение не обязательно бывает самым лучшим. Веселицкий предпочел другой путь.

Капитан Ламберт давно знал о простодушии русских. Теперь он имел случай еще раз убедиться в этом. В одной из рижских кофеен, куда (капитан разведкал это заранее) ходили русские офицеры, он завязал беседу, а потом и знакомство с двумя милейшими молодыми людьми — прапорщиками. Они уговорились встретиться и встречались еще пару раз в разных

питейных заведениях и ресторанах, и прапорщики не возражали или возражали очень вяло, когда он вынимал кошелек, чтобы заплатить за всех. Ламберта не волновали расходы, которые, несколько приукрасив, он приложит к отчету. Тем более что в обмен на выпивку, к которой оба русских имели большую склонность, они рассказали ему много интересного о своей службе. Он и не представлял себе, что в армии такое возможно! Солдаты были совершенно необученны, офицеры не имели понятия о простейших военных артиклях. Что же касается генералов, то они поголовно были либо тупицы, либо невежды. В частях не хватало солдат, не было достаточно ружей, если же ружья были, то к ним не хватало пороха или пуль.

Ламберт очень осторожно намекнул, что ему любопытно было бы побывать если не в самом лагере, то хотя бы вблизи, чтобы посмотреть на учение. Прапорщики в один голос стали говорить, что дело это совершенно невозможное. Тогда Ламберт дал им понять, тоже весьма деликатно, что если это связано с некоторыми расходами, то он охотно возьмет их на себя.

— Я понимаю вас, господа. Конечно, могут быть неприятности. Но любопытство, увы, мой порок. Покойная мамаша всегда говорила мне: «Фреди, любопытство тебя погубит». Поверьте, я и путешествую только из любопытства! Повидать разные места, людей! Но за порок ведь надо платить. Я, господа, понимаю. Я понимаю!

Они отказывались от денег. Потом обижались, Но золотые, которые он сунул им в руки как бы шутя, как бы между делом, все-таки оставили у себя.

— Можно попробовать, — сказал наконец один, еще конфузясь.

— Можно, — согласился второй весьма неохотно.

Почти через сто лет, когда давно не было уже в живых никого из участников тех событий, была опубликована переписка английского посла в Петербурге Уильяма и его коллеги в Берлине — Митчела. Надо думать, в свое время русская разведка ничего не пожалела бы, чтобы получить доступ к этим письмам. Из переписки послов явствовало, что по заданию прусской секретной службы Ламберт бывал уже в России и даже в Петербурге. На сей раз прусский генерал-фельдмаршал Ловальд и король, направляя его в Ригу, хотели было, чтобы капитан отправился туда с паспортом английского курьера. Но Митчел был категорически против этого. Как мотивировал он свое несогласие? «Такая варварская нация, как Россия, — писал английский посол» — способна будет на всякие крайности из-за подобного нарушения международного права». Иными словами, русские — «варварская нация», потому что не терпят нарушения международного права.

По прошествии нескольких дней один из прапорщиков заглянул к Ламберту в гостиницу и сказал, что завтра учение кавалерийского полка. Если господин не раздумал, пусть будет готов утром, едва рассветет.

Нетерпение капитана было так велико, что он готов был вообще не ложиться.

Поутру действительно, едва рассвело, он застал обоих русских своих приятелей у дверей гостиницы в экипаже. Оставив извозчика на дороге и велел ему дожидаться, они долго вели его через какие-то кусты и перелески. Время от времени все трое останавливались,

прислушивались и оглядывались по сторонам. С холма, куда добрались они наконец, открывался вид на широкую равнину. Утренняя роса не высохла еще и сверкала среди травы.

Едва Ламберт простился со своими провожатыми и расположился на месте, как невдалеке послышался звук рожка и застучали барабаны: полк шел на учение. Правда, когда он прибыл на равнину, Ламберт убедился, что слово «полк» было явным преувеличением. Видно, у русских действительно не хватало солдат и в армии был явный «некомплект».

Завершив свой «вояж» и вернувшись в Пруссию, капитан подробно доложил королю о состоянии русской армии. Фридрих услышал именно то, что он хотел бы услышать. «Русских нечего опасаться, — писал он потом в одном из своих писем, — так как у них мало хороших генералов и войска их никуда не годны».

Английский посол в Петербурге, прочтя доклад Ламберта, в своем сообщении в Лондон вторил словам короля: «Во всем русском войске нет десятка хороших офицеров».

В докладе капитана нашлось место и для описания полкового «учения», свидетелем которого он действительно был. «При этом, — писал он, — производилась стрельба целыми шеренгами, но так беспорядочно, что ее нельзя назвать и стрельбой. Весь полк съехался в кучу, многие лошади споткнулись и всадники с них попадали».

Люди Веселицкого, те, кто готовил для него этот спектакль, сделали все, чтобы дезинформировать врага не только о состоянии русской армии, но и о ее тактике. Дело в том, что в то время о стрельбе с коня в русской

кавалерии не было и речи. Об этом свидетельствуют уставы тех лет, принятые в русской армии. Об этом же писал и противник, немецкие военные, участники Семилетней войны: русские кавалеристы никогда не стреляли с седла, атаковали они только холодным оружием.

Коль скоро Ламберт сообщил королю именно то, что тот хотел услышать, король счел миссию английского капитана весьма удачной. Почему бы этой поездке иметь не только военный, но и политический эффект? И король постарался, чтобы наблюдения капитана о русской армии стали достоянием не только его самого, но и генералов. В Европе должны знать, сколь жалкий сброд представляет собой русская армия, как беспомощны ее солдаты и бездарны генералы. Ламберт был послан в Ригу в конце августа 1756 года. А уже в ноябре в Бранденбурге было опубликовано его «Письмо вояжера из Риги». Говоря сегодняшним языком, издание шло «молнией».

Те, кто не знал русской армии, злорадно хихикали, читая «Письмо вояжера». Знающие пожимали плечами. В России возмущались. Вице-канцлер граф М. Л. Воронцов писал главнокомандующему: «Все сие письмо наполнено злостными ругательствами и поношением армии и генералитета». Он требовал, он настаивал, чтобы была установлена личность «этого еспiona». Это было в строках. Между строк же был явный выговор, что армия допустила, чтобы рядом с ней находился кто-то, собиравший о ней столь клеветнические и дикие вымыслы.

Дезинформация, подброшенная Ламберту, предназначалась только прусскому королю и его штабу.

Мог ли предположить Веселицкий, и кто вообще мог предположить, что печатные станки Бранденбурга разнесут этот пасквиль по всей Европе? На какое-то время престижу России был действительно нанесен некий ущерб.

Не прошло, однако, и года, как прусский корпус генерал-фельдмаршала Левальда был наголову разбит русскими при Гросс-Егерсдорфе. Вспомнили ли тогда король и его генерал-фельдмаршал недавний отчет своего шпиона о русской армии?

Недооценка противника — кратчайший путь к поражению. Умело поданная дезинформация толкнула прусскую армию именно на этот губительный путь. Недооценка силы русских предрешила в значительной мере и последующие поражения прусских войск — при Пальциге и Кунерсдорфе, предрешила взятие русскими Кольберга и Берлина.

В операции с Ламбертом русская секретная служба как бы подкинула противнику фальшивую карту, и тот принял ее. Но когда Веселицкий вел эту игру, догадывался ли он, что противной стороне одновременно досталась и другая карта, из числа козырных? Это была карта весьма высокого ранга, в звании генерал-майора и в должности командующего кавалерией русской армии.

В то время многие иностранцы считали за честь для себя и за удачу служить под русскими знаменами. Некоторые из них достигли больших должностей и высоких званий. Одним из таких офицеров, носивших генерал-майорский мундир, был саксонский подданный граф Тотлебен.

В том, что, будучи саксонцем, он воевал против прусского короля, не было ничего ни странного, ни

ззорного по понятням тех времен. Пруссия и Саксония были разными государствами. К тому же тогда принималось в расчет не то, в чьем княжестве родился человек, а то, кому он служит, какому императору или королю принес он клятву верности.

Начало всему, как часто это бывает, положил незначительный повод, пустяк, письмо «с той стороны», от давнего его приятеля принца Генриха. Принц просил графа о любезности — при вступлении его войск в Силезию не разорять этого края. Тотлебен ответил резонно, что, если русским войскам будет оставлен потребный провиант и фураж, «ни о каких продерзостях слышно не будет, ибо о том весьма строгие приказы».

Переписка эта, производимая секретно, и положила начало тайным сношениям Тотлебена сначала с принцем Генрихом, а затем и с самим королем. Что писал графу Тотлебену прусский король, осталось неизвестным, все письма его по прочтении граф тотчас же «драл». То же, что отвечал Тотлебен, было известно только самому королю. Тем более что графу вскоре был передан шифр, специально созданный для этой переписки.

Тайные сношения Тотлебена с прусским королем продолжались несколько лет. Когда связник прибыл в очередной раз, граф не заставил его ждать долго. Получив пакет, который, как всегда, был без подписи и без адреса, связник сунул его поглубже в сапог и отправился было в обратный путь. Не проехал он и версты, как увидел у мостика несколько человек военных верхом. Они словно ждали кого-то. Военные даже не смотрели в его сторону, но почему-то ему очень не захотелось ехать к ним. Захотелось вдруг вообще съехать с дороги или повернуть обратно. Но он не сделал этого.

Когда же поравнялся с ними, двое выхватили вдруг шашки и преградили ему путь.

Пойманный с поличным, связной признался во всем. Он признал, что пакет, что был найден при нем, он «получил от графа Тотлебена, чтоб отдать коменданту, или принцу Генриху, или самому королю прусскому». Признался он и в том, что это не первая из подобных его поездок: «Послан был с запечатанными конвертами, а что в них написано — сего не знал». В пакете оказалась копия приказа генерал-фельдмаршала и маршрут движения русских войск. Разыскано было, кто писал копию — мальчик, состоявший в услужении при графе. На допросе он показал: «Приказал ему граф Тотлебен ордер генерал-фельдмаршала списать. Как он оный списал и ему отдал, сказал он ему, что «изрядно», и вверху и внизу подписал своею рукою».

Могут ли быть свидетельства шпионажа более полны, а доказательства вины более неопровержимы?

Убедившись в измене своего командира, старшие офицеры арестовали его. Прусский шпион, граф Тотлебен был предан военно-полевому суду.

На этом, однако, объяснимая, рациональная часть этой истории кончается. Начинается нечто иное, что трудно назвать объяснимым или рациональным.

По приговору суда бывший командующий русской конницей, генерал-майор граф Тотлебен по лишении всех чинов и отличий был... расстрелян? Нет. Заточен в казематы? Ниоим образом. Сослан в Сибирь? Ничего подобного. Граф был просто-напросто выслан из России. Не правда ли, странный приговор для шпиона, такого ранга тем более?

Но странность его судьбы на этом не кончается. Через несколько лет мы видим Тотлебена снова в русской армии. На этот раз на Кавказе. Вскоре за храбрость он удостоивается «всемилодивейшего прощения императрицы», ему возвращаются все награды, звания и чины. Карьера, что и говорить, не очень характерная для предателя и шпиона.

Но был ли граф вообще шпионом?

Кроме этой версии, не очень убедительной, возможна и другая. Вот что писал, какие показания дал о себе Тотлебен в день своего ареста. По его словам, он вел эту острую игру на свой страх и риск. Ради того, чтобы «сего опасного неприятеля обнадежить и тем пользоваться, чтобы через то ему знатнейший и решительный удар причинить». Какой же удар, какой ход замышлял он? План графа заключался в том, чтобы, расположив к себе прусского короля, договориться с ним о личной встрече, с тем чтобы захватить его, решив тем исход всей кампании. Как передавал ему связник, Фридрих проявил готовность к такой встрече. «Король, — писал Тотлебен, — весьма склонен со мною видеться, когда впредь армии сблизятся, то король к тому случай подаст».

Само собой, чтобы этот план состоялся, граф должен был убедить короля в своей преданности. С этой целью он вынужден был «в маловажных делах его любопытству удовольствие делать». «Все, что я ему в притворной конфиденции сообщил, заявил он в показаниях, — касалось до таких дел, кои или совсем индифферентны были, или уже прежде учинились, чем я его о том уведомил».

И действительно, приказ главнокомандующего, найденный у связного, был передан ему только тогда, когда Тотлебен он был уже выполнен. Маршрут движения частей, который находился в пакете, был также лишен военного смысла — к тому времени, когда текст его мог бы оказаться у короля, войска должны были уже завершить свой маневр.

Задумав это предприятие на собственный страх и риск, Тотлебен имели в виду не делиться ни с кем своей заслугой пленением прусского короля. Он один совершил бы это, ему одному и слава. Славой же граф не любил делиться ни с кем. Когда взят был Берлин, он, не подав даже рапорта главнокомандующему, от собственного имени издал реляцию, в которой приписал себе всю славу и все заслуги.

Такова вторая возможная версия. Не исключено, что тщеславие и погубило замысел графа. В свое время, получив шифры от короля, он не стал скрывать этого, как поступил бы на его месте настоящий шпион. Вместо этого он показал их своему подчиненному, подполковнику Ашу, хвастаясь, вот, мол, тайные шифры из королевского кабинета! Случай этот и дал толчок подозрениям Аша. Он же выследил потом связника и организовал арест своего командира.

Не исключен еще один вариант. Вся операция по пленению прусского короля могла вестись под негласной эгидой Веселицкого. Иначе как мог бы граф, находясь уже под арестом, в письме главнокомандующему утверждать, что контакты и переписку с королем он «учинил по подтвердительным, точным приказам вашего сиятельства»? В письме этом, а затем и на допросе он

заявил, что о некоторых вещах он может сообщить только главнокомандующему и только устно.

Но даже если всем действительно дирижировала секретная служба, арест Тотлебена получил слишком широкую огласку, чтобы событие это можно было как-то скрыть или замять. Остальное известно. Принятому вновь на русскую службу, Тотлебену возвращаются все его чины и награды. Дети его и внуки продолжали служить на русской военной службе в высоких чинах и званиях.

Странно и то, что авторитетные справочные издания последующих лет не выставляют Тотлебена ни как шпиона, ни как предателя. Известный Военный энциклопедический лексикон (Спб., 1857, т. 12), сообщая о заслугах и наградах графа, упоминает, что в 1763 году он был предан суду «по политическим причинам». Формулировка, не имеющая ничего общего с обвинениями, которые были выставлены против него в свое время.

Не исключено, что с именем Тотлебена была связана одна из самых сложных и законспирированных акций русской секретной службы. Акция эта была сорвана из-за случайности. Может быть, подполковник Аш, усердный не по уму, встрял в игру не ко времени и спутал все карты.

# **ГЛАВА V**

## ***Тайная война Наполеона Бонапарта***

ГЛАВА V  
*Тайная война  
Наполеона Бонапарта*



Конец XVIII — начало XIX века. За два десятилетия во Франции сменилось несколько политических режимов: монархия во главе с Людовиком XVI и конвент, директория, консульство и, наконец, империя Наполеона Бонапарта. Вслед за политическими перепадами претерпевали изменения и русско-французские отношения. Но одна сторона этих отношений оставалась неизменной — сфера, в которой протекала деятельность секретных служб. В чьих бы руках ни находился государственный штурвал Франции, задача секретной службы в отношении России оставалась неизменной: сбор сведений о стране и попытки воздействовать на ее политику.

Эти усилия достигли своего максимума, когда Наполеон стал императором. Понятно, русская секретная служба не могла быть и не была безответна. В Отечественной войне 1812 года переход русской разведки в наступление явился предвестником и залогом перехода в наступление всей русской армии.

## **ОПАСНЫЕ ИГРЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА**

Багаж французского посла Шетарди, вернувшегося, в Петербург из Парижа в 1744 году, не подлежал досмотру. Но даже если бы русские и вздумали сделать это, среди его бумаг, книг и вещей тщетно бы искали они тайную инструкцию, полученную послом от короля перед самым его отъездом. Инструкция эта была столь важна и секретна, что не могла быть доверена бумаге.

Пользуясь любыми средствами — интригой, подкупом, шантажом, послу надлежало склонить русское правительство к войне против Австрии на стороне французского короля. Для Франции это было столь же важно, сколь для России ненужно и даже вредно. Тем сложное представлялась задача, стоявшая перед послом. Но Людовик знал человека, которого посылал в Россию. Чтобы французских солдат было убито на несколько тысяч меньше, их место должно быть занято русскими; русская кровь должна пролиться вместо французской.

Между послом и русской армией, которой предстояло выступить в поход против Австрии, стоял человек, который не хотел, чтобы это произошло. И от воли и позиции этого человека зависело все. Человеком этим был канцлер Бестужев<sup>[4]</sup>. Пока императрица Елизавета Петровна прислушивается к его мнению, единственное, что оставалось Шетарди, это участвовать в придворных увеселениях и говорить комплименты дамам. И к тому и к другому посол имел должную склонность, но ради этого ему не стоило приезжать в Россию.

Шетарди должен был убрать русского канцлера.

Посол не был новичок в петербургских придворных интригах и политических переворотах. Когда три года назад императрица взшла на престол усердием гвардейских офицеров, французский посол оказался не только посвящен в заговор, но был одним из его участников. И сегодня не аргументы и не слова, которые произносил Шетарди перед императрицей и ближайшими

---

<sup>4</sup> *Бестужев-Рюмин* Алексей Павлович (1693—1766) — русский государственный деятель и дипломат. Политическая его программа состояла в укреплении союза с Англией, Голландией и Австрией против Франции.

се людьми, могли быть тем оружием, которое вело бы его к цели. Слова оставались словами, хотя посол не пренебрегал и этим средством. Но ставку он делал не на слова. Само собой, как опытный человек, Шетарди не собирался ничего совершать своими руками. Как в шахматах королю победу добывают другие фигуры, так и за него должны воевать другие. И посол начал умелый подбор этих фигур.

При этом он совершил, однако, ошибку, которая стоила ему всей кампании. В предвкушении успеха после одного из удачных ходов в случайном разговоре он позволил себе забытья и упустил главный принцип такого рода дел — молчание. Шетарди дал понять, в чем состоит главная его цель — свалить канцлера. У Бестужева везде были глаза и уши. Неосторожные слова французского посла стали известны ему на другой день. Естественно, канцлер не выдал ничем, что ему удалось заглянуть в карты противника. Только на раутах и приемах, где так часто встречались они, канцлер стал еще более любезен, еще более приветлив с послом. Шетарди мог бы заметить это и задуматься, что это значит. Шетарди заметил, но не задумался. Не знал он и того, что вскоре какой-то незаметный чиновник из ведомства канцлера отбыл с поручением за границу. Куда же — неведомо.

Пару месяцев спустя на Петербургском почтамте появились трое новых служащих. Говорили они только по-немецки и держались всегда вместе. Утром минута в минуту они появлялись у дверей почтамта. Днем выходили, чтобы пообедать в соседнем трактире и выпить кофе, вечером же по окончании своих трудов садились на извозчика и отправлялись в отведенные им квартиры. В чем именно заключались их труды, этого

никто не знал, да и не интересовался. Состояли они под началом некоего молчаливого господина, чьи комнаты помещались в небольшом флигельке, что был во дворе почтамта. Там (только посвященным было известно это) помещался так называемый «черный кабинет» — место, где негласно вскрывалась и прочитывалась корреспонденция лиц, к которым секретная служба испытывала повышенный интерес.

В отличие от других европейских столиц в Петербурге «черный кабинет» был учреждением новым. Дело это было достаточно деликатное и тонкое, требовавшее определенной квалификации. Самой же дефицитной квалификацией была специальность дешифровальщика. Зная это, Шетарди не опасался, что письма, которые он отправлял королю, могут быть прочитаны кем-то, кроме самого короля.

Между тем он расставил фигуры на политической доске и начал партию. Удары, рассчитанные умело и тонко, должны были обрушиться на Бестужева один за другим. Когда он будет скомпрометирован окончательно, будет лишен доверия императрицы, а может, даже отправлен в ссылку, тогда посол сделает жест благородный и галантный — он выразит опальному свое соболезнование. В конце концов по-человечески ему действительно будет жаль Бестужева. Всего этого ведь могло бы и не быть. Они могли бы оказаться союзниками и даже друзьями с этим достойным человеком, пойдя он навстречу интересам Франции и ее короля. «Искренне соболезную, господин граф, — так скажет он бывшему канцлеру. — Мне будет очень не хватать вас в столице...»

Но пока посол отлаживал и приводил в действие свой механизм интриги против, как он полагал, ничего не

подозревавшего канцлера, пока предавался сладостным мечтам, трое немцев, колдовавшие над распечатанными депешами, делали свое дело. Это были специалисты по дешифровке. Контракт, подписанный с ними, был лаконичен и предельно ясен: если немцы раскроют шифр французского посла, они уезжают, увозя с собой гонорар, о котором на родине они не могли и мечтать. Если же им не удастся сделать этого, они просто уезжают. И рвение увенчалось успехом. Вскоре на стол Бестужева легла первая дешифровка. Очевидно, канцлеру было малопринято читать строки, посвященные ему самому. Но неудовольствие это было вполне компенсировано, когда он увидел, что посол писал об императрице. Несколько строк в депеше решили участь посла и всего его предприятия.

Подъезжая на следующее утро к своей резиденции, Шетарди увидел незнакомый экипаж, стоявший у подъезда. Это было странно. Станным было и то, что человек, прибывший в нем, не стал заходить в дом, а, видно, ждал его в карете. Когда посол появился из экипажа, дверца кареты отворилась, оттуда вышел человек и пошел ему навстречу. Шетарди растерялся. Он растерялся еще больше, когда господин вручил письмо от императрицы. Ни тот, кто передал письмо, ни сама обстановка, в которой оно вручалось, не соответствовали ни протоколу, ни рангу сторон.

Тут же, в вестибюле, не заходя в кабинет, Шетарди распечатал послание и, бросив конверт на ковер, стоя, не снимая шляпы, стал читать. Если бы посол не знал руки императрицы и ее подписи, он мог бы подумать, что это чья-то непристойная выходка. Но от высочайшего имени так шутить в России было не принято. Императрица заявляла, что ей стало известно о разных

неприглядных делах господина посла, почему ему предначертано покинуть столицу не позднее утра следующего дня.

Шетарди бросился во дворец. Ему не дали даже переступить порога. Он поспешил в Иностранную коллегию. Его приняли. Чиновник, которого он знал не один год, почему-то держался так, как если бы видел его впервые, выслушал возмущенную речь посла с лицом безразличным и сонным. Он не прерывал его, не задавал вопросов. Когда же Шетарди замолчал, тот не спеша стал выдвигать ящик бюро. Ящик не выдвигался. Чиновник позвал другого русского и, судя по интонациям, учинил ему выговор по поводу ящика, который выдвинулся наконец неожиданно. Чиновник достал из него листок бумаги, помедлил, пробегая его сам, словно чтобы убедиться, то ли это, еще помедлил, посмотрел сквозь посла и только потом протянул ему листок. Тот взял, недоумевая.

На листке были написаны слова из его депеши, посвященные императрице.

Шетарди не верил своим глазам. Первый раз за многие годы манеры изменили ему. Скомкав, он швырнул листок на стол и выбежал из комнаты не прощаясь.

Когда дверь за ним захлопнулась, чиновник, прежде чем убрать, старательно разгладил листок. Лицо его оставалось при этом таким же безразличным и сонным.

На следующее утро карета с наспех запакованными вещами покидала Петербург. Шетарди возвращался во Францию навсегда.

Он не останавливался почти до самой границы. На станциях бывший посол только менял лошадей и не

выходил из кареты. Господин Шетарди торопился. Время от времени он посматривал через плечо в заднее оконце. Но дорога была пустынна. Погони не было.

Тревога бывшего посла была обоснованна. Доверенное лицо короля, шевалье Вилькруасан, также проявлявший повышенный интерес к русским политическим делам и пытавшийся вмешиваться в них, кончил тем, что был объявлен шпионом и оказался в Шлиссельбургской крепости. Для того чтобы предъявить подобное же обвинение Шетарди, оснований у русских было более чем достаточно.

Окончательно он успокоился, только когда граница была позади. Миновав заставу, Шетарди по привычке еще раз выглянул в заднее оконце кареты.

## **МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БОМОН, ЛЮБИМИЦА ИМПЕРАТРИЦЫ**

Людовик XV не был бы достоин быть королем, отступись он после неудачи с господином Шетарди или шевалье Вилькруасаном. Дела секретной службы, как и политика, не та область, где могут быть эмоции и щепетильность. Единственное, что принимается в расчет, — это результат — удача или неудача, поражение или победа. Так считал король. И молодой человек, которому он доверительно излагал эти свои взгляды, был с ним совершенно согласен. Как, впрочем, был бы на его месте согласен всякий другой молодой человек и со всякой другой королевской мыслью. Потому что с королями полагается только соглашаться.

Молодому человеку предстояло сделать то, чего не смогли добиться другие: расстроить козни врагов

Франции при русском дворе, а главное, изменить политическое окружение императрицы. Рядом с ней должны находиться люди, которые ориентируются на союз с французским королем. Залогом этого союза по-прежнему должны стать русские солдаты, которым надлежало воевать под русскими знаменами, но за французские интересы.

Д'Эон, так звали молодого человека, обратил на себя внимание короля иными своими качествами, не теми, с которыми могла быть связана предстоящая ему миссия. Господин д'Эон подал Людовику некий финансовый проект, который оказался весьма кстати и которым он и должен был бы заняться, не приди королю мысль отправить его в Россию. Доктор гражданского и церковного права, блистательный фехтовальщик, д'Эон готовил себя к другому будущему. Меньше всего к роли тайного агента короля в непонятном, далеком и заваленном снегами Петербурге. Но молодой человек знал, что с королем должно только соглашаться.

Шведский парусник, совершающий регулярные рейсы Гамбург — Стокгольм, в очередной раз бросил якорь на гамбургском рейде. Была суббота, пассажиров набралось много, поэтому шлюпке пришлось совершить два рейса, чтобы доставить их всех на берег. Из второй шлюпки по шатким сходням сошли на пристань три священника в темном облачении, ганноверский офицер с женой и двумя детьми и, наконец, пожилой господин в сопровождении молодой девушки. Нас в нашем повествовании интересует именно этот господин.

Мистер Макензи Дуглас был шотландец. Как многие шотландцы его возраста, он умел придавать лицу то выражение брезгливого скепсиса, которое иногда

принимали за признак высокого ума и благородного разочарования в жизни. Явных причин разочаровываться в жизни у мистера Дугласа не было, если не считать здоровья. И то с его слов. Во всяком случае, путешествовал он по настоятельному совету врачей «для здоровья». У племянницы, которая сопровождала его, были, очевидно, совершенно другие причины для путешествия: любознательность и жадность к впечатлениям, присущие молодости. Мадемуазель Лия де Бомон была застенчива и скромна. По словам тех, кто видел ее, это была девушка «маленького роста, худощавая, с молочно-розовым цветом лица, выражения кроткого и приятного».

После недолгого визита в Богемию, где Дугласа интересовали какие-то рудники, которые он собирался то ли купить, то ли продать, путешественники направились в Петербург.

Столица империи встретила их холодными туманами и дождем. Русские были общительны и милы, но иногда, сетовал Дуглас, несколько более любопытны, чем это принято в хорошем обществе. Если человек путешествует, это такое же его частное дело, как если бы он не путешествовал. Правда, в России звание путешественника выглядело весьма непривычно и требовало объяснения или повода к такого рода занятию. Когда мистеру Дугласу начинали задавать неуместные вопросы о причине его приезда, он кратко говорил, что врачи посоветовали ему пожить какое-то время в холодном климате, после чего на него напал сильный приступ кашля, пресекавший дальнейшие расспросы. Возможно, именно врачи порекомендовали ему и не курить. Чтобы избежать соблазна, он повсюду носил с собой черепаховую табакерку с нюхательным табаком.

Угощая петербургских знакомых, он ни на секунду, однако, не выпускал ее из рук. Это была обоснованная осторожность: под двойным дном табакерки лежало несколько мелко исписанных листков на тонкой бумаге. Это был шифр, составленный для него французской секретной службой!

Что касается племянницы, то бедная девушка явно скучала в этом холодном чужом городе. Правда, она не подавала вида чтобы не огорчать своего дядюшку, который был так добр, что взял ее с собой. Пока Дуглас приторговывался к русским мехам и совершал деловые визиты она сидя в гостиной, листала книгу, единственную, взятую с собой в путешествие. Это было сочинение господина Шарли Луи Монтескье «О духе законов» в роскошном большом переплете. Чтение, прямо надо сказать не для молодой девушки.

Жизнь мадемуазель Лии пошла несколько веселей, когда их с дядей кто-то представил вице-канцлеру Воронцову. В доме Воронцова бывала молодежь, сверстники мадемуазель. А однажды настал день, когда вице-канцлер пригласил их во дворец и представил мадемуазель Лию императрице. И здесь произошло то, что превзошло ожидания всех, кто последовательно, шаг за шагом готовил и осуществлял этот сценарий. Молодая француженка так понравилась Елизавете, что та в тот же день пожаловала ее в фрейлины, а на другой день назначила своей чтицей. Осталось неизвестным, что именно читала новая фаворитка императрице, но среди прочего несомненно, она прочла ей письмо своего короля Людовика XV, которое было запрятано в толстом переплете сочинения господина Монтескье.

Мадемуазель Лия де Бомон и д'Эон, молодой человек, автор финансового проекта и фехтовальщик, были одно лицо.

Столь необычный способ, к которому прибег король, чтобы вступить в личную переписку с императрицей, имел свои причины. Канцлер Бестужев и другие советники, окружавшие Елизавету, были настроены против союза с Францией. А поскольку они, как считал король, «дурно влияют» на императрицу, то лучшее, что он мог сделать, это исключить из контактов всех посредников. Вот почему толстый переплет книги, помимо королевского письма, хранил еще и шифры, которыми должны были пользоваться монархи, дабы сохранить тайны своей переписки от неотступной опеки тех, кто их окружал.

Мера эта была не лишняя, во всяком случае, для императрицы! Многие из ее людей и прислуги тайно находились на жалованье канцлера или А. И. Шувалова, начальника Тайной канцелярии. Чтобы не дать агенту какого-нибудь из иностранных дворов даже приблизиться к носительнице верховной власти, фрейлины, горничные, лакеи должны были докладывать о каждом слове, произносимом в присутствии императрицы.

Тем не менее д'Эон нашел время и место открыться Елизавете так, что для соглядатаев это осталось тайной. Человек, хитростью проникший во дворец, обманом вошедший в доверие к императрице и оказавшийся иностранным агентом, — чего может заслуживать такой человек? Он мог быть заключен в крепость, сослан в Сибирь, самое гуманное — выслан за пределы империи. Но д'Эона не постигла ни одна из этих кар. Императрица, женщина смелая, умевшая ходить ва-банк, сама

взошедшая на престол благодаря заговору, ценила смелость. Ей понравилась решительность этого хода и сама интрига, задуманная столь тонко. Мадемуазель Лии де Бомон разрешено было остаться при дворе, сохранив, понятное дело, свое инкогнито.

Значило ли это, что тайный агент короля достиг своей цели? У нас нет ни малейших свидетельств изменения русской политики после появления д'Эона при дворе. Помимо всего, Елизавета, дочь Петра Великого, была не той личностью, которой можно было бы управлять и манипулировать. Во всяком случае, не д'Эону при всем его дамском облачении и фальшивом бюсте. Секретная служба короля навязала Петербургу игру, и русская сторона приняла ее. Приняла, очевидно, не без тайной мысли обернуть французскую интригу в свою пользу.

Мадемуазель Лия де Бомон продолжала бывать при дворе и находиться при особе императрицы. Несмотря на всю ее скромность и застенчивость, среди гвардейских офицеров находились некоторые, которые пытались добиваться ее руки и сердца или на худой конец хотя бы сердца. Требовалось достаточно осмотрительности и такта, чтобы не дать этим ухаживаниям зайти слишком далеко. Правда, против домогательств придворных живописцев мадемуазель все-таки не смогла устоять и разрешила им написать несколько своих портретов. Мы, возможно, могли бы разделить их восторги по поводу милovidности и цвета лица мадемуазель Лии, если бы в отличие от них нам не была бы известна ее тайна.

Но если у русской секретной службы и были виды в отношении мадемуазель, то ее мнимый дядя оказался лишней фигурой в этой игре. На этот раз «французская

интрига» была направлена против Англии. Кому, как не английскому послу, надлежало постараться дать русской секретной службе повод убрать шпиона французов. Во время ужина во дворце Шувалов намекнул послу о возможной причастности Дугласа к французским интересам. Посол покачал головой, осуждая общую распущенность нравов, и заговорил о другом. Шувалов больше к этой теме не возвращался, но он не удивился, когда какое-то время спустя посол передал ему материалы, компрометирующие его соотечественника. Макензи Дуглас был заключен в тюрьму. Врачи, рекомендовавшие ему путешествовать «ради здоровья», не могли, очевидно, предвидеть такого исхода.

Фрейлине и фаворитке императрицы не составляло бы, надо думать, особого труда замолвить слово за своего «дядю». Но этого не было сделано. Не было предпринято даже ни малейшей попытки. Племянница забыла своего «дядю» сразу же, как только тюремная карета увезла его. Участь провалившегося коллеги не стоила того, чтобы рисковать бросить тень на свою репутацию. Не об этом ли говорил король: на секретной службе нет места щепетильности и эмоциям.

Тюрьма, где стараниями английского посла находился подданный его величества, была не просто местом, куда упрятали ненужную фигуру. Это был еще и намек, это было напоминание. Именно так, на языке недосказываний, намеков и нюансов, говорят порой самые важные вещи. Д'Эону был понятен этот язык. Но когда русская секретная служба предложила прямо «мадемуазель Лии» сотрудничать с ней, д'Эон понял, что недомолвками ему не отделаться. Нужно было говорить «да» или «нет». Д'Эон тянул, сколько позволяли обстоятельства. И даже несколько дольше. Впрочем, его

не торопили. Если до этого игра шла как бы вничью, то, перевербовав д'Эона, превратив его в агента-двойника, русская сторона выиграла бы партию короля. Это был достаточно важный итог, чтобы не торопить события, рискуя этим испортить все. Д'Эона не торопили.

Но агенты-двойники редко умирают своей смертью, а доживают до старости еще реже. Д'Эону хотелось умереть своей смертью.

Когда наконец ему пришлось давать ответ и он ответил уклончиво, что было формой отказа, он понимал, что дни его пребывания в русской столице подошли к концу.

Из Петербурга выехала мадемуазель де Бомон. В Париж же прибыл господин д'Эон, прекративший свои маскарад и сменивший наконец дамский гардероб на мужской костюм. Его рассказ о пребывании при русском дворе был выслушан королем с величайшим вниманием и интересом. Правда, о конкретных результатах миссии пришлось говорить «в общих терминах». Поэтому речи шла больше о риске, о смелости и находчивости, которые пришлось проявить агенту короля в далекой, чужой стране. Это было действительно так, и само это заслуживало награды. Король пожаловал д'Эона годовым доходом в 3 тысячи ливров и назначил, уже в мужском обличье, на дипломатическую службу в Англию. Там молодой человек, прошедший в России суровую школу секретной службы, продолжил свои занятия этим опасным ремеслом. Однако его дальнейшие дела, ссора с королем и последующая судьба лежат в стороне от русла нашего повествования.

Республиканская Франция, якобинская диктатура, 1793 год. Толпы на улицах, крики, флаги, казни, смелые

речи и снова казни. А пока совершается все это кипение страстей, люди, ведавшие в то время делами секретной службы, спокойно и планомерно продолжали свои игры, начатые задолго до революции.

Все эти годы Россия продолжала оставаться областью повышенного интереса французской разведки. В поток аристократов, бегущих из Франции, в поток тех, кому действительно угрожали тюрьмы, ссылки и гильотина, неприметно вкрапливались люди, которых никакая проницательность не могла бы отличить и отделить от прочих. Они тоже растерянны, они тоже в отчаянии, они разорены и ненавидят этих узурпаторов. Единственное их отличие было в том, что они состояли в некоем тайном перечне, тайном списке. Число же лиц, имевших к нему доступ, было весьма ограничено и хранилось еще в большей тайне, чем сам список.

Бежавших от чудовища революции с участием принимают в Риме и Лондоне, в немецких княжествах и в Вене. А также в России. Особенно в России — отчасти из традиционного славянского сострадания, отчасти из далеко идущих политических целей. Мы никогда не узнаем, скольким шпионам раскрыли тогда объятия Петербург и Москва, Киев и Одесса. Подозревать несчастных беглецов — какая низость! И только когда кто-то из этих «беглецов» терял всякую меру, тогда обманутому гостеприимству и простодушию оставалось лишь удивляться этому вероломству и сокрушаться.

Можно ли было заподозрить в дурном графа Огюста Монтагю, бежавшего от ужасов революции? Бывший офицер королевского флота, он был принят в Черноморский военный флот на должность капитан-лейтенанта. Графу были открыты все пути к

карьере и высшим должностям на его «второй родине», как любил он называть Россию. Может, Огюст Монтагю и осуществил бы возможности, открывавшиеся перед ним, если бы помыслы его не были устремлены в ином направлении. Будучи пойман русской контрразведкой с поличным, он был уличен в тайной переписке с Конвентом. Граф был судим военным судом, разжалован и в кандалах отправлен в Сибирь.

Другому весьма энергичному эмигранту, некому Жирару, даже не графу, удалось стать секретарем самого светлейшего князя А. А. Безбородко, руководившего делами тогдашней Иностранной коллегии. Службу у князя Жирар не без успеха совмещал с деятельностью иного рода. И хотя этой своей деятельности он, понятно, не афишировал, русской контрразведке стало о ней известно. Однажды, когда Жирар отправился куда-то выполнять безотлагательное и важное поручение своего патрона, какие-то военные остановили его коляску и настойчиво попросили его пересест в сопровождавший их закрытый экипаж. Секретарь князя был удивлен, был возмущен. Он говорил о бесцеремонности и обещал, что так этого не оставит. Но в экипаж все-таки пересел. Больше Жирара никто не видел, а князю пришлось искать себе другого секретаря.

Но это только отдельные случаи. Слишком велик был наплыв эмигрантов. Они оседали повсюду — в больших и малых городах России, вблизи от границы и в самых глубинных районах империи. Отделить тех, кто бежал, действительно спасая свою жизнь, от профессиональных шпионов было невыполнимой задачей. Известно только, что, когда Наполеон вступил в Москву, он нашел здесь немало усердных и

добровольных помощников из числа бывших его соотечественников.

Случаи «французского шпионства» породили в годы войны двенадцатого года понятную настороженность к французам, особенно среди простого народа. Известен следующий эпизод, относящийся к тому времени. Как-то зайдя в Казанский собор в Петербурге, князь Тюфякин встретил там знакомого, с которым заговорил, как это было принято в их кругу, по-французски. Стоявшие рядом услышали французскую речь. Стала собираться толпа. Народ теснил их со всех сторон, не давая уйти, не слушая никаких объяснений. Раздавались голоса: «Шпионов поймали! Французы! От Бонапарта! Русскими прикидываются!»

К счастью, кто-то успел сбегать за квартальным. Придерживая тесак, тот с трудом протиснулся сквозь толпу и предложил им проследовать к министр-полиции графу С. К. Вязмитинову. Предложил это так, что трудно было понять, покорнейше ли он просит их или приказывает. Понять это представлялось возможным впоследствии в зависимости от возможного хода событий, окажутся ли они важными господами, как видно по их внешности, или взаправду это французские шпионы.

Сопровождаемые гудящей толпой в несколько сот человек, задержанные проследовали на Большую Морскую в дом министр-полиции. Само собой, граф хорошо знал обоих. Но выйти и объявить об этом толпе не представлялось возможным. Обстоятельства поимки шпионов обрастали все новыми деталями, а всеобщее возбуждение и негодование достигли крайних пределов. Князя и его приятеля пришлось выпустить через черный

ход в соседний переулок. Толпа же долго еще шумела под окнами и не расходилась.

Замышляя поход в Россию, Наполеон, естественно, должен был начать с разведки. Но ему не было необходимости начинать это дело с нуля. Французская секретная служба ни на день не прекращала своей деятельности в России. Налицо был опыт, были люди и существовала традиция. Не хватало только импульса, чтобы придать этой деятельности масштабы, соответствовавшие целям и амбициям императора. И этот импульс был дан.

20 декабря 1811 года, за полгода до начала войны, Наполеон пишет подробное инструктивное письмо герцогу Бассано. Письмо это заслуживает того, чтобы быть приведенным целиком: «...Напишите шифром барону Биньону, что, если война возгорится, я предлагаю прикомандировать его к своей главной квартире и поставить во главе тайной полиции по части шпионства в неприятельской армии, перевода перехваченных писем и документов, показаний пленных и т. д.; поэтому необходимо, чтобы он немедленно организовал хорошую секретную полицию; чтобы он сыскал двух поляков, хорошо говорящих по-русски, военных, способных и заслуживающих полного доверия, одного — знающего Литву, другого — Волынь, Подолию и Украину, наконец, третьего, говорящего по-немецки и хорошо знающего Лифляндию и Курляндию. Эти три офицера должны будут опрашивать пленных. Надо, чтобы они свободно владели польским, русским и немецким языками. Под их началом будет человек двенадцать тщательно выбранных агентов, оплачиваемых соответственно важности добытых ими сведений. Желательно, чтобы они могли давать некоторые разъяснения насчет мест, где

пройдет армия. Я желаю, чтобы г. Биньон тотчас занялся этой организацией. Для начала три указанных агента должны завести себе своих агентов на дорогах из С.-Петербурга в Вильно, из Петербурга в Ригу, из Риги в Мемель, на путях из Киева и на трех дорогах из Бухареста в С.-Петербург, Москву и Гродно; послать других в Ригу, Динабург, Пинские болота, Гродно и иметь ежедневные сведения о состоянии укреплений. Если результаты будут удовлетворительны, я не пожалею ежемесячного расхода в 12 000 франков. В военное время размер вознаграждений лицам, доставляющим полезные сведения, не может быть ограничен».

О том, что расходы на получение военных секретов не могут быть ограничены, Наполеон знает давно. Так же давно, как его профессией стали политика и война. Но особенно это важно теперь: до дня, когда Великая армия начнет переправу через Неман, оставались считанные месяцы. За два месяца до начала войны, 25 апреля 1812 года, император отдает распоряжение своему министру иностранных дел: «Назначить консулов, которые будут агентами разведки, будут иметь шифр и посылать ежедневно курьера в Кольберг, Эльбинг, Кенигсберг, Ригу, Росток, Визмар, Штральзунд и Альтону».

Превратить профессиональных дипломатов в разведчиков одним росчерком пера — это было в натуре Наполеона. Впрочем, такая практика существовала и прежде. В 1806 году на неприметную должность второго секретаря посольства в Вене был назначен столь же неприметный господин Лягранж. Правда, до этого он никогда дипломатическими делами не занимался. Он был, так сказать, по другому ведомству, числясь капитаном драгунского полка. То, что предстояло ему делать в столице Австрии, по всей вероятности, не очень

отличалось от прежних его занятий. Наполеон лично разработал подробные инструкции для своего агента. «Вызовите его к себе, — писал он маршалу Бертье, — и передайте ему мое требование, чтобы он вел точный учет австрийских полков и мест их расположения. Для этого он должен иметь в своем кабинете ящик с отделениями; в каждом из них он будет хранить карточки, на которых будут занесены названия генералов, полков и гарнизонов. Эти карточки нужно менять в зависимости от перемещений и изменений в формировании воинских частей. Он обязан ежемесячно вам посылать список этих изменений. Эта миссия очень важна. Необходимо, чтобы г-н Лягранж отдался ей всецело и чтобы я был информирован о перемещении каждого австрийского батальона».

Особой заботой французской разведки были карты предстоящего театра военных действий. Никогда Наполеон не вел войны вслепую, не зная местности, не видя ее. За императором вместе со ставкой повсюду следовал специальный картографический кабинет. У начальника кабинета, генерала Баклэ д'Альб, не было спокойной жизни. Когда император бросал свое короткое: «Карту!», его обязанностью было тотчас же подать Наполеону требуемый лист, дополненный самыми последними данными. Дополнением, уточнением карт занимались офицеры генерального штаба, которых засылали в страну. Сейчас на очереди была Россия. Императорский картографический кабинет должен был получить русские карты. Любой ценой.

Эти карты были получены. Причем даже не сами карты, а нечто более значимое — медные гравировальные доски, с которых карты печатались. Каким образом французскому представителю в России

Лористону удалось сделать это, остается одной из тайн французской секретной службы. Несомненно, это был успех французской разведки. Но успех, как оказалось, относительный.

Став мощной военной державой, Россия к тому времени забыла и думать о войне на своей территории. Нашествия, некогда так терзавшие эту страну, отошли в прошлое. Куда больше внимания русские военные картографы уделяли положению сопредельных стран.

Только когда нависла угроза войны с Наполеоном, начались спешные работы по составлению более подробных и достоверных карт западных областей империи. Осенью 1810 года военный министр Барклай де Толли, рассмотрев сделанную работу, остался недоволен. Работы были продолжены на следующий год и завершены только за два месяца до начала войны. Но к этим картам французские шпионы не смогли даже приблизиться. Карты же, которые оказались в распоряжении французских генералов, обесценивались тем, что были неподробны, неточны, а нередко и неверны.

Усиленная активность французской разведки не могла ускользнуть от внимания русской секретной службы.

— Мне говорят, — заметил однажды царь, — что Наполеон не только каждый день читает разведывательные донесения, но и сам предписывает своим агентам, куда отправиться и что делать. Я намерен последовать его примеру.

Неизвестно, в какой мере Александру удалось последовать этой программе. Известно, однако, что Барклай де Толли в преддверии войны старался всячески

активизировать работу русской военной разведки. Он пишет посланникам во Франции, Пруссии, Австрии, Швеции и Саксонии. Боевые действия, если они начнутся, не ограничатся Францией или Россией. В водоворот войны окажутся втянуты сопредельные страны и народы. Военный министр просит посланников собирать сведения «о числе войск, об устройстве, вооружении и духе их, о состоянии крепостей и запасов, способностях и достоинствах лучших генералов, а также о благосостоянии, характере и духе народа, о местоположениях и произведениях земли, о внутренних источниках держав или средствах к продолжению войны и о разных выводах, предоставляемых к оборонительным и наступательным действиям...».

Естественно, такого рода сведения могли и должны собирать специалисты в своей области. Перед лицом опасности, угрожавшей России, военный министр не видел, почему бы не прибегнуть к способу, который французская разведка практиковала давно: прикомандировать к зарубежным миссиям и посольствам способных офицеров, чтобы они «если и не исключительно, то в особенности бы занимались наблюдениями по части военной во всех отношениях».

Вскоре такие люди появились в Мюнхене и в Вене, в Дрездене и Берлине. Сменив мундир на гражданское платье, а штабные дела на дипломатические рауты, они не перестали быть офицерами.

Полковник Александр Иванович Чернышев, прикомандированный к русскому посольству в Париже, был аристократ и боевой офицер, участник войны с французами 1805—1807 годов. Теперь ему предстояло встречаться со вчерашними своими противниками не на

поле боя, а в гостиных и банкетных залах. Чернышев приятно проводил время в Париже, так же, возможно, как он проводил бы его в Петербурге. Визиты, приемы и встречи — обычная светская жизнь. Талейран<sup>[5]</sup> представил его маршалу Бернадотту, генералу Жомини, высшим офицерам французской армии. Минет недолгий срок, год-полтора, и Чернышев снова встретится с ними, услышит знакомые имена. Но на этот раз в боях под Смоленском, у Бородина. Люди, с которыми он сидел за столом, шутил, говорил о милых пустяках и вещах значительных, эти самые люди всего через год-полтора будут жечь дома в его стране, убивать его солдат и искать способ убить его самого.

По должности военного агента полковнику надлежало интересоваться военными вопросами. И он интересовался, но в пределах дипломатического этикета, не больше. Ровно столько, сколько было нужно, чтобы оправдать перед начальством свое пребывание в Париже.

Когда министр полиции Савари доложил Наполеону о русском полковнике и о результатах наблюдений за ним, император распорядился оставить Чернышева в покое: этот поверхностный человек, ведущий рассеянный образ жизни, не был способен к закулисной деятельности и сбору секретной информации. Русским военным интересам во Франции определено не везло.

Правда, было одно обстоятельство, ускользнувшее от внимания французской контрразведки. Она обратит на

---

<sup>5</sup> *Талейран* — французский дипломат, мастер интриги, одно время министр иностранных дел.

него свой интерес позднее, когда это, впрочем, не будет уже иметь никакого значения.

Подобно многим русским представителям в Париже, Чернышев завел дом на широкую ногу. Это соответствовало его положению в обществе и статусу. Все было как у других дипломатов его ранга. Кроме одного — в доме русского военного агента полковника Чернышева не было ни одного человека французской прислуги. Всех — от повара и до садовника, от горничной и до форейтора — полковник привез из России. Очевидно, у полковника были причины избегать присутствия посторонних в своем доме. Но обо всем этом французская секретная служба задумалась позднее, когда Чернышев был уже далеко от Парижа.

26 февраля 1812 года полковник Чернышев покинул Париж. Он вез письмо Наполеона к Александру, письмо, в котором император Франции выражал свою готовность уладить «досадные недоразумения, возникшие за последние пятнадцать месяцев». Наполеон писал эти строки, когда его армия передислоцировалась уже на восток, готовясь к гигантскому прыжку через сотни верст лесов и болот к сердцу России. Эти приготовления были известны русскому генеральному штабу — не в последнюю очередь благодаря тому самому полковнику Чернышеву, который вез сейчас это письмо, призванное усыпить возможные подозрения русских.

Через несколько часов после того, как Чернышев покинул Париж, французская полиция нагрянула в его апартаменты, не имея ни малейших поводов к подозрению полковника, кроме собственной интуиции. Если бы во время этого негласного обыска ничего не было найдено, всегда можно было извиниться,

сославшись на безответственность младшего полицейского чиновника, проявившего столь неприличное рвение. Чиновника всегда можно было примерно наказать или даже уволить из полиции. Но делать этого не пришлось.

Чернышев не собирался покидать Париж надолго, через несколько недель он должен был вернуться обратно. Возможно, поэтому он позволил себе оплошность, величайшую и непростительную. Он оставил в ящике своего бюро письмо, которое не должен был оставлять никоим образом. Письмо это было подписано одной буквой М. Текст его гласил: «Господин граф! Вы меня одолеваете своими требованиями. Могу ли я сделать больше, чем я сделал для вас? Сколько неприятностей я испытываю для того, чтобы заслужить кратковременную награду! Вы будете удивлены завтра тем, что я вам дам! Будьте у себя в семь часов утра, сейчас 10 часов, я бросаю перо, чтобы получить резюме положения Великой армии в Германии по сегодняшней день. Она состоит из четырех корпусов, но время не позволяет мне вам сообщить подробности. Императорская гвардия составляет неотъемлемую часть Великой армии... М.»

Службе безопасности не потребовалось много времени, чтобы дознаться, кто стоит за этой буквой. Это был один из сотрудников военного министерства по фамилии Мишель. Только после его ареста и допросов стало понятно, почему французская контрразведка за все время так и не смогла напасть ни на малейший след той деятельности полковника, ради которой тот и находился в Париже. Граф никогда не встречался с Мишелем. Он даже не приближался к зданию военного министерства.

Русское посольство помещалось в то время в отеле Телюссон, и было вполне естественно, что граф довольно часто бывал там. Столь же естественно было и то, что, появляясь в посольстве, полковник всякий раз проходил мимо привратника. Этот привратник и был тем связующим звеном, которое соединяло русского разведчика и сотрудника французского военного министерства.

У Мишеля не было причин любить русского императора или ненавидеть Наполеона. Единственно, что он любил, были деньги. Их он и получал за оказываемые им услуги. Суммы, которые выдавались ему, были значительны. Но сведения, сообщаемые им, стоили этого. Дважды в месяц в военном министерстве составлялся подробнейший доклад о расположении всех воинских частей империи от армий и корпусов до вспомогательных рот и нестроевых батальонов. Сведения эти были столь секретны, что доклад составлялся в одном экземпляре только для самого императора. Но, как оказалось, не для него одного. Копии этого доклада регулярно поступали в Петербург — Александру.

Когда доклад был составлен, переписан набело, а черновики тщательно уничтожены, канцелярского клерка отправляли с ним в переплетную мастерскую. По дороге клерк заходил к Мишелю, который ждал его и переписывал доклад слово в слово. Несколько других сотрудников министерства оказывали Мишелю подобные же услуги, которые он оплачивал своей рукой, но из фондов русской военной разведки.

В перечне важных сведений, полученных от него Чернышевым, были данные о подготовке к вторжению в Россию. В их свете заявления Наполеона о готовности

разрешить разногласия и искать дружбы воспринимались в Петербурге под иным углом зрения.

Мишель был судим военным трибуналом и расстрелян. Чернышев вернулся в Россию, участвовал в Отечественной войне, командуя кавалерийским отрядом, а потом дивизией. Умер он через сорок пять лет, будучи генералом, светлейшим князем и военным министром.

Деньги покупали военные секреты во многих случаях, хотя и не во всех. Граф д'Антрегю продавал их за деньги. Продавал тем, кто платил. Его товаром были дипломатические и военные секреты Франции. Покупатели приходили обычно под вечер, и граф старался назначать им встречи таким образом и в таких местах, где бы они не встречались между собой. Живя в таком большом городе, как Лондон, нетрудно сделать так, чтобы люди, знающие тебя, не знали друг друга.

Вечерние визитеры не спрашивали его, откуда черпает он свою информацию. Блюдя законы профессии, он не спрашивал их имен, делал даже вид, что не догадывается, кто представляет интересы какой державы. Впрочем, догадаться об этом не составляло труда. Полный господин с желчным выражением лица, торговавшийся за каждый шиллинг, был, несомненно, из английской военной разведки. Суетливый человек, который вздрагивал при каждом шорохе, пересчитывал деньги дважды и всякий раз старался заранее разведать, о чем предлагаемое сообщение, пытаясь получить его даром, — это был агент австрийского императора. Третьим был русский. Его выдавал не язык. Он говорил без акцента по-французски и по-английски. Но он опаздывал, был щедр и, если документ казался ему важным, мог заплатить даже больше, чем просил за него

граф. Д'Антрегю знал: так могут поступать только русские.

Был еще один штрих, который отличал русского от остальных. Нечто вроде брезгливости. Русский презирал его. Он тщательно это прятал, но граф чувствовал. Тайная брезгливость присутствовала в том, как он входил, как здоровался, избегая протягивать руку, если только граф не делал этого первым. Это было в жесте, которым он передавал ему деньги. Никогда не давал в руки, клал на стол, словно не хотел лишний раз случайно коснуться его руки.

Каждый второй четверг месяца д'Антрегю направлялся в порт. Там в одно и то же время и в том же месте его поджидал человек. Он передавал графу пакет, получал свои деньги и уходил, не прощаясь. Всегда один и тот же человек, в одном и том же месте и в то же время. Братья Симон, которые присылали его, были так же точны и обязательны, как их человек. Один из них работал в военном министерстве, другой в министерстве иностранных дел. Их не волновало, кто покупает бумаги, которые они копировали всякий раз в трех экземплярах. Их интересовала только регулярность денежных поступлений, которые всякий раз передавал граф.

Но среди тех, кто оказывал услуги русской разведке, случались люди, говорить с которыми о деньгах было бы оскорбительно. Они рисковали карьерой и жизнью ради иных целей. Прусский министр полиции Груннер, пастор прусского короля Шлейермахер помышляли не о таллерах и не о счете в банке. Их король был унижен, честь и национальное достоинство оскорблены. Только поражение Франции, только падение Наполеона вернут их королю и стране былое уважение и славу. Ради того,

чтобы это произошло, министр и пастор совершают поступки, равно далекие как от служения богу, так и от дел полиции.

На языке военно-полевого суда это называется саботаж. Французские военные грузы, попав на дороги Пруссии, тут же замедляли свое движение, останавливались. Чтобы покрыть расстояние в несколько дней пути, им требовались недели, иногда месяцы. Французские военные интенданты считали удачей, когда грузы в конце концов попадали по назначению. Другие не доходили — военные склады вспыхивали ночами, и, несмотря на все старания полиции, поджигатели оставались непойманными.

Человек из русской секретной службы, с которыми министр негласно встречался, убедительно просил господина Груннера быть осторожней. Не лучше ли отложить главные действия до начала войны между Россией и Францией, если дело дойдет до того? В этих речах был резон, и, как человек, военный министр был согласен с ними. Но, как патриот, он не хотел и не мог ждать.

Министр не знал того, что было известно русскому резиденту. Он не знал, что русскими агентами была подготовлена в Пруссии целая система диверсий против французской армии. Чернышев, будучи в Париже, тоже приложил усилия к этому делу. У полковника оказались длинные руки. Но эта система диверсий и саботажа не должна была ничем проявлять себя, пока не сработает детонатор. Таким детонатором будет весть об объявлении Францией войны России. Эти усилия секретной службы принесли плоды, когда пришло время.

# В ЧУЖОМ МУНДИРЕ

Начало войны и новые обстоятельства призвали на поприще разведки новых людей и новые имена.

Отпыхало Смоленское сражение, отгремело Бородино. 2 сентября русская армия оставила свою позицию при Филях, и ночью полк за полком прошел через Москву. Это было скорбное шествие. На рассвете между Москвой и французской армией не оставалось больше ни одного солдата, ни одного укрепления. Впрочем, и Москвы, этого многолюдного, шумного города, тоже не было. Из 270 тысяч в городе осталось около 10 тысяч человек. Опустели площади, обезлюдели улицы. Последние жители, не успевшие покинуть город, кто на телегах, кто пешком уходили на восток.

Только один всадник двигался в противоположном направлении — в Москву.

На памятнике лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, что стоит сейчас на Бородинском поле, в ряду других имен высечено имя Александра Фигнера. Он действительно сражался при Бородине, командуя артиллерийской ротой. И действительно, всю войну числился в боевых списках бригады. Но после Москвы его военный путь лег по иным маршрутам, не по тем, которыми шла его рота. Потерь же и поражений врагу он причинил больше, чем все пушки его роты, да, пожалуй, и бригады.

Офицер и сын офицера, он прошел обычный для своего времени путь: кадетский корпус, армия. Едва получив офицерские эполеты, Фигнер вытягивает счастливый билет — отправляется на остров Корфу в составе русской военной экспедиции. Он жаждал

подвигов, вместо них была та же муштра и войсковые дежурства. Вскоре волею службы молодой офицер оказался в Милане. За время, которое ему привелось провести там, он изучил итальянский в таком совершенстве, что местные жители вскоре принимали его за итальянца, более того — за уроженца Милана. С таким же упорством, с которым запоминает он слова и фразы чужого языка, Фигнер изучает город — его улицы, церкви, дома, выдающихся жителей. Он словно предчувствует, что все это пригодится ему через несколько лет. Пригодится и спасет жизнь.

Но все это лишь запев, дальние подступы к судьбе. И нужен был особый расклад, стечение обстоятельств, чтобы в нем проснулся азарт разведчика. До того дня и часа, когда это произошло, это был офицер, командир батареи, исполнительный, храбрый, но не больше того.

При осаде крепости Руцук, во время турецкой кампании, нужно было измерить глубину рва, окружавшего крепость. Только зная это, можно было решиться на штурм.

Все подходы к рву просматривались с крепостного вала и простреливались. Просматривались не только днем, но и ночью — на южном безоблачном небе светила полная луна. Послать кого-то на это задание было равнозначно тому, чтобы отправить человека на смерть. Обычно в таких случаях бросали жребий. Решено было и сейчас поступить так же. Кто-то перекрестился, кто-то подставил свою фуражку.

Тогда встал Фигнер. Он сказал, что не надо жребия. Он пойдет добровольно.

Вернулся он утром, осунувшийся, в порванном и измазанном землей мундире, но с точными сведениями.

За эту ночь, проведенную у самых турецких стен, Фигнер был награжден Георгием IV степени. Но за эту же ночь, проведенную один на один со смертью, он стал другим человеком. Правда, в то время ни он сам, ни другие офицеры не догадывались еще об этом. Для того чтобы это проявилось, нужен был случай, нужна была экстремальная ситуация.

Такая ситуация сложилась, и такой случай пришел под Москвой в ночь перед тем, как русская армия должна была отдать город.

После совета в Филях, объявив решение, мучительное как для генералов, так и для него самого, Кутузов не был склонен никого принимать и беседовать с кем бы то ни было. Но когда генерал Ермолов доложил светлейшему князю и генерал-фельдмаршалу, что некий штабс-капитан просит о краткой аудиенции, и объяснил причину визита, Кутузов оживился:

— Пусть войдет.

То, что предложил штабс-капитан, показалось ему важным и интересным. Кутузов дал согласие и благословил его начинание. Выходя из избы военного совета, Фигнер переступил порог в другую жизнь.

Вот почему в то недоброе утро, когда последние беженцы покидали Москву, одинокий всадник двигался в противоположном направлении. Штабс-капитан был не единственным, кто вернулся в оставленную Москву. Еще семь человек, проверенных и отважных, составили костяк его группы. Затерявшись, рассеявшись: среди редких жителей, разведчики были нераспознаваемы и неуловимы.

В мундире офицера наполеоновской армии, безупречно говорящий по-французски, общительный и остроумный, Фигнер скоро обрел немало «приятелей» среди тех, кого ненавидел. Каждый такой разговор, каждое застолье могли оказаться для него последними. Для этого достаточно было поинтересоваться, и достаточно дотошно, кто он, из какой он части, кто его командир, кто может подтвердить его личность. Но умение разведчика в том и заключалось, что он никогда не позволял ситуации даже приблизиться к этому. Это был бег по лезвию. Это была игра, искусство, это было ежедневное балансирование на грани. Вкусивши однажды этот азарт смертельного риска, Фигнер чувствовал в нем себя в своей стихии.

Но это не был риск ради риска и азарт во имя азарта. В ставке главнокомандующего регулярно появлялись люди, передавая светлейшему листки, мелко исписанные одним и тем же почерком. Это были донесения из Москвы. Поэтому, когда к Кутузову явился парламентар от Наполеона, главнокомандующий с полным основанием мог заявить ему: я знаю, что каждый день и каждый час происходит в Москве.

Обычно Фигнер передавал сведения через связных, но однажды, когда потребовалось личное его донесение, явился в Тарутино, где стояла армия, сам Кутузов обнял и поцеловал разведчика.

На другой день Фигнер был опять в Москве.

— Господин Лабур, что так печальны? — приветствовал он знакомого полковника-француза.

— Я не опечален, капитан, вы ошибаетесь. Я в отчаянии! Мне приказано сегодня же отправиться с моими пушками в какое-то Лыково. Я с трудом разыскал

это проклятое место на карте. Если найти его на месте так же трудно, не уверен, что вообще доберусь до него. Проводников нет, да и с этим бестолковым народом не столкнуться. Так что, капитан, вы ошиблись. Я не огорчен. Я просто в отчаянии!

Можно ли было упустить такой случай?

— Господин полковник, считайте, что у вас сегодня счастливый день. Вам повезло. Я бывал в Лыкове и знаю туда дорогу. Когда мы отправляемся? Я готов хоть сейчас.

Это была игра. Он знал, что сейчас, с места в карьер полковник отправиться не может. Времени оказалось как раз достаточно, чтобы разведчик с отрядом успел побывать на Можайской дороге и выбрать место засады. Брать французов нужно будет именно здесь, у поворота, где лес с двух сторон подходит к самой дороге. Он едва успел вернуться в Москву, полковник ждал его.

— Вы определенно посланы мне судьбой, капитан. Не знаю, как благодарить вас за вашу любезность.

— Успеете, — остановил его Фигнер шутливо. — Это никогда не поздно. Впрочем, я сегодня еще напомню вам ваши слова.

Когда партизаны, выхватив шашки, с пиками наперевес бросились из засады, артиллеристы побросали оружие. Первые минуты полковник не мог понять у почему его провожатый говорит с этими ужасными людьми по-русски. Может, он успел изучить русский язык во время похода? И уж совсем непонятно было, почему эти люди повинуются каждому его слову. Когда правда начала доходить до него, полковник не мог поверить себе. То, что этот французский капитан — русский

разведчик, потрясло его больше, чем нападение партизан и плен.

Подобные операции Фигнер и его люди совершали чуть ли не ежедневно. Случалось, они отправляли в Тарутинский лагерь в день по несколько сот пленных. С некоторых пор в своем отряде Фигнер пленных не оставлял. Увы, это была запоздалая мера предосторожности. Когда итальянцы оказались в плену у партизан, как проклинали, как ругали они Наполеона! Как восклицали и жестикулировали при этом! Как протягивали руки к ружьям, чтобы идти и воевать против него сейчас же! Каналья! Узурпатор! Может, в этом есть смысл, подумал Фигнер. Может, с этого начнется распад многоязычной армии Наполеона? Он сказал итальянцам, что дарует им жизнь. Они радовались, плакали и смеялись. Он сказал, что оставляет их при отряде. Они кричали: «Виват!» А на другой день сбежали. Все до одного. Мало того, добравшись до Москвы и до штаба, они подробно описали блондина среднего роста, который в мундире французского капитана каждый день появляется на улицах Москвы.

За голову разведчика была назначена награда. В охоту включились не только специалисты по этим делам, состоявшие при штабе, но и прочие офицеры и даже солдаты.

Фигнер принял вызов, который бросали ему обстоятельства. Он не воспринял этот поворот как неудачу, как нечто тревожное. Просто игра усложнилась. Но тем достойнее была игра!

Французский капитан исчез на какое-то время. Вместо него на московских улицах появился лощеный франт с лорнетом на шнурке, мот и любопытствующий

бездельник. Через несколько дней персонаж этот исчез и возник обыватель в поддевке, потом мужик. В последнем обличье Фигнер несколько раз пытался проникнуть в Кремль. «Хотелось мне пробраться и Кремль, к Наполеону, — рассказывал он об одной такой попытке. — Но один каналья, гвардеец, стоявший на часах у Спасских ворот... шибко ударил меня прикладом в грудь. Это подало подозрение, меня схватили, допрашивали: с каким намерением я шел в Кремль? Сколько ни старался я притвориться дураком и простофилей, но меня довольно постращали и с угрозой давали наставления, чтобы впредь не осмеливался ходить туда, потому что мужикам возбраняется приближение к священному местопребыванию императора».

Разведчик пытался проникнуть в святая святых не из любопытства, не для того, чтобы посмотреть на императора французов. Шла война, и его замысел был убить Наполеона.

Если не удалось проникнуть в ставку Наполеона, может, пробраться хотя бы в штаб-квартиру Мюрата? В плеяде наполеоновских военачальников маршал Мюрат был одной из центральных фигур. Естественно, резиденция его охранялась самым тщательным образом. Но Фигнер решил рискнуть.

Вместе с ним отправился поручик Орлов, как и Фигнер, облаченный в драгунский офицерский мундир. Будучи увлечены своим разговором и громко беседуя, якобы не обращая внимания на окружающих, разведчики миновали первую кавалерийскую цепь. Приблизились ко второй. Еще оживленней рассказывает один какую-то историю, еще громче смеется другой, вставляя какие-то

комментарии. Благополучно миновали вторую цепь. Удача сопутствовала им.

Впереди мост, ведущий в деревню Вороново, там штаб-квартира маршала. На мосту часовой. Он заметил всадника и взял ружье на изготовку!

— Пароль!

В ответ прозвучал уверенный офицерский бас Фигнера:

— Не видишь, кто едет? При приближении обхода часовой должен стоять «на караул». На-а-а кара-а-ул!

Растерянный часовой испуганно вскинул ружье и замер.

— Нужно знать устав. Чтобы больше не было такого! Смотри мне!

— Не торопясь, ведя коней под уздцы, разведчики прошли по деревне. Приблизились к одному из костров, разговорились. Спросили, не видел ли кто их майора, Фигнер назвал наугад какое-то имя. Естественно, такого никто не видел. Французы стали говорить, что люди исчезают, виною всему партизаны. Фигнер рассмеялся: слухи эти слишком преувеличены. С ним стали спорить. Назвали даже их предводителя, который, надев французский мундир, отваживается будто бы появляться в расположении армии. Фигнер махнул рукой и рассказал какую-то байку. Так, проходя от костра к костру, исподволь и незаметно он выяснил все, что собирался узнать.

Не спеша выехали из деревни. Узнав их, часовой на мосту еще издали взял «на караул». Орлов козырнул и

проехал, не останавливаясь. Фигнер придержал коня и сказал солдату несколько одобрительных слов.

Миновали первую кавалерийскую линию. Сейчас пройдут вторую. Скучно. Переглянулись и поняли друг друга без слов. Пришпорив коней, вихрем помчались вдруг на растерявшихся улан. Те отскакивают в сторону. Через секунду беспорядочные выстрелы звучат вслед. Но поздно: ни пуле, ни всаднику их уже не догнать.

«Армия неприятельская стоит на прежнем месте в 15 верстах от Воронова к Калуге, — писал Фигнер донесение той же ночью. — В Москву недавно пошел отряд, который должен будет прикрывать большой транспорт с провизией. В Москве еще и теперь находится вся гвардия. В Воронове стоят два пехотных полка, которые в два часа могут быть истреблены отрядом генерала Дорохова и моим, за истребление их ручаюсь головой».

Как случается порой в делах разведки, эта вылазка Фигнера явилась исходным толчком последующего хода событий. Сведения, полученные от него и Дорохова, позволили Кутузову принять решение и атаковать Мюрата. Об этом Тарутинском сражении Кутузов писал: «Первый раз французы потеряли столько пушек и первый раз бежали как зайцы».

Поражение это решительно качнуло чашу весов войны. На следующий же день Наполеон отдал приказ оставить Москву. Без военной музыки, без барабанного боя, рота за ротой, полк за полком потянулись к Калужской заставе и дальше, по старой Калужской дороге.

Московский этап Отечественной войны был завершен.

Но война продолжалась. В расположении отступающих французских полков часто появлялся общительный и никогда не унывающий офицер в драгунском мундире. Как и в Москве, у него появились свои «приятели», некоторые помнили его по прежним встречам.

— Ничего, — сочувствовал он штабному офицеру, который громче всех жаловался на трудности похода и отступления, — дойдем до Смоленска. Говорят, в Смоленске армия будет зимовать. А весной подойдут подкрепления. Повоюем еще!

Сказал, чтобы услышать, что ответит штабной офицер, несомненно, лучше многих осведомленный о дальнейших военных планах.

Из Смоленска Фигнер отправил в ставку с верным человеком очередное донесение: «...Французская гвардия и спешенная кавалерия уже семь дней, как вошли в Смоленск, который укрепляется с самого туда их вшествия, войска останавливаются там, а обозы, слабые и пленные идут на Красный. Около самого города стоят неприятельские батареи, О направлении неприятеля из Красного не премину через два дня уведомить».

Как и прежде, Фигнер сочетал в себе разведчика и партизана. В те дни не было раций, не было мгновенной связи со ставкой, поэтому решения о проведении операций он принимал сам. Во время одной из таких операций партизаны окружили и понудили сдаться крупную французскую часть, две тысячи человек, во главе с генералом Ожеро.

Почетное право доставить государю рапорт об этой победе Кутузов поручил Фигнеру. Этот офицер, писал Кутузов императору, «в продолжение нынешней кампании отличался всегда редкими военными способностями и великостью духа, которые известны не токмо нашей армии, но и неприятельской».

Зимний Петербург был таким же, каким он привык его видеть, каким Петербург был зимой всегда. По Невскому мчались санные экипажи и извозчики. Окна магазинов и многочисленных кофеен все так же ярко светились вечерами. Во всех этих картинах, столь привычных, было нечто, что не вязалось с виденным последние месяцы, что стояло у него перед глазами: горящая и взорванная Москва, по обочинам дороги в снегу трупы солдат, своих и французов, расстрелянные мужики, сожженные села. Умом он понимал, что столица должна продолжать жить, как и жила, но сердцем контраст этот принять было трудно.

Всего несколько дней назад на случайном привале вместе с французскими кирасирами при свете костра он разделявал убитую лошадь. Не оказалось тесака, и его пришлось вытаскивать из ножен полузаметенного снегом замерзшего солдата. Было ли это в действительности, реальны ли эти картины памяти? А может, нереально другое — этот Петербург, Зимний дворец, адъютант свиты его величества, почтительно сопровождающий его через анфилады комнат в кабинет императора? Высокие резные двери, бронза. Александр встает из-за широкого, заполненного бумагами и картами стола и делает несколько шагов ему навстречу.

Эти две реальности — вчерашнего дня и этой минуты, никак не соотносились между собой. Они противоречили, исключали друг друга.

Не сохранилось ни записей, ни воспоминаний о беседе Фигнера с императором. Сохранились только документы. Один из них — приказ о переводе разведчика в гвардию и производстве его в подполковники. Другой — указ Сенату от 9 ноября 1812 года.

Последний нуждается в некотором пояснении.

Лето 1811 года Александр Фигнер проводил в родительском поместье в Псковской губернии. Вечерами молодой человек часто бывал в доме вице-губернатора М. И. Бибикова. Дом этот был многолюден и шумен. Молодежь собралась в комнатах барышень: все четыре дочери Бибикова были красавицы, все четыре на выданье. Две старшие были, правда, уже сосватаны. «Прекрасные партии», — говорили о них, Александру нравилась младшая — Ольга.

Прошлое этой семьи было безупречно, настоящее благополучно, будущее представлялось безоблачным. Все рухнуло в один день. Вице-губернатор был обвинен в «упущениях по службе» и арестован. Бывшие почитатели, приятели, друзья дома тут же исчезли, как если бы их не было никогда. Дом, в котором целые дни толпились гости, стал безлюден. Одними из первых отвернулись от опальной семьи женихи. Они просто прекратили свои визиты, не утруждая себя извинениями или объяснениями.

Отвернуться от «падших», забыть их было условием собственного выживания. Поведение привычное, понятное всем, выверенное веками. Вот почему нужно было обладать значительной нравственной силой, чтобы

поступить против этого обычая. Поступить так, как поступил Александр Фигнер. Он пришел в осиротевший дом, опустился перед безутешной хозяйкой на колени и просил руки ее младшей дочери. Так этот человек, Александр Фигнер, получил жену. Это было менее чем за год до того дня, когда началась война.

И вот сейчас Фигнер в кабинете царя. Он еще в штабс-капитанском своем мундире, но волей царя он уже подполковник. На прощание император спрашивает героя, есть ли у него какое-нибудь личное желание.

— Да, государь. Я прошу милости и снисхождения...

Он просил милости не себе. И не себе просил снисхождения. Он говорил об отце своей жены, который, обещанный и разоренный, находился в тот момент под стражей и следствием. Александр хмурится, но кивает. Так появляется этот указ Сенату: «Во уважение личных заслуг лейб-гвардии подполковника Фигнера, зятя бывшего псковского вице-губернатора Бибикова, под судом находящегося, всемилостиво прощаем его, Бибикова, и освобождаем от суда и всякого по оному взыскания».

Когда Фигнер догнал армию, она была уже у границы.

Не удержавшись в Смоленске, оставив Вильно и Варшаву, французские войска встретили наконец город, который решено было попытаться оборонять, — Данциг. От падения крепости зависел дальнейший ход всей кампании. Узнать, что происходит в городе, мог только один человек — Фигнер. Это задача оказалась самой трудной из всех, которые пришлось ему решать на войне. Нужно было проникнуть в осажденный город, не вызвав при этом ни малейших подозрений. Нужно было

неприметным образом собрать там все необходимые сведения и найти путь передать их своим. Нужно было принять на себя личину, которую нельзя было снимать ни днем, ни ночью в течение неведомо какого времени — недель, возможно, месяцев.

В один из солнечных январских дней французский конный патруль, совершавший утренний объезд позиций, заметил странную сцену. На ничейной полосе, между французской и русской позициями, метался какой-то человек в разорванном кафтане и без шляпы. Видно было, он не хотел приближаться к городу, но всякий раз, едва несчастный оказывался близко от русских линий, оттуда раздавались выстрелы, которыми отгоняли его. Но он упрямо шел на выстрелы, пока пули не начинали поднимать фонтаны земли у самых его ног.

Не замечая патруля, он кричал что-то по-итальянски в сторону русских, размахивал руками и грозил им. Русские подняли над бруствером пику с привязанным пучком соломы и помахали ему.

Пришлось увести его буквально силой. Он не желал идти в город. Он итальянский купец, казаки ограбили его, а теперь боятся, что он пожалуется их начальству и нарочно отгоняют его выстрелами от своих позиций. Но он все равно хочет вернуться обратно. Он найдет русского полковника, и тот прикажет повесить этих бестий! Напрасно французы уверяли купца, что казаки не подпустят его к своей позиции. Они будут стрелять, а если он окажется слишком надоедлив, просто убьют его. Он слушал, что ему говорили, и продолжал твердить свое.

Правда, оказавшись внутри городских стен, спасенный несколько успокоился. Даже пригласил их в

ближайшую таверну, где угостил своих спасителей лучшим вином. Ограбив, казаки отняли у него коней, товары и кошелек, но по глупости не догадались о поясе с зашитыми в нем золотыми, который он носил под платьем.

— Господа, видит бог, и вы — свидетели, я не собирался быть в Данциге. Но уж коли судьба распорядилась так, у меня найдутся кое-какие дела к здешним купцам. Думаю, некоторые из них не обрадуются моему появлению. Мой отец, известный миланский негодциант Пиетро Малагамба, ссудил им кое-какие суммы. Конечно, война войной, но пришел срок уплаты. Так что, господа, приглашаю вас завтра же пообедать со мной. Кстати, как мне найти биржу?

— Вот человек дела! — восхищался капрал, чьи и без того искренние чувства оказались еще искреннее благодаря выпитому вину и приглашению. — Только что под пулями был и уже думает о делах!

— Коммерсант всегда коммерсант!

— Отлично, господа, отлично! Но как же мне все-таки найти биржу?

Капрал с готовностью вызвался проводить его. Тем более что на их пути должна была оказаться еще не одна таверна. Нет, господин негодциант определенно — прекраснейший человек!

Несмотря на то что город был на осадном положении, несколько местных банкиров и купцов оказались в этот утренний час на бирже, куда заглянули скорее по привычке, нежели по делу. Двое из них слышали о Пиетро Малагамбе из Милана и рады были приветствовать его сына. Но господину

Малагамбе-младшему определенно не повезло. Те, кого он назвал, покинули город накануне осады. Печальное совпадение. Может, они могут чем-нибудь помочь ему? Люди коммерции всегда приходят на помощь друг другу.

В торговом деле торопятся только люди, имеющие маленький капитал. Малагамба-младший ответил так, как отвечал бы человек, знающий законы коммерции.

О, прекрасно! Он тоже рад знакомству и непременно продолжит его. Но сначала ему неплохо было бы несколько оглядеться. Кстати, в какой гостинице посоветовали бы ему остановиться?

Поселившись в одной из лучших гостиниц, он коротал свое вынужденное безделье, деля время между прогулками по городу и дружеским застольем. В меру возможностей интересовался и прямым своим делом — коммерцией, сведя короткое знакомство с некоторыми из торговых людей. Но держателем капитала был отец, он же лишь помогал ему и не был уполномочен заключать сделки. Конечно, если бы оказалось возможным связаться с отцом! Написать ему о здешних делах. Но как? Со стороны суши ни один человек не пройдет — там русские. А с моря? Но с моря были тоже русские. Военные корабли российского флота наглухо блокировали порт.

— Что же, очень жаль, господа. Придется ждать конца осады. Может, за это время мы упускаем отличный шанс. Как вы, так и я. Если появится малейшая надежда отправить из города письмо, сообщите мне. Вы знаете, где я живу. Мое почтение, господа.

Дни проходили за днями, складываясь в долгие томительные недели. У него скопилось уже достаточно информации, чтобы передать ее командованию. Но этому

по-прежнему не представлялось ни случая, ни возможности. А данные, собранные им, были весьма важны. Самое главное, гарнизон крепости состоял не из пяти тысяч, как считал Кутузов, а был в семь раз больше — тридцать пять тысяч солдат находилось в городе — достаточно, чтобы прорвать осаду. Русское командование не знало этого. Но что было делать: и порт, и поля вокруг города — все просматривается и простреливается с двух сторон русскими и французами. Правда, в любом городе есть искатели окольных путей. Таких нужно смотреть среди торговых людей, в порту. И он ищет. Он сводит сомнительные знакомства, говорит и пьет с разным сбродом, лишь бы выйти на проводника, человека, который рискнул бы вывезти письмо или его самого за пределы города. Позванивая монетами, он говорит, что не покупится. Но никаких денег вперед. Никаких задатков. Он слишком хорошо знает эту публику.

Однако, как оказалось, недостаточно.

Контрабандист, с которым наконец свели его, не имел имени. Он имел только внешность. Внешности этой было достаточно, чтобы запомнить его на всю жизнь и постараться не встречаться с ним более никогда. Контрабандисту понравился этот храбрый итальянец. С таким можно вести дела. Понравилось, что пришел не как проситель, пришел как хозяин положения. Не стал спрашивать, сколько будет стоить переход, а сам назвал цену, к тому же немалую. Сказал: «Я плачу...» Это сразу ставило собеседника в ситуацию подчинения. Так и надо в делах. Сразу сказал о гарантиях. Потому что бывает всякое. Сказал, что выйдет из города без единого пфеннига. Так что убить его по дороге и бросить в кустах, чтобы забрать деньги, не представляло никакого

смысла. С ним будет только вексель одного из здешних купцов, причем на его же, Малагамбы, имя. Только он, и он один, может получить по нему деньги в соседнем городе. Иными словами, плату получить можно будет, только выбравшись за черту французских и русских линий. Видно, этот купец не так прост. Видно, он предусмотрел все. Оказалось, не все.

Человек с запоминающейся внешностью сказал ему, что принимает условия.

— С вами пойдет Заячья Губа, — сказал он. — Завтра в полдень он будет ждать у часовни святого Антония.

Контрабандист взялся за это не ради денег. Хотя деньги — всегда приятны. Сумма, сколь ни значительна, была пыль, горсть праха по сравнению с масштабами других его дел и оборотов. Но ему понравился этот человек, купец. От него исходила сила. Ему показалось, что они еще встретятся.

Говорят, бог шельму метит. Чтобы поступить так с человеком по кличке Заячья Губа, у него, очевидно, были все основания. Это действительно был шельма. Он и сам не пытался даже скрывать этой своей сущности, тем более что видеть это можно было с первого взгляда. Его губа, рассеченная надвое, к тому же еще и выпирала вперед, так что, разговаривая, собеседник не мог не смотреть на нее. Шельма ненавидел таких людей. Этот итальянец, разговаривая с ним, тоже, как назло, все время пялился на его губу. Поэтому он возненавидел этого итальянца. Все люди — дерьмо, так считал Заячья Губа. А уж итальянцы особенно.

Утвердившись в этом своем мнении, Заячья Губа стал думать. Отказаться от поручения он не может. Ну

заработает на этом что-то. А может, получит французскую или русскую пулю, и на том конец. А может, поймают да повесят как шпиона. Русские ли, французы ли. Тоже мало радости. Хорошо бы найти какой-нибудь выход. Может, заболеть? Тогда вместо него пойдет другой кто-нибудь, а он останется в стороне. Но с Контрабандистом такие шутки не проходили.

Пообещав сделать все, тем более что «не впервой», Заячья Губа сказал, что встретятся в этом же месте через день.

У хороших игроков бывает «чувство карты». Она еще не сдана, а он чувствует уже, его ли она или так, хлам. Такое чувство было у Фигнера и после встречи с этим человеком. Карта была не его. Конечно, эту партию он доведет до конца, но нужно было искать еще какой-то путь. Однако заняться поисками он уже не успел. Заячья Губа ждал его в положенный час и в том же месте. Но едва он подошел, как откуда-то вынырнули люди с жандармскими малиновыми отворотами на мундирах и вежливо, очень вежливо попросили его сесть с ними в пролетку, которая тут же выехала из-за угла. Заячью Губу взяли тоже. Фигнер успел заметить, что тот ничуть не был напуган. И еще одно: он усиленно притворялся, будто напуган. Почему он так хотел убедить его в этом?

К тому времени, когда подъехали к красному кирпичному зданию тюрьмы на окраине, у Фигнера была уже первая версия того, что, возможно, произошло. Обдумывая это, вслух он не переставал возмущаться. Пусть ему скажут, что плохого он сделал? Видно, совсем нет правды в этом мире! Казаки его ограбили, французы везут в тюрьму. Он будет жаловаться! Он потребует,

чтобы о нем доложили самому генералу Раппу, командующему гарнизоном!

Конечно, Фигнер не мог не понимать, что все эти восклицания и сетования ни в коей мере не изменят ни происшедшего, ни его участи. Но если бы он держал себя иначе, это было бы странно. Так, именно так вел бы себя истинный итальянский купец, окажись он в этой ситуации.

Камера, в которой поместили его, оказалась весьма сносной. Он ожидал худшего. Правда, в России ему не приходилось заглядывать ни в остроги, ни в тюрьмы, но он привык полагать, что заключенному не должно жить в тюрьме лучше, чем он жил на свободе. Комната же, в которую поместили его, была ничуть не меньше номера в гостинице, который он занимал. Разве что решетки на окнах. Но, очевидно, чтобы не оскорблять взгляда прохожих, сделаны они были переплетающимися, изогнутыми, еще немного, и ими можно было бы любоваться.

— Не соблаговолит ли господин назвать свое имя, откуда он родом? — Жандармский офицер взял перо и, поморщившись чему-то, обмакнул его в походную чернильницу. Был он желтоват лицом и, видимо, нездоров. Каждое усилие давалось ему с трудом.

— Мое имя должно быть известно вам. Ваши люди, я полагаю, не хватают людей только потому, что они рискнули выйти на улицу. Я могу лишь повторить то, что вам, несомненно, уже известно. Я негоциант из Милана, сын Пиетро Малагамбы. Имя моего отца знают деловые люди этого города, и они могут подтвердить вам это...

Так начался первый их разговор. Потом было его продолжение. Потом продолжение продолжения. Купцу

из Милана вменялась в вину попытка тайно бежать из осажденного города. Если человек замыслил такое, то он, очевидно, собирается сделать это неспроста.

— Не буду скрывать и надеюсь, господин правильно поймет меня, — следователь даже говорил сегодня тише, чем обычно. — Город на осадном положении. Для вас, если вы действительно тот, за кого выдаете себя, это маловажная деталь вашей биографии. Для нас же, солдат императора, это вопрос нашей жизни. В самом прямом значении. Вы меня понимаете? Если в город ворвутся русские, они будут убивать нас, стараться убить меня. У меня жив отец, есть дети. Я этого не хочу. Думаю, на моем месте вы бы тоже не захотели. Чтобы этого не случилось, мы не даем покидать город ни одному человеку. Ни один человек, побывавший в городе, не должен оказаться в распоряжении неприятеля, чтобы не разболтать ему, где стоят наши пушки, где пороховые склады. Простите, что объясняю вам это так подробно, но вы человек невоенный, иначе не поймете. Так вот, если вам не удастся доказать уважительность вашего намерения, не говоря уже о том, чтобы убедить меня, что вы есть негоциант Малагамба и именно из города Милана, то я вынужден буду считать вас лазутчиком. Надеюсь, вы понимаете, чем это грозит вам?

Допрашиваемый не понимал. Жандарм только посмотрел на него удивленно и не стал пояснять. Белки глаз у него были тоже желтоватые.

...Судя по всему, это была лихорадка. Сегодня следователь выглядел совсем плохо. Да, это лихорадка. Причем в ее худшей, тропической, форме. Откуда этот

немолодой уже человек мог привезти ее? С Новой Каледонии? Из Африки?

— С какого из двух пунктов, господин негоциант, вам угодно было бы начать вашу защиту?

— Как будет угодно вашей милости. Но, думаю, если мне удастся обосновать первый пункт, то есть доказать, что я есть я, второй, возможно, не будет нужды и доказывать. Если я действительно миланский купец, и к тому же жестоко ограбленный русскими, какой мне смысл быть их лазутчиком? Каков в этом смысл и где логика? Значит, достаточно доказать, что я есть я. Кстати, как вы полагаете, каким образом могу я убедить вас?

— Мы думаем об этом. — Следовательно держался с трудом и, видно, торопился закончить допрос. — Есть какие-нибудь просьбы?

— Да. Я прошу перо и бумагу. Я буду писать лично господину генералу. Я не собираюсь ни жаловаться, ни возмущаться. Мне понятно ваше положение, вы мне объяснили его. Но я хочу, чтобы мое положение тоже вызывало сочувствие.

Во что верил, на что надеялся Фигнер, когда писал эти строки? С разными людьми сталкивала его судьба. Но всякий раз он старался взывать к лучшему, что есть у человека, старался задеть светлые струны. Обычно это вызывало ответный отклик. Сейчас он апеллировал к чувству справедливости. Причем не только самого господина Раппа, армии, нации, которые олицетворял генерал в этом чужом городе. Призыв к благородным чувствам заставлял отвечать на языке этих чувств.

Следовательно обещал, что письмо будет передано генералу незамедлительно.

Эффект обращения превзошел его ожидания.

На следующий день допроса не было. А еще через день следователь лично явился к нему в камеру и объявил, что командующий гарнизоном, господин генерал, желают лично видеть его. Сегодня следователь выглядел лучше. Лихорадка, видно, отпустила его.

Через час в закрытой карете и под конвоем Фигнер был доставлен в резиденцию командующего. Генерал Рапп оказался щупл и невелик ростом, с лицом, какое могло бы быть у человека, который все понимает, все знает, но не хочет, чтобы другие догадывались об этом. Генерал принял его в кабинете, где, кроме следователя и еще какого-то офицера, не было никого.

— Я хочу верить вашему письму, господин Малагамба, — начал генерал. — Я вообще предпочитаю верить людям. Особенно в тех случаях, когда они помогают мне в этом. Я полагаю, у вас окажется такая возможность.

Он хотел было ответить с достоинством и учтиво, но генерал жестом остановил его:

— У вас нашелся земляк, господин негоциант. Тоже купец и, представляете себе, тоже из Милана. Нам всем доставит удовольствие эта встреча, тем более что вы, вероятно, знакомы.

И невозможно было понять, говорится ли все это в простоте, или в словах его таится тайный смысл и ирония.

Раскрылась дверь, пропуская пожилого господина. Он пробежал глазами по собравшимся, остановив наконец взгляд на Фигнере, единственном, кто был здесь

в цивильном платье. Был господин пучеглаз, с птичьим лицом и почему-то сильно напуган.

— Добрый день, — произнес господин почему-то по-итальянски, адресуясь не ко всем, а к человеку в цивильном платье, к Фигнеру.

— Как я рад! Добрый день! — Фигнер даже вскочил. Именно так поступил бы на его месте любой истинный уроженец Милана. — Наконец-то я вижу земляка! Если бы вы знали, как отрадно встретить родное лицо среди несчастий, которые преследуют меня. Вы давно из Милана?

Важно захватить инициативу. Сделать это с первой минуты. Не превратиться в допрашиваемого, а задавать вопросы самому. Так началась эта беседа. Шла она по-итальянски, только время от времени офицер, сидевший с генералом, брал слово, переводя вкратце смысл их речей. Следовательно и генерал пока только слушали, до времени не задавая вопросов.

Непонятно зачем и каким образом, будучи в свое время в Милане, он запомнил какие-то имена, с десятков имен, и сейчас, пользуясь этим, расспрашивал своего нечаянного собеседника, как поживает уважаемая сеньора де Маттеи, здоров ли настоятель городского собора сеньор Петручио, образумился ли беспутный сын сеньора Джезерини, самого богатого и самого несчастного человека города. Все это были реальные люди, и разговор о них не мог не убедить, что человек, сидящий сейчас перед ними, во всяком случае, бывал в этом городе.

— Я знаю Пиетро Малагамбу, — заговорил миланец, пытаюсь наконец взять инициативу. — Но сын его, насколько я помню, учился в Гайденбурге по отделению

права. Почтенный синьор Малагамба не был склонен направлять его по торговой части.

— Совершенно верно, — подхватил Фигнер. — Я провел в университете целых два года. Но ведь говорят древние... — И он привел длинную латинскую цитату, оставшуюся у него в памяти еще со времен кадетского корпуса, что косвенно должно было подтвердить его причастность к наукам. — Так что душа моя никогда не лежала к учености, я только следовал воле отца. Когда же случилось это несчастье с синьором Гвициани...

Но собеседник его ничего не слышал ни об этом синьоре, ни о несчастье, которое он принес делам почтенного синьора Малагамбы. Фигнеру, импровизируя на ходу, пришлось сочинить историю о крупной партии товара, которая была поручена указанному синьору, но корабль его, будучи уже вблизи берега, оказался захвачен английским клиппером, отчего дела сеньора Малагамбы претерпели значительный убыток. Чтобы поправить их, он уговорил отца разрешить ему заняться коммерцией, отложив на несколько лет учение. К тому же разве путешествовать и заниматься коммерцией не более надежный способ познать мир, чем читать древних в университетских стенах?

И собеседник согласился с этим.

Следователь не вмешивался в разговор, полагая, что вопросы, если они есть, будет задавать старший по званию. Но генерал молчал. Он просто наблюдал, переводя взгляд с одного говорившего на другого.

— Я так рад встрече с вами! — не умолкал Фигнер. — Поверьте: за все эти дни это единственная моя отрада. Мы поговорили о близких нам людях, и мне

кажется, я побывал на родине и повидался со всеми ними!

— Если господа действительно земляки, — заметил генерал, — синьор Малагамба должен был бы знать господина купца. Не соблаговолит ли он сказать, что ему о нем известно?

Что может быть известно о человеке, которого видишь в первый раз?

Но паузы быть не должно. Не должно быть молчания. Самое надежное — восклицания и общие фразы. Кто же не знает в городе столь уважаемого человека! Фигнер благоразумно не назвал его имени, поскольку не знал его, но, кажется, никто этого не заметил. Все сожалеют, что столь почитаемый синьор силою обстоятельств вынужден столь подолгу не бывать в своем городе. (Об этом он догадался не только из слов своего собеседника. На нем было платье немецкого покроя, значит, он не был в родных краях достаточно долго.)

Очень важно в решительную минуту посмотреть человеку в глаза. На какое-то мгновение они встретились взглядами. Фигнер не мог бы объяснить почему, но ему показалось, он видит дом, где жил этот человек в Милане: шесть тополей у входа, зеленая крыша, оранжевые ставни.

Миланец кивал. Все так. Все правильно. Сейчас было самое время, чтобы завершить этот разговор. В той мере, естественно, в какой это зависело от него. Но если ему удалось в самом начале взять на себя инициативу, нужно постараться удержать ее до конца.

Он встал и, прижимая руки к груди, стал благодарить своего соотечественника и земляка, что тот соблаговолил встретиться с ним и удостоил его своей беседы. Он был безмерно рад и останется бесконечно признателен. Если синьор будет так любезен сказать, где можно будет найти его, он непременно нанесет ему ответный визит. Само собой, как только позволят обстоятельства.

— Господин генерал, синьоры офицеры, — он поклонился им. — Благодарю вас за предоставленный случай встретиться с моим соотечественником. Желаю вам приятно провести этот день. Господин генерал, всегда к вашим услугам.

И он направился к двери так, как если бы был приглашен сюда в гости и вот, как вежливый человек, теперь уходил, не желая утомлять любезных хозяев. Это был довольно опасный ход. Краем глаза он успел заметить вопросительный взгляд следователя, обращенный к генералу. Генерал Рапп едва улыбнулся, одними губами. Для него это было то же самое, что для другого раскаты хохота.

Никто не остановил его. Он сел в карету, на которой его привезли сюда. Конвоир стал на запятки. Следователь вышел только минут через десять. Фигнер понимал, что разговор с генералом шел о нем.

Наконец карета тронулась с места.

Фигнер обессилено откинулся на жесткое сиденье. Этот разговор измотал его больше, чем все остальные допросы. Он чувствовал слабость такую же, как следователь в худшие минуты приступов его лихорадки. Ему казалось, это расплата за то усилие, с которым он заглянул в глаза миланца. Ему казалось, если бы он мог

продлить это усилие, он мог бы назвать его имя и, может, узнать о нем все. Колеса кареты застучали по мощеному тюремному двору.

Его больше не вызывали на допросы. Так прошло несколько дней. Неделя. Его забыли. Затем появился незнакомый военный и сказал, что господин генерал приглашает его к себе сегодня.

Как и догадывался Фигнер, генерал оказался человеком светским. Это явствовало из того, что за весь вечер он ни разу не заговорил о причине, приведшей к предыдущей или этой их встрече. Разговор шел о чем угодно, только не о самом деле. Впрочем, это тоже была манера говорить о деле. Тон отношений, предложенный Фигнером в прошлый раз, был принят. Генерал — хозяин, он — гость. Генерал оказался собеседником умным и тонким. Негоциант из Милана не уступал ему ни в чем: ни в познаниях, ни в манерах, ни в живости ума.

Прощаясь после ужина, генерал спросил, не доставит ли ему уважаемый гость такого удовольствия, не разрешит ли он, чтобы его отвезли в экипаже генерала. Синьор Малагамба-младший с признательностью принял эту любезность. Он не спросил, куда на этот раз должен доставить его экипаж. Задать такой вопрос нельзя было, не нарушив некой незримой конструкции. Генерал тоже не стал уточнять, полагая это чем-то само собой разумеющимся.

Экипаж доставил Фигнера в гостиницу. Номер его был в том же состоянии, в котором он оставил его в тот несчастный день, когда он отправился на свидание с Заячьей Губой. Только легкий, едва заметный беспорядок в бумагах говорил, что кто-то побывал здесь и проявлял интерес к его записям.

Он усмехнулся. Он никогда не был так наивен, чтобы доверять то, что удавалось ему узнать, бумаге. То, что могло быть найдено в его столе, были обычные записи торгового человека: цены на шерсть и шелк, стоимость перевозки, цены посреднических услуг.

Поверили ли ему до конца? Или это только ловушка? Нужно было время, чтобы понять это и принять решение. Но у него этого времени не было. Или было чрезвычайно мало. Сведения, собранные им, должны быть доставлены. Иначе вся его экспедиция и само пребывание в городе лишены малейшего смысла. Но теперь предпринять что-то было почти невозможно. Его знают, он на виду, каждый его шаг из города будет шагом к виселице.

На другой день он разыскал своего «земляка». Он счастлив случаю свести знакомство со столь уважаемым коммерсантом, хотя их встреча состоялась и не совсем в обычных обстоятельствах. Не соблаговолит ли господин коммерсант принять приглашение своего младшего собрата и пообедать с ним в «Розетте», лучшем ресторане города?

Господин миланец несколько секунд смотрел на него выпуклыми, как у птицы, глазами и молчал. После чего заметил довольно сухо, что приглашение это принять не считает возможным. И пояснил:

— Что вы не сын Пиетро Малагамбы, я понял с первого взгляда. Но вы мой земляк, вы миланец. Поэтому я помог вам выскочить из петли. И только поэтому. Но, помилуйте, разве такой пустяк — повод для знакомства?

Через несколько дней генерал Рапп опять пригласил Фигнера, и встреча снова была чисто светской. Правда, теперь он постарался придать разговору направление,

полезное для исхода дела. Он не привык, говорил он генералу, к бездействию, безделье гнетет его. Если бы он был хотя бы солдатом! Оказаться в осажденном городе и не взять в руки оружия! Он же не трус. К тому же у него свои счета с казаками. Генерал качал головой и вежливо улыбался. Конечно, ничто не решается поспешно.

Но нужные слова были сказаны им генералу. Если ему позволят надеть мундир, у него появится повод оказаться вне города.

Но у генерала были свои соображения на его счет. Через несколько встреч он заговорил об этом:

— Синьор Малагамба, мне понятно ваше нетерпение. Вы молоды, и в городе вам действительно нет дела. Учиться воевать вам, простите, поздно. Кроме того, я полагаю, что каждый должен делать свое дело — воины воевать, а купцы вести торговлю. Что бы сказали вы, если бы я вопреки всем правилам позволил вам покинуть город?

— Я бы сказал, господин генерал, что мои молитвы услышаны.

— Они услышаны, синьор Малагамба. Я вижу и ценю ваши достоинства, поверьте. Только поэтому и из симпатии к вам решаюсь на этот шаг. Кроме того, у меня будет к вам личная просьба. Я дам вам пакет, который попрошу доставить по адресу. Куда и кому будет он адресован, я вам скажу позднее. Точнее, в день, когда вы отправитесь. Если, конечно, вы согласитесь.

Однако быть выпущенным из города не значило еще добраться живым. Умереть от русской пули было не намного лучше, чем от французской.

Когда Фигнер появился у Контрабандиста, тот, казалось, ждал его. Во всяком случае, обрадовался.

— Я же знал, что мы встретимся. Отпустили вас? Или сбежали?

— Да, он может указать путь, который выведет Малагамбу далеко за русские линии. Да, есть проводник. Нет, не Заячья Губа. Заячья Губа никого больше не поведет. И никогда. Ну это уже его, Контрабандиста, дело. Просто он не любит, когда предают его клиентов. Господину угодно без проводника? По карте? Но это будет стоить несколько дороже. Почему? А разве у господина есть выбор?

Глубокой ночью адъютант генерала проводил его мимо пикетов и дозоров, выдвинутых далеко вперед. Адъютант не знал, как прощаться со штатским, выполняющим, очевидно, какое-то военное задание, и растерянно взял под козырек. Он ушел. Фигнер долго еще ждал, когда облако закроет луну.

Под утро он спал уже в русской военной палатке.

Когда взошло солнце, подполковник Фигнер, взяв несколько конвойных казаков, отправился в ставку. Эскорт казаков был нелишним, пакету, который он вез, не было цены — это был рапорт генерала осажденного города на имя Наполеона.

Ход у коня был легкий, день погожий. Фигнер ехал навстречу своему будущему. Впереди были полковничьи эполеты, А через полгода гибель в бою у берега Эльбы.

Пакет, адресованный Наполеону и доставленный в русскую военную ставку, был не единственной военной депешей, попавшей не в те руки. Еще в двенадцатом году, когда французская армия была в России, сумки

наполеоновских курьеров нередко оказывались в ставке Кутузова. Фигнер и его люди перехватывали письма самого Наполеона и его маршалов. Годы спустя французский генерал А. Коленкур вспоминал о том времени в своих мемуарах: «Мы не имели больше надежного коммуникационного пути, связывающего нас с Францией. Вильна, Варшава, Майнц, Париж уже не получали каждый день приказов монарха великой империи. Император напрасно ожидал в Москве сообщений своих министров, донесений губернаторов, новостей из Европы».

Когда война была завершена и русский император въехал в Париж на коне, подаренном ему когда-то Наполеоном, победители и побежденные вспоминали перипетии минувшей кампании. Разговаривая с бывшим наполеоновским маршалом Макдональдом, император Александр как-то заметил:

— Нам очень помогало то, что мы знали заранее о замыслах вашего императора. Мы узнавали это из его же почты. Нам удалось захватить много его писем.

«Большой шифр Наполеона» был одной из самых охраняемых тайн империи. Он был известен только самому императору и его маршалам. Как могли русские прочесть захваченные ими депеши?

— Я полагаю, ваше величество, кому-то удалось похитить тайну шифра?

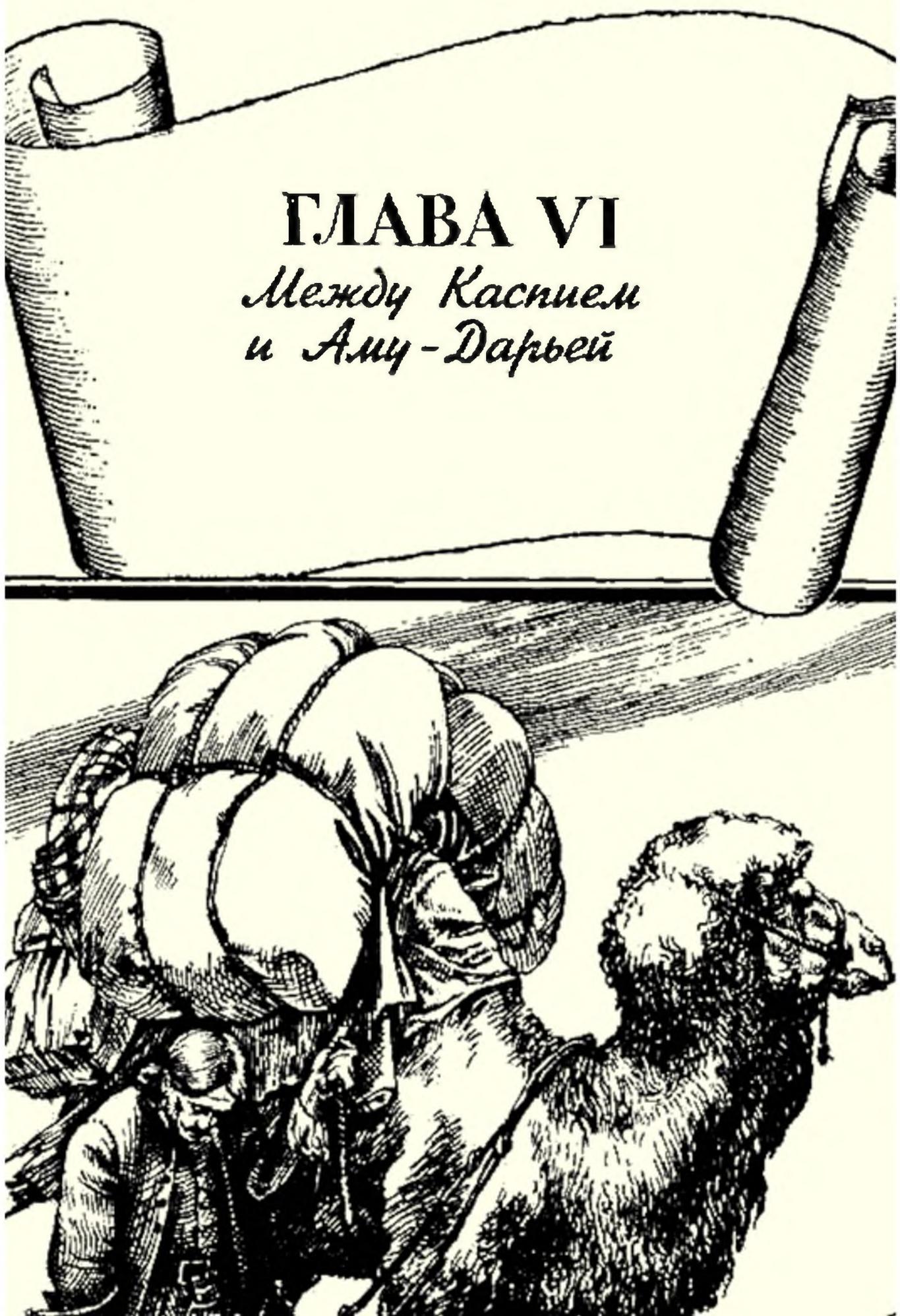
Александр покачал головой.

— Даю вам слово чести, в ваших рядах не было предателя. Все очень просто. Мы сумели найти ключ к шифру.

Фигнер, Чернышев, другие русские разведчики были солдатами, которые находились на переднем крае, на линии прямого соприкосновения с врагом. За ними шел второй эшелон те, кто обобщал, классифицировал и сортировал данные, кто дешифровывал депеши врага. За ними был аппарат разведки.

# **ГЛАВА VI**

## ***Между Каспием и Амударьей***

A large, unrolled scroll is the central focus of the image. The scroll is unrolled from the left and right sides, with the ends curling upwards. The title and subtitle are written on the scroll in a stylized font. Below the scroll, a detailed black and white illustration shows a caravan of camels and a man. The camels are heavily laden with large, rounded bundles of goods. A man in a long coat is walking alongside the camels, holding the reins. The background is a simple, textured ground.

# ГЛАВА VI

*Между Каспием  
и Амударьей*

Страшен полет саранчи, закрывающей полнеба. Страшен грохот горного обвала, когда скалы рушатся на дома и на людей, когда нет в мире сил, которые могли бы остановить их. Но еще страшнее вид персидского войска, идущего от горизонта до горизонта. Еще страшней стук копыт персидской конницы. Для людей, живших во времени, о котором идет здесь речь, эти картины были не поэтической метафорой. Это были сцены, от которых переставало биться сердце и застывала кровь.

Солдаты шаха не знали ни жалости, ни пощады. Они убивали все, что можно было убить; грабили все, что можно было грабить; то же, что оставалось, они жгли. Запустение и смерть шли по их следам.

Железную поступь персидских солдат помнили Бухара и Хива, Грузия и Армения, Азербайджан и каспийское побережье. Память этих нашествий и страх перед ними были важной составной частью политического мышления соседних с Персией стран.

Присутствие России могло быть защитой и гарантом против этих нашествий. Хивинский хан трижды, в 1700, 1703 и 1714 годах, обращался к российскому императору с просьбой о принятии в подданство.

Персия понимала, что политическое присутствие России означает конец ее влиянию и ее власти. Тегеран не мог примириться с этим. Шахиншах — наследник некогда обширных владений — грезил былым величием персидской империи. Хива, Коканд, Бухара стали ареной беспощадной борьбы секретных служб Персии и России.

Когда же впоследствии чаша весов этой борьбы стала клониться явно не в пользу шаха, на границах кокандского, хивинского и бухарского ханств стали собираться черные тучи персидских войск. Полчища Надир-шаха вторглись в пределы ханств, прошлись по ним огнем и мечом, превратив некогда независимые государства в провинции персидской империи.

Но этот последующий ход событий, известный нам, лежал еще в будущем и завесой времени был скрыт от тех, кому привелось жить и действовать в те дни.

## **РУКА ШАХА ДОСТАЕТ ДО ХИВЫ**

«Астрахань-городишко» обрел при царе Петре значение, которого не имел, никогда прежде. Белокаменный кремль с восемью башнями, порт и корабли на рейде под огромными белыми парусами — это был форпост империи у самых южных ее границ. Местные жители, обитатели окрестных и дальних мест, оказавшись в городе, с удивлением и страхом смотрели на все это. Солдаты на плацу, одетые в одинаковые синие мундиры, ходили строем, вскидывали ружья в лад и выделывали ими разные штуки. А у ворот кремля, куда входа не было никому, стояли две большие чугунные пушки. Говорили, что пушки эти могут уничтожить целое войско, не подпуская его к стенам города. В торговой же части, что ни день, приходили и уходили караваны — из Персии, из Герата, из Бухары. А иногда даже из Индии.

После многодневного пути среди безводных степей и солончаков, после безжизненных каспийских берегов город этот представлялся вечным оазисом и собранием всевозможных чудес. Среди тех, кто совершил этот многодневный путь, прежде чем оказаться в Астрахани,

был некий Хаджа Нефес, садырь (предводитель) одного из туркменских племен.

Он не первый раз был в городе, но сейчас впервые почувствовал себя смотрящим на все это не со стороны. Он впервые ощутил то, чего ему, оказывается, так не хватало — причастность всему этому. Сегодня был великий для него день — он принял крещение и целовал крест на верность царю. Теперь не гость он здесь, не пришелец, не наблюдатель со стороны.

— Достойные люди в этих краях нам весьма надобны, — говорил ему стольник, князь Саманов, с которым он давно дружил, — погоди, найдем тебе дело, а там, глядишь, и воеводою станешь...

Был стольник приземист, плечьями широк.

В тот вечер в честь этого дня Нефес угощал русских своих друзей. Он знал их давно, и они знали его не один год. Тогда-то, в тот памятный вечер, сказал он стольнику князю Саманову «в тайной беседе» о золотом песке, который есть по реке Амударье.

Стольник был «государев человек», весть же, что поведал ему Хаджа Нефес, была не той, чтобы можно было забыть о ней или пропустить мимо ушей. Стольник сделал донесение о том деле и срочно направил его царю. Отправлено же оно было не в Петербург, не в Ригу и не в Москву, а по неопределенному адресу — «где обретается». Царь Петр не пребывал подолгу во дворце и не сидел на одном месте.

В то же примерно время Петру пришло такое же донесение от сибирского губернатора князя Гагарина: в Малой Бухарии, на реке Дарье, при городе Эркети имеется-де золотой песок.

Сообщение это было исключительной важности.

Россия находилась в ту пору в периоде величайших свершений и еще больших начинаний. Но для всего этого нужны были специалисты — корабельные и пушечные мастера, горные инженеры, архитекторы и строители. Их можно было получить из Европы, они с готовностью ехали в Россию. Но всем им нужно было платить — преимущественно золотом.

По получении этих вестей Петр лично пишет указ Сенату: «Послать в Хиву с поздравлением на Ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее — проведать про город Иркет».

Это был как бы маневр в три хода: посольство в Хиву служит поводом, чтобы оттуда попасть в Бухару под видом торговых дел. Приезд же в Бухару тоже был только поводом. Дело же настоящее: «проведать про город Иркет».

Был и еще один, четвертый, ход этого секретного замысла. Как писал современник, Петр полагал, что «если и не найдется искомое в реках тех золото, то по крайней мере найден будет новый способ к получению оною посредством торговли через те страны с самою Индией».

Речь шла о разведывательной операции величайшего риска и сложности. Для столь тонкого дела нужен был человек, искушенный в обычаях и нравах Востока. У царя был такой человек на примете — кабардинский князь Девлет-Кизден-Мурза, ставший после крещения Александром Бекович-Черкасским, казалось бы, создан для такого рода предприятий. Ранее, будучи в звании поручика, был он отправлен Петром в Европу для

учения и для других прочих дел, кои и исполнены были им в наилучшем виде. Однако активом его были не столько прошлые заслуги, сколько обещания будущего.

Есть такие люди — при первом же взгляде на них приходит мысль: вот человек, которому дано совершить нечто незаурядное. Непонятно, из каких признаков складывается это ощущение. Был князь порывист в движениях и словах, но в меру; был сухощав, как многие из его мест; страха не ведал. Но разве мало было других людей, о которых вполне можно сказать то же самое? Но ни о ком из них нельзя было подумать того, что думалось о князе и о незаурядности его участи.

За прошлые заслуги, а более того в ожидании заслуг будущих был он пожалован в гвардии капитаны. К тому же как будущему императорскому послу пристойнее ему было быть в этом звании.

Наставление, составленное князю, включало 13 пунктов. Особо же оговаривалось, что, если хан хивинский проявит склонность к выгодам России, уговорить его послать нескольких своих людей с двумя русскими вверх по Сырдарье до Эркети для разведки о золоте и золотом песке.

Что же касается поиска торгового пути в Индию, то это предприятие было вменено поручику Кожину, специально прикомандированному к посольству. Поручику надлежало следовать вместе со всеми «под видом купчины, а настоящее дело дабы до Индии путь водяной открыть». Если же водяного пути не окажется, идти посуху, составляя карту, разведывая по пути о товарах и «прочее, что здесь не написано, а в чем может быть интерес государства, смотреть и описывать». Так гласила составленная для него инструкция.

Подготовка заняла многие месяцы. Сочинены, согласованы и переписаны были грамоты хану хивинскому, хану бухарскому, а также Великому Моголу в Индии. Затем были те грамоты поданы царю на подпись, подписаны им и скреплены большой государевой печатью.

Сенат постановил выделить князю войска четыре тысячи человек да казаков две тысячи, снабдив их пищей, жалованьем и одеждой. Столь много войска нужно было для устройства крепостей на восточном берегу Каспия, пополнения гарнизонов и охраны самого посольства. Ибо земли, по которым предстояло им следовать, были далеко не безопасны. Сверх того, для особых поручений князю приданы были двадцать астраханских дворян, пятнадцать подьячих и толмачи. Все же снаряжение посольства обошлось в огромную сумму, 218081 рубль 30 алтын с полушкою. Сюда входила стоимость снаряжения, и амуниции, и подарков для хана и его людей, и товаров, с которыми «купчина Кожин» должен был отправиться в далекую Индию.

Столь высока была цена, которую Российское государство готово было платить за то, чтобы получить ответы на два вопроса — есть ли в бухарском ханстве золотой песок и каким путем русским товарам найти путь в Индию? Впрочем, слово «цена» не совсем точно. Это был только первый, начальный взнос. Но Петр и государственные люди, бывшие с ним, готовы были и на эти, и на последующие жертвы. Сведения, которые могли быть получены взамен, оправдывали все вложения многократно.

Наконец люди и снаряжение начали прибывать в Астрахань. Пока шла погрузка на корабли, которые

должны были доставить всех в Гурьев, причалили шхуны из Красноводска. Разнесся слух, что прибыл посол бухарский с многочисленной свитой. Пока в России помышляли о бухарском золоте да как заслать разведчика в те края, Бухара сама делала шаг навстречу. Князь тут же сообщил Петру о посольстве. Царский указ Сенату велел принять посла ласковее. Приписка же к указу гласила — под разными предложениями задержать посольство до возвращения князя Черкасского из опасной его экспедиции.

Неведомо, что могло ожидать князя или его людей, когда они доберутся до Бухары. И не было лучшего залога их безопасности, как если бухарское посольство пребудет до тех пор в гостеприимной стране российской.

На ста двадцати подводках бухарский посол проследовал в Саратов, чтобы оттуда направиться в Москву, а затем уже в Петербург.

Снега в ту зиму в Гурьеве почти не было. Ледяной ветер кружил пыль и песок меж редких домов и по пустынному берегу. Бесприютным и диким представал непривычному глазу этот край, летом испепеляемый зноем, зимой истребляемый лютой стужей. Ни деревца не росло окрест безотрадной этой земли, ни кустика. Каждую поленницу дров нужно было везти из безлесной Астрахани морем. Но зимой море было сковано льдами, осенью штормило, выбрасывая шхуны на бесчисленные предательские мели, летом же царил такой зной, что невозможно было и подумать, что когда-то придет зима, настанет холод и понадобятся дрова.

Немногочисленные домишки и крепостица с острогом не были рассчитаны на такое число людей. Жить пришлось в тесноте, а спать вповалку. От этого ли,

или от климата и плохой воды люди слабели, заболели, начинали умирать. На пустынном косогоре, открытом всем ветрам, похоронная команда что ни день долбила мерзлую землю. Состояла она из инвалидов, отслуживших свой срок солдат, оставшихся доживать свой век на казенных харчах. Всякий раз шла у них борьба с унтером, наблюдавшим над работами, по той причине, что норовили они откопать могилу неглубоко, как легче, а он понуждал их. Но уж очень холодно было на ветру в протертых, исчерпавших, как и они, срок своей службы плащишках. Старческие посиневшие пальцы с трудом держали лопаты да тяжелые кирки. И кто знал, что в нынешнюю зиму такая незадача им выпадет, что прибудет посольство, прибавя им трудов и тягот.

Стоило выйти на улицу и осмотреться вокруг, как взгляд невольно возвращался к косогору со свежими крестами на нем. Потому что больше не на чем было остановиться взгляду. И над всем этим висело огромное серое небо с низкими, бегущими по нему облаками.

Все считали дни, ожидая, когда придет недолгая степная весна и посольство сможет отправиться в путь. Только бы начать движение, только бы сняться с гибельного этого места.

Но прежде чем мог прийти тот день, многое еще надлежало сделать.

— Самое время гонца отправить, ваше сиятельство, — повторял Хаджа Нефес князю. — По нынешнему беспутью мало сегодня кто в степь выезжает. Гораздо безопаснее гонцу ехать.

Уж кто-кто, а он знал туркменскую степь.

Каменный комендантский дом, в котором помещался посол, был светлей и просторней прочих, с цветными стеклами в небольших, низких оконцах. От них исходил желтый и красноватый отсвет, и в самый хмурый и безрадостный день казалось, что солнце заглядывает в горницу.

Не хотелось Бекович-Черкасскому отправлять гонца, очень не хотелось. Но знал, надо: должно получить согласие хана на проезд посла.

— Пошли гонца, князь, — поддержал Нефеса стольник князь Саманов. Не собирался и не думал он идти с посольством, но как-то само собой получилось, что задержался он здесь. Приехал по вольной воде проведать и погостить у приятелей. Теперь же в Астрахань возвращаться поздно, да и резона нет.

Бекович-Черкасский молчал.

Понимают ли они, его советчики, что значит послать гонца? Это значило известить о посольстве не столько хана, сколько персидского шаха. После прибытия гонца через месяц о русском посольстве будут знать в Тегеране. Еще через месяц, а то и раньше люда шаха, что тайно состоят при хане, получают приказ как сподручнее погубить все их дела, а то и вообще извести посольство. К тому времени, когда посольство приблизится к городским воротам Хивы, там успеют расставить все ловушки, разостлать всю сеть губительных интриг и подвохов. Неужели Нефес и князь Саманов не понимают этого?

Возможен только один ход — нужно, чтобы пауза между гонцом и прибытием посольства была как можно меньше.

— А что думаешь, князь, персидских людей обмануть, что при хане, то не тщись, — заговорил Саманов, словно прочтя его мысли. — О всех наших делах они доподлинно знают, и дружбы от них никакой ждать нельзя.

Бывает, очень не хочется человеку делать что-то, хотя знает, что нужно и неизбежно. И объяснить нельзя, почему такое нежелание. «То ангел-хранитель говорит тебе» — так полагали старые люди в те времена, о которых идет здесь речь. Не слушаешь ангела-хранителя раз, не слушаешь другой, голос его все тише, глядишь — и совсем замолчал.

Прервал все-таки паузу князь Бекович-Черкасский:

— Пошлем гонца, — сказал, как через себя переступил. Настолько было это против воли его и желания, что самому показалось: не он произнес, а другой кто-то из него его голосом.

— Воронина бы послать Ивана, — вставил Саманов. Видно, обдумал он все заранее.

Стали толковать, кого отправить, — Воронина или еще кого.

Дворянин астраханский Иван Воронин до Хивы добрался благополучно. Не убили его в пути, не ограбили, что почиталось великой удачей. Правда, большие снега задержали его в дороге. Дней за шесть до Хивы один из верблюдов пал. Вьюки с дарами пришлось перекладывать на другого. Тот поднялся с трудом и пошел так, что, казалось, тоже вот-вот ляжет в снег и больше ему не встать. Все шесть дней до самых городских ворот шел Воронин пешком, держась за колышущийся, шерстистый верблюжий бок.

Однако хан не спешил принять гонца. С первого же дня держали его под караулом, как, впрочем, и другого, Андрея Святого, что был отправлен для верности и прибыл за ним следом. Только через полтора месяца изволил хан просить к себе гонца, отправленного послом императора всероссийского. Только через полтора месяца соизволил он взять грамоту и бегло глянуть на дары, доставленные в его дворец из далекой северной столицы.

Напрасно ждали гонцы ответа. Прошла неделя, другая, месяц. Хан не давал ответа на посольские грамоты и обратно идти им воли не давал.

Обо всем этом князь Бекович-Черкасский пребывал бы в полном неведении, если бы Воронину не удалось передать ему письмо через проезжих купцов. В те же дни поручик Кожин от своих людей, одному ему ведомых, получил весть из Хивы, что гонцов-де «не в чести держат» и что быть в беде всему посольству. Не пустит хан их к себе, а тем паче далее, в Бухару и Индию.

С этой мыслью по собственной воле покинул поручик Гурьев-городок, добрался как мог до казанского губернатора и, взяв у него подорожную, возвратился в Петербург. Там он доложил обо всем государю, а потом и генерал-адмиралу, князю Меншикову. Сказал, что люди персидского шаха подбили хана погубить цареву посольство.

Может, и правильно сделал поручик, что поспешил с такой вестью, но только очень уж походило это на дезертирство. Поэтому в тот день, когда князь Бекович-Черкасский повелел наконец трубить сбор, чтобы отправиться навстречу неведомому, поручик Кожин за самоуправство был отдан под суд и следствие.

Не как князь и прочие с ним люди, но по-своему, он тоже отправился в этот день навстречу неведомому—навстречу решению суда и приговору. И неизвестно, чье будущее чревато было большими опасностями и злосчастьем.

Казалось, в один день и одну ночь зазеленела под Гурьевом степь, предвещая коням обильный корм. Но жители этих мест знали, что это ненадолго. Пройдет положенный, заведенный порядком срок, и посохнут, пожухнут травы. Станет желтою степь и серой, до будущей весны и другого года. Самое время было выступать сейчас.

Предводитель местных туркменских племен в огромной папахе из драгоценной золотистой каракульчи говорил Бекович-Черкасскому и воздевал руки, призывая небо в свидетели истинности своих слов:

— Господин великий начальник, князь! Мои воины будут сопровождать твое посольство до самой Хивы. Мои воины не дадут тени от коршуна упасть на тень твоего коня. Только пусть отрастет трава, чтобы было ее много для наших коней. Когда кони не знают усталости, всадник не ведает страха.

Он говорил, сам же невольно косил глаза на столик, стоявший в стороне, где заранее были приготовлены для него подарки. Он знал об этом, потому что бывал у русского посла ранее. Князь не без удовольствия наблюдал эти скрытые его взгляды, понимая тайное нетерпение, худо скрытое под маской притворного безразличия. Для того и велел он поставить столик так, чтобы, разговаривая с ним, гость мог видеть его, только скосив глаза или повернув голову.

Очень хотелось предводителю разглядеть разложенное для него, но для этого он должен был бы отвернуться от собеседника, чего, понятно, не мог себе позволить. Князь же радовался в душе, наблюдая тайные его страдания, ибо он князю не нравился.

— А что, — спрашивал князь Хаджи Нефеса, — не очень ли уж часто стал жаловать ко мне сей посетитель? Дела-то у него особого нет, все вроде договорено, а он все ходит да ходит.

— Да как не ходить, посудите, ваша светлость. Всякий раз, чай, не пустой назад идет. Нукеры его только и знают, что приезжать налегке и уводить груженных верблюдов. Так бы и я к вашей светлости рад был бы жаловать.

— Ну уж, коли не рад, так и не ходи. Весьма одолжишь. — Князь рассмеялся, и Нефес, не удержавшись, засмеялся ему следом. — Не одобряешь, значит, что жалую твоего земляка? — продолжал князь.

— Не то мне обидно, ваша светлость, что добро государево на это идет, а в Хиве-городе оно нам куда как нужнее будет. Другое обидно мне — смеется в душе ой, гость-то ваш. Приехал, чай попил, разговоры поговорил, подарки забрал и уехал. А через неделю опять. Не уважают у нас людей, которые просто так другому дары приносят. Смеются над ними.

— Что же, по-твоему, можно иной раз его и пустым отправить?

— Никак нельзя, ваша светлость! Такая обида будет!

— Тогда, может, дарить ему что-нибудь для виду? Пустяк какой?

— Еще хуже, ваша светлость! Еще хуже. Ничтожный подарок — оскорбление человека. Вовсе не забудет, мстить станет.

— Что же получается? Посуди сам, Нефес. Дарить его — значит в дураках ходить перед ним и всем его родом. Не дарить или, того хуже, подарить пустяк — врага нажить. Так худо, а этак того горше. Что делать-то?

— А ничего сделать нельзя, ваше сиятельство. В путь отправиться нам, да и все.

— Нет, погоди. — Князь перестал играть цепочкой на поясе от кинжала, так важно показалось ему выяснить этот вопрос. — Значит, я должен быть в их глазах либо глупец, либо враг и обидчик? Другого нет?

— Правильно сказали, ваше сиятельство. — Нефес даже удивился. Умный, достойный человек князь, а такой простой вещи не понимает.

— Ну а если хочу я, чтобы уважали меня?

— Тогда надо завоевать их. Силу показать. Кибитки пожечь, скот угнать.

Князь секунду смотрел на него, недоумевая, потом рассмеялся. Не поверил. Но на сей раз Нефес с ним не смеялся.

Все откладывал и оттягивал выступление Бекович-Черкасский. Со дня на день, с недели на неделю. Предводитель туркмен все говорил, что трава недостаточно длинная и что нужно бы ей подрасти еще. Туркменская конница была бы весьма нелишней в пути. А

то и в самой Хиве. Кто может знать, какой прием ожидает их там?

Но перед самим собой князь понимал, что для него это только повод к отсрочке. Не лежало у него сердце к тому, что предстояло свершить. Кабы мог, то и вовсе отменил бы он всю экспедицию. Но не мог. Не поручик он Кожин. Не за себя одного в ответе. Не его воля, а воля царя двигала всем, и не было сил, кроме самой судьбы, которые могли бы противостоять этой воле. Судьба же тайно противилась ей.

Но настал день, когда солнце стало припекать не по-весеннему, и даже князю стало ясно, что откладывать более нельзя. Он так и сказал это предводителю, когда тот пожаловал в очередной раз.

— Да не совершит такого господин великий начальник и князь! — Гость укоризненно покачал маленькой головой в большой папахе. — Кто же выезжает в степь в такую жару? Я волен над моим войском, но и я не могу приказать моим людям сейчас отправиться в путь. Раньше нужно было, господин великий начальник! Ай-ай-ай! Какая беда!

Тщетно князь напоминал ему, что сам же он без конца откладывал выступление. Тот только сокрушался и мотал головой, вернее, папашой, в которую была вправлена маленькая, как у птицы, бритая голова.

— Он обманул меня, Нефес! Не понимаю предательства. Все понимаю! Храбрость понимаю, хитрость на войне тоже понимаю. Предательства не пойму. Я ничего плохого не сотворил ему, ведь правда же, Нефес?

Но Нефес только качал головой тем же движением, что и его соплеменник. Невозможно объяснить этому кавказскому человеку, что только так и могло все развиваться и не могло быть иначе.

Чтобы не обидеть предводителя и не стать врагом, князь должен был делать ему подношения. А такие подарки «ни за что» не вызывают к дарящему ничего, кроме презрения. Как же не обмануть, кого презираешь? Чего же обижается, чему удивляется князь? Ни один из них не мог в этой ситуации поступить иначе — ни князь, ни предводитель. Значит, все было predetermined, все было предначертано заранее, как это и есть в жизни. Как написано в старых книгах. Кроме того, действительно наступала жара, предводитель говорил правду.

Но это была другая, не его логика, и князь не мог понять, не мог принять ее.

Шла седьмая неделя после пасхи, когда посольство, сопровождаемое казаками и солдатами охранения, выступило наконец в путь. Две тысячи человек отправились навстречу степям, пескам и всем неизвестностям, которые их поджидали. Остальные были оставлены кто в Красноводске, кто в других крепостях, где гарнизоны сильно повымерли за зиму.

Привстав на стременах, Нефес окинул колонну взглядом. Не его ли слово, сказанное в день крещения стольнику, князю Саманову, вызвало к жизни все это предприятие? Не скажи он тогда про золото на Амударье, не двигались бы сейчас на восток все эти люди, не ехала бы конница, не шагали бы верблюды с поклажей. И только князю Саманову да Бекович-Черкасскому известно, что он, Хаджа Нефес, виновник всему этому делу. Остальные же и не догадывались. А может, к

лучшему. Неизвестно еще, благословят ли они его за то слово, некогда им сказанное.

Впереди на поджарых туркменских конях ехали проводники — единственное, что князю удалось получить от предводителя.

Конечно, если их миссия завершится успешно и отряд с ответными грамотами и дарами будет возвращаться обратно, предводитель предоставит им и конницу, и почетный эскорт, и сам окружит их всевозможными знаками внимания. Но горе им, если они будут возвращаться через те же места, претерпев неудачу, обессиленные, обремененные ранеными и больными. Им не будет пощады. Опыт жизни, не просто жестокой, а беспощадной, научил поступать так. Опыт выживания. Только победитель — их друг, только сильный — союзник. Горе слабому, смерть побежденному.

Первый день пути дался трудно. Второй еще труднее. Третий, казалось, не кончится никогда, и никогда не опустится к горизонту раскаленное, висящее над головой солнце. Князь велел было сократить переходы и днем, в самую жару, делать привалы. Но сидеть под солнцем на раскаленной земле было немногим лучше, чем двигаться. Путь, как всегда в пустынных и выжженных этих местах, шел от колодца к колодцу. В некоторых из них вода после зимы оказалась темной и с трупным запахом. Тогда неподалеку копали другой. Песчаные стенки осыпались и оседали, у них не было с собой ни досок, ни бревен, чтобы укрепить их.

Проводники и главный среди них, Мангла Кашка, знали свое дело. Знали они не только путь от колодца к колодцу, но и всякие скрытые ложбинки, где сохранилась

зеленая трава и где верблюды и кони могли пополнить свой дневной рацион. Это были профессионалы, не раз водившие караваны и торговых людей.

Бекович-Черкасский приблизил их. Каждый вечер звал он проводников к своему столу, вернее, к скатерти, расстеленной на дорожном ковре. Ни Кашка, ни товарищи его по-русски не знали, и Хаджа Нефес служил переводчиком. Князь расспрашивал их о стране, куда они направлялись, но те отвечали скупой и неохотной, отговариваясь незнанием.

— Большой ли город Хива?

— Не знаем.

— На реке ли стоит?

— Не знаем.

Куда охотнее говорили они про повадки разных степных зверей и птиц. Но это было не то, что интересовало князя.

— Через семь дней на восьмой посольство достигло зыбких берегов реки. Указывая на нее прутом, которым стегал коня, Кашка пояснил:

— Эмба.

Два дня ушло на сооружение плотов и переправу.

Дорога шла все время в гору. Еще через неделю подъем прекратился. Они были на плоскогорье Устюрт. Теперь путь шел вдоль Аральского моря на юг. Утром, пока каменистая дорога была влажной от утренней росы, они покидали колодец, рядом с которым провели ночь, и отправлялись в путь. Вечером, к закату, достигали следующего. И так день изо дня, неделя за неделей.

Усилия князя расположить проводников оказались не напрасны.

— Вот увидишь, — говорил князь Нефесу. — Они будут еще нашими друзьями. Они уже друзья.

Нефес молчал.

И действительно, некая незримая стена, стоявшая поначалу между проводниками и другими участниками экспедиции, с каждым днем становилась все меньше. Возможно, она рухнула бы совсем, если бы тому не помешало одно обстоятельство. Однажды ночью проводники исчезли. Все до одного. Уходя, они умудрились прихватить несколько ружей у спящих. «Хорошо еще, не зарезали никого», — думал Нефес.

И снова князь ничего не понял, отчаивался и говорил, что иметь дела с этими людьми невозможно.

И он прав был в своем отчаянии. И прав был в том, что, исходя из привычной ему логики, нельзя было иметь дела с теми, с кем он встретился здесь. Нужно было научиться мыслить в их категориях, как учат другой язык и чужие нравы.

Для тогдашних туркменских племен, живших набегами и окруженных врагами, всякий другой человек не его племени и даже не его рода был либо потенциальная добыча, либо потенциальный враг. Он отнимет у туркмена лошадь и убьет его, если туркмен сам не сделает это первым. Эту философию выживания, вскормленную на ниве беспрестанных феодальных междоусобиц и распрей, каждый впитывал и воспринимал с рождения. Верность своему роду и племени предусматривала неверность по отношению к внешнему миру, ко всему, что не было его родом и его

племенем. Нефесу, который вырос в этом мире, это было предельно понятно. Как сможет князь думать он, иметь дело с хивинцами, не понимая, не зная всего этого? А князь искренне старался уразуметь эти непривычные для него нормы.

После бегства проводников место во главе колонны занял Нефес. По следам, оставленным проводниками, он понял, что бежали они в Хиву. Но князю говорить об этом не стал. Зачем?

Семь долгих недель двигалась колонна вдоль Аральского моря. Когда дорога пошла вниз и начался спуск с плато, показались три всадника, двигавшиеся навстречу. Это были люди, посланные Ширгазы, хивинским ханом. Они привезли послу дары — кафтан и коня.

— Князь, ваша светлость, — Нефес отозвал его в сторону, дабы их не слышали ни свои, ни чужие. — Люди эти приехали неспроста. Покажи им отряд. Пусть хан знает, что с нами только конвой, сопровождение, что мы не собираемся воевать с ними.

Стольник Саманов был согласен с ним. Жара, казалось, не действовала на него, только с каждым днем он становился почему-то все квадратнее.

— Воевать с ними? — Бекович-Черкасский пожал плечами. С чего бы такой мысли вообще прийти на ум хану? Разве только персы внушили ему такое.

И не только персы, подумал Нефес, вспоминая, куда вели следы бежавших проводников. Прийти к хану и принести ему тревожную весть — значило получить награду. Сказать же ему просто: «Хан, к тебе идет русское посольство» — значило не получить ничего. За

наградой, именно за наградой поскакали они в Хиву. Ширгазы поверит их облыжным словам тем охотнее, чем угоднее это персам, вернее, людям шаха, состоявшим при нем.

Посланные хана объехали отряд с князем и ничего не сказали. Впрочем, говорить им было и не положено. Они были только глаза и уши хана.

— Все это вздор! — возражал князь Нефесу. Кто с двумя тысячами пойдет завоевывать ханство? Когда я встречусь с ханом, он сам поймет это.

Встреча состоялась за несколько переходов от столицы.

Но это была не та встреча, которой хотел князь.

Хивинская конница, предводительствуемая ханом, внезапно вылетела из-за холма и, как бешеная саранча, облепила русский лагерь. Бой продолжался с рассвета до конца дня, пока не село солнце и не стало темно. Бой, война, сражение — это было понятно, это было привычно, Бекович-Черкасский знал, как подступать в этом случае. Утром следующего дня, когда хивинцы вздумали возобновить свой приступ, лагерь был уже обведен рвом и валом по всем законам военного искусства. Когда же они с визгом бросились было на укрепление, их встретил залп пушек. Всадники попадали с коней, войско смешалось, остановилось, бросилось бежать.

Это был успех, но он не обрадовал князя. Не для этого пришел он сюда.

— Нефес, — князь сидел на лафете пушки и поигрывал цепочкой от кинжала, — нужно убедить хана принять посольство. Писать к нему — это все слова. И

слова на бумаге. Человек верит только человеку, а не бумаге. Скажи, ты мог бы проникнуть в их стан, добраться до самого хана и сказать ему все, что я тебя попрошу?

Это был смертельный ход. Но, наверное, князь не говорил бы об этом, если бы от этого хода не зависела судьба посольства и исход их дела.

— Стольник Саманов говорит, что, если кто и может совершить это, так только ты.

Нефес задумался и ответил не сразу:

— Не надобно идти к хану, ваше сиятельство. Он сам пришлет к вам людей.

Князь вскинул тонкие брови.

— Мы показали ему силу. Он не посмеет напасть. Будут переговоры.

— Если я победил и они бежали, — князь не столько спорил, сколько старался понять эту логику, — а потом сам, первым послал к нему человека, разве не говорит это о моей доброй воле, о великодушии, коли на то пошло?

Нефес покачал головой. Князь ничего не понимал по-прежнему.

— Кто первый прислал человека для переговоров, тот и есть побежденный.

— Значит, так. — Князь даже встал с лафета, пытаясь ухватить эту мысль. — Если вчера хивинцы бежали, а сегодня я же посылаю к ним человека, то это как бы перечеркивает вчерашнюю мою викторию? Получается, вроде бы не я, а они победили? Так?

Это было именно так. Князь делал успехи. Это не только перечеркивало бы то, что было вчера, а более того, придавало бы событиям обратный знак.

Нефес оказался прав. Больше нападений не было, а вечером в лагерь прибыл ханский уздень Ишим-Хаджа. Нападение, лгал его устами хан, произошло без его ведома. Хан сожалеет и готов начать переговоры.

Ранее князь сразу готов был бы ответить согласием. Теперь, начиная постигать правила здешних игр, он заставил посланного долго дожидаться. Только потом объявил свое решение. Объявил неласково, неохотно и хмуро. Вместе с Ишим-Хаджой к хану отправилось двое русских людей. Там, в ханском стане, перед ними водили взад и вперед двух хивинцев, повинных, как пояснили им, в нападении на русский лагерь. Одному из них бечевка была продернута в ноздрю, другому в ухо. Это были как бы символические нападавшие, подвергнутые не менее символическому наказанию. Понимать это следовало таким образом, что хан сожалеет о происшедшем. На то, что хан делал вид, будто наказывает ослушников, князю надлежало ответно сделать вид, будто он удовлетворен этим.

В сопровождении семисот казаков и драгун, вместе со стольником князем Самановым, толмачами и дворянами астраханскими князь Бекович-Черкасский направился в ставку хана. Там, рядом с ханским шатром, на почетном месте поставлен был шатер князю. Казаки же и драгуны были расквартированы рядом.

На следующий день состоялась церемония приема. Вот как проходило это со слов одного из участников:

«И на другой день, после полуден прислал до него, господина князя Черкасского, он, хивинский хан, чтобы

он с ним того дни виделся и быть к нему. И господин князь Черкасский, взяв с собою князя Михайла Саманова, поехал к нему, хану, и за собою велел нести и подарки, которые есть хану поднести. И к нему, хану, его, господина князя Черкасского, и князя Михайла Саманова в палатку пустили, и вошед он, господин князь Черкасский, подал ему, хану, от царского величества листы и объявил подарки: сукны, порешены, луданы, сахар, соболи да девять блюд, девять торелей, девять ложек серебряных. И то все он хан у него принял. И были в палатке у него часа с два и обедали».

Приняв грамоты и подарки, Ширгазы положил руку на большую книгу в сафьяновом переплете и клялся в нерушимом мире. Князь в том же крест целовал.

Вглядываясь в улыбающееся, оплывшее лицо хана, князь пытался понять человека, с которым предстояло ему вести дела. По правую и по левую его руку сидели ханские любимцы, вельможи и предводители. По их льстивым и ласковым лицам бесполезно было бы пытаться разгадать, кто из них получает деньги от персидского шаха, кто главный его враг. Но теперь, когда он здесь, князь знал — рано или поздно ему это станет известно. Но это потом, не с первого дня. Как не с первого дня начнет он главное дело, ради которого и прибыл сюда — розыски бухарского золота.

— Пусть не гром сабель и не звуки войны связывают наши страны, — говорил князь, и все хивинцы и хан кивали ему, выражая свое согласие. — Пусть наши страны связывает дружба, пусть торговые караваны пойдут из Петербурга в Хиву. А из Хивы в Петербург.

Ширгазы отвечал ему в том же духе.

Потом, когда они остались одни в узком кругу, хан спросил, может ли он сделать ему любезность. В залог взаимного мира и вечной дружбы. Конечно, отвечал посол. Но, спохватившись, добавил, если только это в его силах.

— Отдай мне Нефеса, — попросил хан. — Я знаю, это тот туркмен, что вел тебя, когда ушли проводники. Отдай мне его.

— Зачем? — удивился князь. — Зачем он тебе?

— Я велю с живого содрать с него кожу, — пояснил простодушно хан. — Это будет другим наука. А для нас с тобой — залог вечного мира и дружбы.

Это было опять из иной логики.

Тут бы князю, уж если он взялся играть в здешние игры и по правилам этих игр, надо было бы ответить, что, мол, конечно, он без сомнения весьма рад исполнить волю хана и дарит ему этого человека. Что велит, мол, сыскать его в войске и отвести хану. Потом, конечно, можно было сказать, что не нашли, мол, что сбежал он. Важно было не сказать хану на его просьбу слово «нет».

Но князь не привык предавать друзей. Даже на словах. Поэтому он произнес это «нет».

— У нас не принято, великий хан, чтобы человека за верную службу отдавали на казнь и муку. Не обессудь.

Ничего не ответил хан, только лицом потемнел и засопел сильно. Сидевший рядом с ним казначей Досим-бей склонился к хану и зашептал ему что-то. Лицо хана прояснилось недобро, и он улыбнулся князю улыбкой шакала.

Позднее, улучив минуту, Досим-бей шепнул князю:

— Я уговорю его ханское величество оставить вам вашего человека.

Оставить у себя своего человека, не выдавать его было право князя. Поэтому он не поблагодарил даже Досим-бея. Он сделал вид, что не слышит его слов.

О том, что казначей служит шаху, знали при дворе все. И конечно, сам хан. Но при этом держались так, как будто бы не ведали этого. Так требовали приличия и собственная безопасность. Поэтому, когда Досим-бей говорил хану что-то или давал совет, хан знал, что его устами говорит сам шах. При этом имени самого шаха никто не произносил. Просто время от времени хан интересовался, что думает его казначей по такому-то поводу, и тот ему говорил, что он думает. Задавал эти вопросы и выслушивал ответы хан всегда наедине.

Когда пушечный залп смешал хивинскую конницу и войско их побежало, хан так растерялся, что забыл даже спросить казначея, как ему быть дальше. Но Досим-бей напомнил о себе сам.

— Если мне будет позволено высказать мои недостойные мысли...

Хан позволил, и тот продолжал:

— Нельзя надеяться на победу над русскими. Их все почитают непобедимыми. Надо войти с ними в переговоры и заманить к себе их предводителя. Если он будет в наших руках, тогда и все войско будет наше.

Так сказал хану его казначей Досим-бей. Так говорил с ним тот, кто говорил его устами.

Ширгазы волен был прислушаться или не прислушаться к этим словам. Он волен был сделать свой

выбор. Но Россия далеко, а Персия рядом. Его предшественник Шах-Нияз попытался в своем выборе предпочесть Россию. Он отправил посольство к царю Петру с грамотами о принятии ханства в русское подданство. Но он забыл, что Россия далеко, а Персия рядом. Шах-Нияза нет в живых, и хану не должно повторять эту ошибку, если он хочет жить.

Жить хану нравилось. Он хотел жить.

Вернувшись от хана, князь велел тут же спрятать Нефеса в телегу, «чтоб другие не показали, и покрыли епанчею и приставили караул четырех человек. И был он в телеге трои сутки».

Переговоры с ханом предстояли долгие и непростые. Но их надлежало пройти и все выдержать, чтобы тут же начать тайный розыск о бухарском золоте.

Казачьи и драгунские полки расположились табором, но это была временная мера. Город, сказал хан, не может разместить всех. Чтобы расположить людей на квартиры, хан предложил разделить отряд на части.

Офицеры были против этого. Офицеры считали, что раздробить отряд губительно и опасно.

Бекович-Черкасский колебался. Колебалась незримая чаша того, чему предстояло быть или не быть. Тогда заговорил стольник Саманов:

— Разойдемся по квартирам, господа. Если станем упрямы, подумают, злодейство какое умыслили! Нам же сие сейчас никак не на руку.

То, что сказал Саманов, решило дело.

— Вот что, господа офицеры, — заключил князь все споры и речи, — нам нельзя показать, что мы боимся.

Если мы выскажем страх или слабость, нас разорвут. Здесь уважают только силу. Разойдясь по квартирам, мы покажем, что не боимся, что сильны, даже разъединенные.

Когда говорил он это, ангел-хранитель его молчал.

Впрочем, князь и правда начал, видно, понимать, с какой руки ход. Не понял он одного. Проявлением силы этой ситуации было отказаться поступить, как хотел бы хан. Правда, хорошо судить да быть мудрыми нам за сотни километров и сотни лет от тех событий и той ситуации.

Князь разделил войско. Шестьсот человек направились по одной дороге, шестьсот — по другой. Четыреста пошли налево, четыреста — направо.

Молчал ангел-хранитель.

Едва удалились они, отошли так, что не стало их видно, князь не сошел еще с коня, как несколько туркмен вдруг молча бросились на него. Это послужило сигналом. Все войско хана, солдаты, чиновники, кто где стоял, бросились вдруг на русских. Кого вязали, кого рубили.

Только четверо спаслись, с великим трудом добравшись до Гурьева, а оттуда в Астрахань. В числе четверых был Хаджа Нефес. В Астрахани со всех сняли подробный опрос или, как говорили тогда, сказку.

Когда стали делить пленных, Нефес (хану было не до него) достался его земляку — туркмену, служившему в хивинском войске, Аганамету. «...И тот туркменец Аганамет взял его, Нефеса, к себе и, связав, отвел в палатку свою в обоз Хивинский и велел ему голову по Туркменскому их обыкновению обвить вместо чалмы платком, чтоб его не узнали, а та его палатка стояла

близко шатра Ханского и палатки господина князя Черкасского; и как, разобрав служилых людей, отвели далее и, пред шатром Хивинского Хана выведши, наперед, казнили князь Михайлу Саманова, да Астраханца ж дворянина Кирьяка Економова, а потом вывели из палатки ж господина князя Черкасского и платье все с него сняли, оставили в одной рубашке и стоячего рубили саблею и отсекли у их троих головы. А он-де то смотрел и видел из палатки того Аганамета, и учиня над теми оную казнь, Хивинский Хан со всем своим остальным войском и хозяин его, убравшись, пошли в Хиву».

У Нефеса были знакомцы в Хиве. Они поручились Аганамету за стоимость коня, и ночью, прячась в тени деревьев, ведя коня под уздцы, Нефес выбрался из спящего города. Тот же путь, что недавно совершен был во главе отряда, теперь в обратном направлении повторил он один. Не доезжая урочища, где была вода, конь пал. Погиб бы и Нефес, не встретясь ему там «свойственник его Туркменец», который помог ему добраться до русской крепости.

Что касается Кожина, то гибель князя и его людей спасла его, подтвердив в известном смысле разумность его поступка. Неизвестно, как должно было смотреть на его уход с точки зрения бесчестия и чести, но судом был он оправдан.

## **ТАЙНА БУХАРСКОГО ЗОЛОТА**

Печальный исход предприятия и страшная участь его участников вызвали у Петра тот приступ гнева, когда, по словам видевших его, царь был страшен. Можно было, конечно, отправить из Астрахани военную экспедицию,

чтобы покарать предательство и зверство. Можно было бы штурмом взять Хиву, предав смерти вероломного хана и его приспешников. Чувство мести было бы удовлетворено сполна. Но разве это приблизило хотя бы на шаг к тайне бухарского золота?

Человек, стоящий у руля государственной власти, не может исходить из эмоций, сколь бы ни были они справедливы. Царь Петр поборол свой гнев. Нужно было искать иных путей. Все надлежало начинать сначала.

Бухарское посольство, предусмотрительно задержанное, находилось все еще в Петербурге. Петр принял бухарского посла еще раз. Посол поднес государю грамоту, только что полученную от хана. Хан Великой Бухары поздравлял белого царя со славной победой над шведами, весть о чем дошла до самых отдаленных краев и стран. Хан радовался за царя и его храбрых воинов. А еще хан просил белого царя прислать ему в подарок девять шведок.

Когда посольский толмач зачитал это место, Петр очень развеселился и, чтобы соблюсти политес и не рассмеяться, стал больно дергать себя за ус.

Поскольку же среди пленных шведов особ женского пола не числилось, а кроме того, неизвестны были вкусы и предпочтения бухарского хана, решено было вместо шведок отдарить его разного рода мехами, золотой и серебряной посудой, а также заморскими диковинами, специально припасенными на этот случай. Кроме того, послу вручены были ответные грамоты от царя.

Петр сказал также, что, ценя доброе отношение и дружбу с бухарским ханом, он решил отправить ему ответное посольство. Господин русский посол находится здесь, и сейчас он его представит. При этих словах

человек, сидевший справа от царя, встал и поклонился послу. Был он худощав, роста выше среднего, лицо длинное, нос с горбинкой. Какие волосы имел или вовсе был лыс, о том узнать было нельзя, потому что по моде того времени был на нем парик, завитой в крупные локоны.

Бухарский посол тоже встал и поклонился ответно. Они посмотрели друг на друга. Не все равно, далеко не все равно, с кем придется делить заботы и тяготы долгого пути.

Человека, которому решено было поручить продолжение дела, стоившего жизни князю астраханскому Бекович-Черкасскому и сотням его людей, звали Флорио Беневени. Был он итальянец, не первый год находившийся на русской службе и показавший не только ловкость (таких было немало), но и верность, что случалось реже. Кроме того, он не раз бывал на Востоке, бывал в Константинополе, свободно говорил по-турецки и по-персидски.

Цель же, ради которой решено было отправить Беневени, заключалась все в том же — разведать тайну бухарского золота.

Еще раньше, имея в виду этот важный предмет, царь повелел сыскать из шведов нескольких человек, «кои хотя мало умеют около минералов обходиться».

Помимо золота, Беневени надлежало также заняться торговой и политической разведкой. Он был должен узнать и суметь сообщить в Россию, какие товары имеют «бухаряне», откуда ими торгуют и нет ли возможности умножить в тех краях русскую торговлю. Что касается бухарского хана и политического его положения, то Беневени надлежало разведать, «самовластен ли он», не

склонны ли его подданные к бунту. А главное, сколь велико влияние Персии и Турции на политические дела страны. Само собой, как и в Хиве, персидские агенты, состоящие при хане, по прибытии русских не будут сидеть сложа руки. Происшедшее с князем предвещало — борьба будет идти не на жизнь, а на смерть.

Все это, как искусный разведчик, Флорио Беневени должен был «присматривать прилежно и проводывать искусно, так чтобы того не признали бухаряне». Так гласила инструкция, составленная для него при отъезде.

Было по-петербургски хмурое зимнее утро, когда посольство по новгородской дороге покидало столицу. Ехали в каретах и на возках. Тяжело груженные сани везли дары. Большие сундуки, коробки, плетеные корзины были тщательно упакованы и завернуты в рогожи, дабы защитить от превратностей дальнего пути: сейчас от мороза, а потом от дождей и пыли, от зноя степей и пустынь.

Дары, которые вез с собой Флорио Беневени, были не просто частью придворного этикета и предназначались не только хану.

У сановников восточных деспотий, даже самого высокого ранга, в перечне понятий, которыми они жили, не было таких, как «государственный интерес» или «общественное благо». Не потому, что они были плохие или хорошие, а по той простой причине, что сознание их не вмещало этих категорий, они были слишком абстрактны для них и непомерно сложны. Существовали другие, простые понятия, из которых складывались правила жизненной игры — собственное благо, свой интерес, свое выживание. Подарки и подношения, что

приносили им, говорили с ними на этом понятном, доступном ему языке. Поэтому не просто соболиные шкурки, драгоценная юфть и чеканное серебро лежали по коробам и корзинам. Там лежала плата за то, чтобы заставить одного вельможу говорить, другого — молчать, третьего — замолвить слово в каком-то деле. Там лежала плата за сведения, тщательно скрывааемые, но столь необходимые, лежала плата за свободу, а может, за саму жизнь посла и его людей.

Что могло ждать их в конце долгого путешествия, какие тяготы и испытания — этого нельзя было сказать в тот день, когда карета все дальше увозила Флорио Беневени от столичной заставы. Привычно скрипели полозья, раскачивались рессоры, из-под конских копыт летел снег.

В самой же карете на спиртовке между тем поспел кофе, и крышечка серебряного, английской работы, кофейника мелко подпрыгивала. Флорио Беневени сидел за дорожным столиком на диване, обитом розовым плюшем. Наверное, он мог бы так же сидеть в петербургской гостиной. Но иллюзия эта нарушалась дорожным ландшафтом, зимними заснеженными перелесками, которые проплывали за слюдяным оконцем кареты.

Так ехали они, а впереди и позади них следовали возки, повозки и сани с людьми и скарбом. Время от времени вереницу саней, растянувшуюся чуть ли не на полверсты, обгонял верховой. Это был казак из охраны, посланный предупредить впереди об их прибытии, чтобы были готовы ночлег для людей и фураж коням.

И начинало уже казаться, что так было всегда и всегда вдоль санной дороги будут тянуться слева лес, а

справа поле с низкими зимними облаками. И что завтра будет то же, что и вчера. Эту бессобытийность и монотонность не прерывали даже въезды в попутные города и городишки. Почему-то казалось, что все это уже было и было видно прежде — и занесенный снегом жалкий погост, и каланча, и дом воеводы, жарко натопленный, с колоннами и антресолями.

Это течение дней прервалось, когда дорога сделала внезапный поворот и они выехали на высокий берег Волги. Если бы было лето, можно было бы спуститься далее по воде. Пришлось ехать вдоль берега. Караулы, сопровождавшие их, были теперь удвоены. Казачьи разъезды, вооруженные пиками, следовали во главе и в самом хвосте колонны. Это был знак, что они приближались к беспокойным местам — окраинам империи.

Наконец пришел день, когда ехавший впереди крикнул что-то и возки и сани стали останавливаться. На снег стали сходить люди и, закрываясь ладонью от слепящего зимнего солнца, смотреть вперед. Там, совсем неподалеку, чернели в свету темные слободские избы.

Астрахань.

Здесь бухарский посол дожидался его, как было условлено. Отсюда и далее путь их лежал вместе.

Кратчайший путь к Бухаре проходил через Хиву. Но для русского посольства путь этот был перекрыт. Обоим посольствам предстоял долгий окольный путь — через Персию и Тегеран.

Посол из России, направляющийся в Бухару, не мог быть в Персии желанным гостем. Правда, Персия не Хива и его едва ли решатся убить столь откровенным и

хищным образом. Однако, предвидя возможные трудности, а также имея в виду секретную часть его миссии, инструкция, составленная для него в Петербурге, оставляла Беневени известную свободу маневра: «Ехать ему с ним, послом Бухарским, по состоянию дела, смотря инкогнито и под другим лицом, ежели потребно, чтоб его не угнали, или инако, по своему рассмотрению».

Если следовать как частное лицо, было больше шансов оказаться незамеченным. Мало ли кем может быть господин Беневени? Хотя бы купцом, чего проще? Но мало ли что может приключиться с человеком в дальней дороге. Если он частное лицо, то и ответа за его судьбу нет, да и спросить не с кого. Вроде бы был такой, вроде бы проезжал, а может, и нет, кто знает. С послом великой империи так поступить было невозможно. Беневени решил ехать открыто, под своим именем и в своем звании.

После недолгого и благополучного плавания корабли на которых были посольства, пристали к персидскому берегу. 1 октября 1719 года Беневени писал Петру:

«Всемиловивейший Царь Государь!

Всепокорно доношу Вашему Величеству, что я вместе с Бухарским послом 4 Июля прибыл к Персидскому берегу в Низовую, где получил от сего Шахманского Хана письмо одно, в котором всяким удовольствием и впоможением ласкал нас, со всем тем 20 дней продержал нас пока подводы были присланы к нам».

Но это было только начало всяческих задержек, волокиты и обид, причиненных Беневени и его людям в Персии. В непонятном состоянии полуареста держит их

шемахинский хан, не давая следовать далее и ссылаясь, что нет-де на то указания шаха. Но знает ли шах вообще об их прибытии?

На свой страх и риск Беневени отправляет «тихим образом куриера одного пешего» с сообщением к шаху. Посланный пропал бесследно. Отправил другого, но тот вернулся ни с чем — не пропустили на заставах. Беневени посылает еще двоих, верхом, в обход застав и пикетов.

Но нет ни посланных, ни ответа от шаха. Дни идут, проходят недели и месяцы. Вокруг русского посольства кипят безумные интриги, разносятся слухи и сплетни одна нелепее, вздорнее другой. То находится грек, который объявляет всем, будто Беневени никакой не посол, царские грамоты у него, мол, все фальшивые. То появляется слух, будто из Астрахани идет морем войско, чтобы выручить посла и его людей. То еще что-нибудь столь же вздорное и нелепое. Но всякий раз каждое такое сообщение становится предметом бесконечных пересудов и обсуждений между ханом и его людьми, чиновниками и обывателями.

Наконец, хан шемахинский объявляет, что все проблемы разрешены и дозволение ехать получено. Вызвав чиновника, в присутствии посла он велит ему приготовить подводы. Через четыре дня, говорит он, посольство отправится в путь. Через четыре дня выясняется, что никаких подвод нет и вообще никто не собирается их давать. Нет и разрешения шаха. Во всяком случае, хан говорит теперь, что его нет.

Все это было бы объяснимо, если бы за этими действиями стоял какой-то интерес или выгода шахского ли двора или самого хана. Но даже этого не было. Во

всех этих поступках и лжи невозможно было проследить ни малейшей логики, никакого здравого смысла. «На их ласку и обещания, — писал Беневени царю, — надеяться невозможно; понеже люди самые лгуны и весьма в слове непостоятельны, что часто слово переменяют».

Какой был смысл в том, что накануне петрова дня, дня именин императора, шемахинский хан отправил своих людей, чтобы те окружили дом посла и стреляли по русским? Те отвечали пальбой так, что персы бежали, пятеро из них были убиты, один ранен. Хан тут же прислал посредников — мириться.

Фантасмагория эта продолжалась с разными перепадами почти год. Правда, раз Беневени заметил, что происходящее имеет вроде бы объяснение и вяжется со здравым смыслом. До Персии дошли сведения о новых русских победах над шведами, и близ персидского берега проплыла флотилия под российскими флагами, занесенная туда непогодой. На какое-то время чиновники, солдаты и сам хан изменились неузнаваемо. Они стали не просто приветливы и не просто дружелюбны, они заходились от лести. Это-то было бы понятно. Так они реагировали на силу.

В конце концов спустя почти год Беневени, а с ним и бухарский посол были отправлены в Тегеран. То, что увидел он при дворе, мало отличалось от виденного ранее. «Все министры, — сообщал Беневени царю, — генерально смотрят на свою прибыль и рассуждения об интересе государственном никакого не имеют. И такие лгуны, что удивительно: на едином моменте и слово дают и с божбою запираются».

Но при всех этих обстоятельствах, среди всех этих препон и препятствий Беневени оставался верен себе,

оставался разведчиком. Даже из своего почти годичного заточения у шемахинского хана он сумел регулярно посылать царю подробные военно-политические донесения. Попав ко двору шаха, Беневени не забыл ни своей миссии, ни своего призвания.

В Тегеране, в шахском дворце, он встретил турецкого посла, прибывшего с особыми поручениями. Само собой, ни с кем, кроме самого шаха и ближайших его людей, делиться этим посол был не должен. И уж тем более с Беневени, послом России.

Отношения Османской империи и России были в те времена отношениями соперничества и войн, перемежавшихся недолгими и непрочными перемириями. Но тем важнее было Беневени узнать, в чем заключались тайные поручения посла. «Я зело труждался доведаться комиссии Турецкого посла», — будет он писать царю Петру позднее.

Правда, было одно обстоятельство, которое несколько облегчило невозможную и невыполнимую, казалось бы, задачу — Беневени знал посла лично, бывал знаком с ним ранее, в бытность свою в Константинополе. И, самое главное, ему было известно, что был посол «человек зело к деньгам похотлив».

Но одно дело — знать об этой слабости, другое — исхитриться повязать его этой слабостью, взнудать и впрячь его в свою коляску. Беневени сумел это сделать. И, как оказалось, не напрасно. Почти все пункты, с которыми прибыл посол, были направлены против России. Некоторые из них касались торговли. Еще в царствование Алексея Михайловича был заключен договор, по которому персидский шелк шел через Каспийское море, на Астрахань. Это было убыточно для

Турции — прежде торговля эта шла через Смирну. Ныне же город этой пришел в упадок.

Посол должен был потребовать от шаха прекращения торговли шелком через Россию.

Кроме того, Порта вообще выговаривала Персии за уступчивость северному ее соседу, требуя более жесткого курса.

Давление это подкреплялось силой: Порта объявляла о своих притязаниях на тогдашнюю персидскую провинцию — Эриванскую область (нынешняя Армения). Подразумевалось, что притязания эти могли быть уменьшены или вообще забыты, если персидский лев обнажит свои клыки навстречу северному медведю.

Попытка давления на Персию была важнейшим военно-политическим ходом. То, что узнал Беневени, находясь в Тегеране, и сообщил царю, предопределило события, которые воспоследовали.

Покинуть Тегеран, однако, оказалось так же трудно, как и попасть в него. Снова потянулись недели и месяцы обещаний и обманов, заверений и новой лжи. Как и прежде, никто не говорил послу «нет». Все говорили «да», только «да», даже шах. Но по-прежнему никакими силами он не мог покинуть столицу и продолжить свое путешествие. Вместе с ним разделял его мытарства бухарский посол и его люди.

В инструкциях, ему данных, о после были особые слова: «с послом бывшим Бухарским искать доброй дружбы и конфиденции, також и из людей его, чтоб войтить тем с ним в дружбу и чрез их бы получать тамо всякие ведомости».

Если перевести этот пункт на профессиональный язык разведки, это было задание на вербовку.

Посол бухарский был человек пожилой, хотя далеко не старей, того возраста, когда увлечения молодости уж покидают человека, а безразличие старости еще не успело вступить в свои права. Из-за отсутствия более точного слова возраст этот почему-то называют зрелостью.

В Петербурге они почти не виделись, в Астрахани слишком заняты были сборами и отправкой. Но зато путешествие, вынужденное «сидение», в Шемахинском ханстве, а потом в Тегеране предоставили им избыточные возможности, чтобы лучше узнать друг друга. А если было бы то угодно судьбе, то и подружиться.

Как только представился случай, еще на корабле Беневени пригласил бухарца к себе в каюту. Ветер был попутный, шхуну покачивало так слабо, что дорожный серебряный кофейник, английской работы, стоявший на спиртовке и наполненный до краев, не плескался. Как всякий добрый мусульманин, посол не пил вина, что создавало некоторые трудности в общении с ним.

Беневени стал рассказывать ему, что чувствовал он, когда после Италии впервые оказался в этой стране. Посол слушал его внимательно, но, когда он замолчал, не сказал ничего. Тогда Беневени стал рассказывать ему об Италии, об апельсиновых рощах, что террасами спускаются к вечно синему морю, о Колизее и дворцах дождей.

Посол молчал.

Беневени удивился, рассердился, обиделся и замолчал тоже. Так они сидели довольно долго. Молчание тяготило Беневени, он не привык сидеть с собеседником молча, но решил выдержать. Пытка кончилась, когда по прошествии долгого времени посол стал наконец прощаться. Он благодарил Беневени за общество и просил завтра нанести ему ответный визит.

На другой день они сидели в каюте посла и молчали. Время от времени посол улыбался ему, что означало вежливость. Остро пахло чужими, пряными запахами. Самый длинный диалог произошел, когда Беневени спросил о Бухаре — какой, мол, город, велик ли?

— Обыкновенный, — отвечал посол. Но, почувствовав, что худо сказал о столице своего хана, добавил: — Большой.

— Больше Петербурга? Меньше?

— Больше. — Но, снова подумав, поправился: — А может, и меньше.

Утверждение, что его город больше Петербурга, могло обидеть гостя. Сказать же, что меньше, значило умалить достоинство своего хана и уронить себя.

Постепенно молчание перестало тяготить Беневени, Ему не хотелось даже уходить к себе, начинало казаться, что он стал находить в этом непонятное удовольствие. Когда потянулись долгие месяцы в Шемахине, они возобновили эти визиты друг к другу. Это было непривычное времяпрепровождение. Хотя они не сказали один другому и десятка слов, Беневени казалось, что он знает о своем спутнике все.

Возможно, психологически это была высокая степень близости. Во всяком случае, дальше этой черты отношения их не шли. Посол не пускался в обсуждение дел, не комментировал происходившее с ними. Когда Беневени говорил что-нибудь, он вежливо улыбался или кивал. Когда им мешали уехать — сначала шемахинский хан, а потом шах, — он всем видом своим давал понять, что разделяет негодование Беневени, его отчаяние и обиду. Сам же не прилагал ни малейших усилий, чтобы добиваться изменения их участи.

Было ли это усталостью от жизни, или традиционным восточным фатализмом, или бухарец знал и чувствовал что-то в судьбе, чего не знал и не чувствовал он, Беневени, европеец?

«То, что должно случиться, должно случиться и тщетно пытаться отсрочить его приход» — так писал поэт, и так многие на Востоке ощущали судьбу.

Когда наконец им было разрешено покинуть Тегеран в продолжить свое путешествие, было уже лето. Беневени и его посольство прибыли в Бухару только в конце 1721 года, проведя в дороге пять месяцев. Всего же путь из Астрахани до Бухары занял два с половиной года.

Верст за десять от Бухары посольство ожидала торжественная встреча: целая кавалькада придворных в шелковых китайских халатах, расшитых золотом. Посольство было с почетом препровождено в отведенную для него резиденцию.

За несколько дней до приема старший евнух, любимец хана, уточнил с Беневени ритуал аудиенции — как входить, как кланяться, когда и на какое место

садиться. В деталях была согласована речь, которую он собирался прочесть в ответ на приветствие хана.

В обширном зале приемов, на возвышенности, окруженный ближайшими людьми, хан торжественно принял посла российского императора. Не просто должен был подать ему Беневени грамоту царя, а войти, держа ее на голове обеими руками. И не просто принять надлежало ее хану, а возложив на нее руку, что означало величайшее внимание и почтительность.

Шелковый расшитый халат переливался на хане, а зеленая чалма означала, что он совершил хаджж — паломничество в Мекку. Борода и брови хана были окрашены хной, как принято при персидском дворе. Движения его были уверенны, а голос звучал властно. Выдавали хана только глаза. Извечная, беспрестанная тревога таилась в них.

Чего постоянно боялся хан Великой Бухары? Хивинских набегов? Персов? Коканда, который постоянно тревожил ханство с востока? А может, хан смертельно боялся беков, тех самых вельмож, что уверенно восседали по левую и правую его стороны?

На речь посла, который зачитал ее по-турецки, хан отвечал по-русски: «Хорошо, изрядно».

Так началось трехлетнее пребывание Беневени в Бухаре.

Начало этого пребывания, казалось, было благоприятно. Продолжение оказалось мучительно. Что же касается завершения и шанса вернуться, то до этого Беневени предстояло еще дожить.

Дом, предоставленный послу, был просторен, а сад тенист и прохладен. Какие-то нищие постоянно сидели в

тени ворот, и прохожие отдыхали под сенью ближайшего дерева. Если послу приходила мысль выйти за ворота и пройтись по улице, за ним всегда следовала тень. Если он выезжал куда-нибудь верхом, из соседнего переулка появлялся всадник и следовал за ним на почтительном расстоянии. Одарив любимца хана, старшего евнуха, Беневени осведомился у него о странном этом порядке.

— Господин, — отвечал евнух, лицо и голова которого были похожи на черепаши, — благородный и щедрый господин Я, жалкий раб великого хана, не могу ведать о таких делах. Но полагаю, что если кому и приказано сопровождать неприметным образом выезды господина посла, то делается это ради его же блага и безопасности. Благородный и великодушный хан не хочет обременять господина посла навязчивым вниманием своих слуг. Благодеяния его не назойливы, а милости не явны...

Правда, люди посла были вроде бы свободны от такого сопровождения. Но кто бы мог сказать точно?

Пока Беневени был поглощен своими посольскими обязанностями, визитами к хану, приемами, одариванием ханских любимцев и вельмож, люди его, чтобы не томиться от безделья, занялись кто чем мог. Казачий сотник стал промышлять торговлей при большом бухарском базаре, интересуясь заодно, какие товары есть и каковы цены в других городах ханства. А также сколько дней пути в эти города.

Другие обнаружили в себе, не без помощи Беневени, величайшую склонность к рыболовству и целые дни проводили за этим занятием на Зеравшане. Потом стали ездить к Амударье. То ли плохо клевала рыба, то ли искали они каких-то особо удачных мест, но

рыбаки не оставались подолгу на одном месте, добираясь порой до самых отдаленных берегов и притоков. И только Беневени да сами рыболовы знали, с каким уловом возвращались они всякий раз: в небольших мешочках, на всякий случай заранее спрятанных в одежде, были образцы песка, взятого в разных местах реки. В беловатом, крупном речном песке мелькали желтые искорки золота. Потом образцы эти с надежным человеком Беневени тайно переправит в Россию, в Петербург.

«Доношу, — писал он царю, — что Аму-Дарья начало свое имеет не из золотых руд, но в нее впадает река Гиокча, из которой входит золотой песок в Аму-Дарью. Последняя река вытекает из гор, богатых рудами, близь Бадахшана. При ее верховьях тамошние жители находят в горах крупные зерна золота, особенно в летнее время...»

В отличие от других своих писем это Беневени писал шифром, или «цифирью», как называли это тогда.

В горах же тех, продолжал Беневени, «золото и серебро искать заказано и непрестанно в таких местах караул держат». В других местах, о которых разведаль посланец и его люди, были залежи меди, квасцов, свинца и «железа самого доброго». В Шеджелильских же горах, писал он, находятся серебряные руды. Но, как и бадахшанское золото, серебро в этих горах за семью печатями. «Я-то прежде слышал от Татаров, — продолжал посланец, — а потом подтверждение имел от одного плененного, старого Русака, который мне яко презентитесте сказывал, что при Аран Хане Хавинском (тому будет тридцать лет) один Кизильбаш Хану донес, что в таких горах серебро и оно много достати можно;

чего ради хан, определяя работников, послал одного немедленно такое серебро искать, и с невеликим трудом сыскано и Хану на образец большой кусок камня прислано, из которого при пробе больше половины серебра вышло; что услуша Озбеки большие, собравшись, и вдруг к Хану приступили, представляя ему, что такое серебро не только вынимать не надлежно, но про него ниже человеку дати ведать не довелось, ибо могут с того легко войну с соседями нажить. Чего ради Хан того ж часу велел сысканную руду по-прежнему зарыть и одного рудокопца живого в землю закопать».

Узнав о таком эпизоде, Беневени, понятно, должен был стать еще осторожнее. «Озбеки большие», то есть узбекские предводители и беки, рассудили, с точки зрения своих интересов, разумно — если бы о серебре или золотоносных рудах узнали в Персии или Китае, Бухаре не миновать бы нашествия. Вот почему информация эта не должна была уйти за пределы ханства. Рудознатец же, думавший заслужить милость хана, поплатился за это жизнью. Жизнью же должен поплатиться за это и всякий, будь то сам посол или кто из его людей, если он захотел бы приблизиться к этой тайне, узнать о ней, передать в свою страну.

Если хотя бы тень подозрения пала на посла, он в все, кто прибыл с ним, были обречены. Ни хана, ни его беков, людей в парадных одеждах, с непроницаемыми и надменными лицами, невозможно было бы убедить, что Россия не собирается ни нападать, ни отнимать у них эти земли. Они не могли бы поверить этому, потому что это лежало бы вне привычных и понятных им действий. Если сильный может взять, то сильный всегда берет. За Россией же была сила, это они знали.

В инструкции, составленной послу при отъезде, содержался особый пункт — можно ли в то место, где имеется золото, доставить людей и «не будет ли то противно Бухарцам?». Иными словами, не нарушит ли суверенитет бухарского ханства приезд людей из России и шведских специалистов, припасенных для этого случая? Вот почему так подробно старался разузнать Беневени и сообщить царю, что Балх, где есть в горах золото, отложился от Бухары, независим и имеет своего хана.

«Не будет ли то противно бухарцам?» — об этом думали в Петербурге. Пока сведения получаемы от других, это информация из вторых рук. Если не сам Беневени, то кто-то из его людей должен побывать в местах, где есть золото. Кто? Рыболовам в горах делать нечего. Значит, отправиться должен кто-то из людей торговых.

Казачий сотник, что приторговывал при бухарском базаре, постепенно расширял круг своей деятельности. С попутным караваном побывал он в Газли, недалеко от столицы. Через месяц-другой отправляется в Самарканд. И только на третий или четвертый раз решил он направиться в сторону Бадахшана.

Много важного и интересного удалось разведать сотнику во время этих его поездок и про золото, и по торговым делам. В Балхе и Бадахшане на базарах встретил он кое-какие российские товары. Видел он там и другое — английские изделия, сукна. Это были первые знаки, первые гости из далекой Англии в тех краях. Казачий сотник, вернее, купец, а еще точнее — разведчик, побывавший там со своими товарами и приказчиком, заметил это и особо оговорил в своем

донесении. Следом за английскими товарами должны появиться сами купцы. И не только они.

Пройдет не так много времени, и во дворцах среднеазиатских эмиров, на улицах городов и базарах появятся новые фигуры. Обычно это люди, свободно говорящие на местных языках, нередко принимающие обличье местных жителей, хотя военная выправка и выдает их. Но они появятся позднее, и вступить с ними в схватку предстоит уже не Беневени и не его казачьему сотнику, а тем, кто сменит их потом в восточных делах русской секретной службы.

С донесением о золоте Беневени отправил в Россию самого сотника, оговорив в письме, что сотник тот «везде верную свою службу со особливою смелостью оказал, ибо я его в некоторые дела употреблял и в разные места про золото проведывать посылал».

Отправляя гонца, Беневени не был уверен, доберется ли тот до родины. Курьер, отправленный к нему из Астрахани, был убит по дороге. Другой, следовавший из Бухары, пропал бесследно. В Хиве, что лежала на пути всем торговым людям, ехавшим в Астрахань или обратно, учиняли доскональнейший обыск, ища скрытых писем.

Такой обыск был делом неслыханным и ни в каких землях не принятым. Когда очередной караван прибыл в Хиву, никто из ехавших не возмущался этим более, чем грек Дементий, купец и турецкий подданный, следовавший из Бухары на Астрахань и далее к себе в турецкие земли.

— Меня в Константинополе знают! Во дворце его величества султана, вот где принимают мой товар! Я

расскажу там о здешних делах. Ни один купец не захочет ехать сюда!

Грек так горячился, так был возмущен, что чиновники решили оставить его в покое. Ведь если и правда из Константинополя придет жалоба на имя хана, виноваты окажутся они, хотя делают это по ханской воле. И им, а не кому-нибудь, не сносить тогда головы.

Отпущенный ими без обыска грек, уплатив положенные пошлинные деньги, следил, как работники укладывали тюки на верблюдов, когда к чиновникам приблизился один из грузчиков, верзила в грязном синем халате и таком же платке, обмотанном вокруг головы. Был человек тот силы великой и работал по найму на погрузке разных товаров. Сам же он был из русских, из числа тех немногих, кто, приняв ислам, избавился этой ценою от рабства. Он зашептал что-то главному, указывая глазами на грека, и главный слушал его, несколько отодвинувшись брезгливо.

— Как мусульманин мусульманину говорю, эфенди. Не простой человек этот грек. От царского посла он. Я в Бухаре вместе их видел! Вели взять его, вели вязать! Пускай его попытают!

Поймав на лету мелкую монету, он отбежал в сторону, как делает собака, схватив кость. А потом, выглядывая из-за угла навеса, смотрел злорадно, как с двух сторон приблизились к греку туркменские солдаты, как схватили его и спутников, бывших с ним, и поволокли, чтобы отдать страже и посадить под замок.

В каменной башне, куда бросили их, Дементий продолжал возмущаться. Но двое других купцов и приказчики, бывшие с ними, молчали и смотрели на него исподлобья. Это он виноват, что схватили их, из-за него

все. Пришлось объяснить им кое-что. Пришлось сказать, что если и правда решат, будто отправлен он от посла, то остальным тоже не жить. Потому что вместе путь их из Бухары на Астрахань — заодно они, значит. Нужно вместе держаться и на одном стоять. Торговые люди, мол, они и подданные его величества султана. Лучше бы, конечно, если б они могли назваться персидскими подданными. Персии здесь боятся. Но зато и обнаружить обман было бы легче. Так, порешив стоять на одном, провели они ночь в темнице, не ведая, что принесет им завтрашний день.

Утром загремели ключи, отворилась дверь, стража повела их не куда-нибудь, а во дворец. И допрашивать их взялся не кто-нибудь, а сам Ширгазы, хан хивинский. Одно повторял хан: признайтесь, какой злодейский умысел велел русский посол передать своим в Астрахани. Может, бумаги какие или письмо. Под пыткой все равно скажете. Лучше так говорите!

Но чем больше пугал их хан, чем больше был страх перед пыткой, тем тверже стояли они на своем. Отрицать все было единственным их спасением. Да и в чем было виниться?

Пытать их не решались. Нельзя пытать подданных другого государя, не доказав их преступления. Они же упорно отрицали всякую свою вину. Семь ночей держали их в каменной башне. Семь дней водили на допрос. Уж и палач был призван, и мастера пыточных дел. Только махнуть рукой хивинскому хану, и отдадут их палачу и отведут в подземелье, что у Черных ворот.

Не махнул рукой хан. Через семь дней стража вывела их из темницы, отвела в караван-сарай и ушла. Они не сразу поняли, что это значит, и не сразу

поверили. А, едва поверив, поспешили к своим товарам. Все было на месте, все было в порядке, кормлены и поены кони и верблюды. Ничто не мешало им отправиться в путь хоть сегодня.

И они отправились не мешкая. Правда, можно было подождать большого каравана, который должен был идти дня через два. Но никто не хотел оставаться в Хиве ни часа.

Только когда они отошли достаточно далеко от города, поверили окончательно, что смерть минула их. Но беда все-таки шла за ними следом. На четвертый день в степи нагнали их каракалпаки и отняли все товары. Сколь ни прискорбен был тот убыток, после пережитого они старались не роптать. Тем паче что нападавшим и убить их ничего бы не стоило. Или увести в плен, чтобы выгодно продать в рабство. Те же хивинцы купили бы их. Не сделали этого каракалпаки. Даже коней не отняли. Оставили им жизнь и позволили идти своим путем. Дай им бог, этим степным разбойникам!

После всего, что было пережито, путешествие по морю на русской торговой шхуне воспринималось уже как конец путешествия, как счастливое его завершение.

В Астрахани, пока спутники его рядились на гостином дворе о кредите, дабы поправить дела, Дементий, узнав, где дом господина губернатора, поспешил туда. Там, явившись пред самым лицом губернатора, велел слугам снять и принести седло со своего коня и вспороть его. Оттуда вынул он тряпицу, а в ней письма на имя государя и Петра Шафирова, подканцлера. Потом же, оставшись с господином губернатором наедине, долго говорили о чем-то.

— А скажи-ка, как ты мыслишь, — допытывался у купца губернатор, — хан хивинский своей ли волей против российской стороны такой афронт держит? Или персы его к тому понуждают?

Но Дементий не был разведчик. Был он купец, иногда — курьер для тайных поручений. Поэтому отвечал он так:

— Когда человеку рубят голову, ваше превосходительство, какая ему разница — тот, кто рубит, творит ли это по своей воле или по приказу? Так и с ханом хивинским. По своей воле или нет держал он нас и лютой казнью грозился, о том мы не помышляли.

В отличие от купца Дементия государственным людям Российской империи знать это представлялось весьма важным. Независим ли в своих действиях хивинский хан? Независим ли хан бухарский?

За годы, проведенные в Бухаре, Беневени убедился, что хан во всем, что он делает, оглядывается на беков, стоящих у его стремени. «До сих пор, — писал он царю, — я не имел случая переговорить с Ханом; только говорил с ним на гулянье за городом, куда нарочно он приглашал с собою; но и то при людях. Я знаю наверное, что он желает со мною наедине повидаться; но не знает, как бы это сделать, чтобы Узбеки не узнали. При Хане есть любимый евнух, у которого в руках все управление; подарками я его подкупил, и он меня поддерживает».

— Достопочтенный Ибрагим-бей, — говорил Беневени евнуху в своей резиденции, куда пригласил его, дабы никто не мог их слышать. — Ценя ваше высокое расположение к делам моего государя, хочу просить при случае поговорить со светлейшим ханом о торговом договоре с Россией. Пусть бухарские и

российские купцы ездят безбоязненно и беспошлинно. От этого великая выгода обеим сторонам будет. И само собой, те, кто содействовал этому, забыты никак не будут.

Евнух наклонял голову в тюбетейке, расшитой камешками ляпис-лазури и золотом, и молчал, поглаживая одна о другую свои мягкие, женственные руки. Тогда посол «вспомнил» о дарах, приготовленных для него, и велел казаку, чтобы принес. Входил казак, чубатый, в малиновой рубахе с кистями и сапогах, словно и не было никакой Бухары, а сидели они где-нибудь в Оренбурге или Саратове. Но выходил он, оставив ящик с дарами, ступая бесшумно по высоким коврам, и Бухара снова вступала в свои права. Евнух долго разглядывал парчу, смотрел на свет, дул в меха и прикладывал к щеке, проверяя, мягкие ли. И, только утешив душу и налюбовавшись, продолжал разговор, продолжал с того же слова, с той фразы, на которой прервался.

— При случае и благорасположении обстоятельств я буду говорить со светлейшим ханом о торговых делах. Светлейший хан на сердце носит заботы своих подданных и не преминет во благовремение утешить их.

— Есть еще одно дело, достопочтеннейший Ибрагим-бей. У Бухары, как и у России, есть враги. Высокочтимый хан мог бы в лице российского императора обрести великую опору и непобедимый меч для сокрушения своих врагов. Военный союз — вот что нужно нашим странам. Если кто-нибудь нападет на бухарское ханство или изнутри вздумает угрожать власти великого хана, российское войско по его просьбе придет ему на помощь. Зная это, ни один враг не посмеет посягнуть на священные пределы ханства.

Но евнух словно не слышал его. Он разглядывал перстни на коротких розовых своих пальцах и любовался игрой камней.

Беневени не собирался сегодня дарить ему еще что-то и пожалел, что не догадался заранее разделить дары на две части, сообразно двум частям разговора. Пришлось выйти и распорядиться. Снова вошел казак, неся новые подарки. Снова евнух долго разбирал их, рассматривал и любовался. После чего, однако, опять стал разглядывать свои перстни и то, как играют камни. Подарки он принял, но говорить с ханом об этом деле не стал. Не хотел или не мог.

Военный союз делал бы ханство независимым от Персии, позволил бы не бояться вторжения персидских войск, происков Хивы и Коканда. Но беки, держащие руку Персии, а главное, Муса-бек, что стоял по левую сторону от ханского трона, не дадут хану заключить этот союз. Если же хан и попытался бы совершить это, волею шаха и послушных ему беков дни строптивного хана были бы сочтены. А новому хану не нужен будет бывший евнух прежнего хана. Если ему и удастся избежать заведомо прискорбной участи своего хозяина, безвестие, забытие и отсутствие почестей станут его уделом.

Неужели русский посол не понимает этого?

Неужели он думает, что кто-нибудь станет поступать себе на погибель?

Полюбовавшись еще какое-то время затейливой игрой камней, евнух повторил, что постарается сказать хану о торговом договоре, и стал прощаться.

Беневени не оставлял надежды поговорить обо всем этом с ханом сам. Поговорить с глазу на глаз. Если евнух

не может (или боится) помочь ему в этом, есть другие люди. Есть сестра хана, есть нянька, которой хан доверяет. Посол передает им подарки, располагает к себе, покупает доверие и приязнь. Но хан колеблется, хан боится. Купленный персами Муса-бек может так же купить и его сестру и няньку. И кто знает, не передают ли они ему каждое слово посла, каждое слово хана?

В день, когда Беневени праздновал день именин царя, хан ночью без свиты, один явился к нему и, видно, хотел говорить без свидетелей. Но увидел, что у посла в гостях были беки, и не решился. Однако сделал величественное лицо и поздравил с праздником. У самого же в глазах был все тот же страх — не сочтут ли беки, будто у него какие-то тайные дела с послом, не усмотрят ли в том опасности себе или Персии?

Летом 1722 года начался Персидский поход русских войск. Муса-бек и другие, что тайно старались вредить послу, притворились. Когда же стало известно о взятии Дербента, Решта, Баку, приуныли на глазах или, как принято было говорить в Бухаре, червь печали поселился в их сердце. Правда, они пытались несколько развеять эту печаль и обрести утешение, оказывая всяческие неискренние и запоздалые знаки внимания российскому послу.

В эти же дни неожиданный посланец посетил Беневени. Это был гонец от хивинского хана. Хан писал, что радуется победам русского войска. Хан сожалеет, что на его земле по недоразумению оказался убит русский посланник и пострадали его люди. У хана нет лучшего утешения, как надеяться, что, возвращаясь обратно, господин посол согласится следовать через Хиву. Это кратчайший, да к тому же и наиболее безопасный путь.

Так писал хивинский хан российскому послу Флорио Беневени, когда русские войска вступили в пределы Персии и дальнейшие их планы не были никому известны.

Беневени же, выполнив свою миссию как разведчик, сделав все, что он мог как дипломат, действительно помышлял о том, чтобы вернуться обратно. Тем более что начавшиеся междоусобицы и смуты делали его пребывание и вовсе бессмысленным.

Наконец от государя было получено разрешение на отъезд, и он стал говорить об этом с ханом. Хан отвечал уклончиво. Хан ждал, что скажут об этом беки. Беки же, и даже Муса-бек, сами не знали, что сказать. В Персии царил разлад и смуты, и, хотя содержание выплачивалось им по-прежнему, в Тегеране тоже не ведали, что надлежит делать: по-прежнему бороться ли с русскими, или, может, искать в них союзников хотя бы против Османской империи? Неопределенность персидских дел породила такую же неопределенность в Бухаре.

«Сколько ни старался об отпуске моем, никакого решения получить не мог, — доносил посол. — Только обманывают под разными предлогами и проводят, постоянно обнадеживая... После того, когда уже все, что имел, роздал на подарки здешним министрам, упрашивая непрерывно, чтобы меня отпустили, я получил от Хана конжед-авдиенцию; он вручил мне грамоту; но отпустил меня только на словах. Хотя Хан приказал во всем меня удовлетворить и, как можно скорее, отправить с конвоем до Персидской границы, но его министр ничего не исполнил...»

Ситуация, ставшая знакомой еще по Персии.

Только через полгода, после невероятных усилий Беневени удалось в конце концов выехать из Бухары.

Накануне заглянул к нему бывший посол бухарский в Петербурге, Пришел проститься. Они почти не виделись в Бухаре. «То, что должно случиться, должно случиться, и тщетно пытаться отсрочить его приход», — посол по-прежнему через эту формулу ощущал жизнь и судьбу. Но на этот раз он не был уверен, что у переправы через Амударью с Беневени должно случиться именно то, что замыслил Муса-бек. Поэтому он сказал Беневени, что хочет полюбоваться цветами его сада. На языке, который Беневени научился понимать, это означало приглашение к конфиденциальному разговору. И действительно, выйдя в сад, посол шепнул ему несколько слов и, словно испугавшись, что пошел не только против всемогущего Муса-бека, но и, возможно, против судьбы, стал прощаться.

Они не говорили «до свидания» друг другу. Они знали, что не увидятся никогда, даже если Беневени удастся избежать гибели и обойти смертельные ловушки, уготованные на его пути.

Несмотря на то что стало ему открыто, Беневени не мог уже ни отсрочить столь давно ожидаемый отъезд, ни изменить маршрут. Он не стал делать это еще по одной причине. Приход посла, что это — действительно предостережение друга? Или предательский, тонкий ход все того же Муса-бека, чтобы задержать его в Бухаре? Только выйдя в Амударье на переправу, будет он знать правду. Но тогда может оказаться уже поздно. Наверняка поздно. А может, и правда, существует судьба и того, что должно случиться, нельзя избежать? Проведя в Бухаре

три года, человек невольно начинает смотреть на вещи иначе, чем смотрел до тех пор.

Когда посольство приблизилось к городу Чикчи, что лежал на пути и был в десяти верстах от переправы, несколько бухарцев, приставленных к каравану, сказали, что им нужно ехать далее. Беневени догадался, куда спешили они. Очевидно, посол сказал правду. «Оные шпионы, — писал он потом, — вперед уехали ко Туркменам ведомость об нас подати; и то учинилось пред полудни». А после полудня начался проливной дождь, который задержал посольство в Чикчи на целые сутки. Это и была та самая рука судьбы, в которую так верил бывший посол бухарский. За это время Беневени получил точные данные — у переправы их ждала банда местных кочевников. Они должны были налететь, когда половина посольства переправится, а другая будет еще на той стороне реки.

Конечно, это был более продуманный ход, чем то, что совершил Ширгазы, хан хивинский. Убить посольство в пути, чужими руками — в этом случае двор бухарский и сам хан оставались в стороне. Тем более что они могли бы сказать, что и их люди погибли при этом. Что, впрочем, было бы правдой.

Но, очевидно, Беневени стало бы известно о том, что готовилось, даже если бы посол бухарский не сказал ему об этом. Разведчик не зря провел здесь три долгих года. У него были люди, узнававшие тайные вести и сообщавшие ему о многом. В течение дня, когда посольство было в Чикчи, ему «ведомость подал один друг» о большом отряде, секретно посланном из Бухары, чтобы перехватить русских, если им удастся избежать засады у переправы.

В этой ситуации оставалось одно — вернуться в Бухару.

Отсюда, из Бухары, Беневени пишет последнее свое письмо царю. Доберутся ли они до русских крепостей, что у Каспия, неизвестно. Письмо же, посланное через верных людей, должно дойти. И вести, которые он сообщает о судьбе посольства и о делах бухарских, эти вести должны будут достичь царя. Пишет он о разорении, замешательстве и бунте, которые переживала Бухара в те дни. Пишет о своеволии беков. А также о краске для шелка, секретом которой владеют бухарцы. Сам же народ бухарский, пишет посол, «люди обходительные».

Кроме того, еще одну важную весть подает он в Россию в последнем своем письме. Причина всех их бед, а возможно, и будущей гибели посольства — житель «города Таскента из Туркестанской орды, именем Хаджи-Раим». Доносчик и ябеда, он подал хану письмо, в котором писал, что курьеры, мол, «которые к нему, Флорию, посылаются, шпионы и ездят под именем купечества и осматривают земли Бухарские, Хивинския и Туркестанския». Хан дал ему копию того доноса «на ориентальном языке». Сделал же хан это тайно от Муса-бека и других, потому что по-прежнему ласков к нему. Хан же сказал ему, что доносчика того можно схватить в Уфе или Тобольске, где он «имеет купечество».

Просил же он также у государя императора прислать ему грамоту для шаха персидского, чтобы дал тот ему в пути охрану от разбойников и пропустил бы через свои земли.

Но ответа и царской грамоты получить ему не пришлось.

Поняв, что не удалось погубить посольство в дороге, Муса-бек и другие, кто держал персидскую сторону, потребовали от хана: посла «потерять и ограбить, а людей всех в полон взять». На тайном совете только ближний министр защитил его, говоря, что посла как гостя должно проводить с честью до персидской границы. Не потому говорил это, что Беневени задобрил его или подкупил подарками, а потому, что, живя в жестокий и вероломный век, не любил жестокость и избегал вероломства. И такие люди были в то время, хотя век их и был недолог.

Но сколько сможет хан противостоять воле беков, которые сильнее его?

В первых числах апреля из городских ворот Бухары вышел татарин, ведя за собой четырех верблюдов. У ближайшего колодца он наполнил водой бурдюки из толстой ослиной кожи, погрузил их на верблюдов и отправился дальше по дороге, что вела на Хиву. Солнце светило ему в лицо, он ехал на первом верблюде, ведя за собой остальных, пока Бухара не скрылась за горизонтом.

Соглядатаи доносили Муса-беку, что российский посол совсем отчаялся, видно. Сам он и люди его все больше сидят дома и на улице почти не показываются. Приходил к нему только русский купец один, да и тот скоро ушел.

Не ведал Муса-бек и осведомители, что этот день был последним днем русского посла в Бухаре. В полночь он сам и часть людей, бывших с ним, выбрались по одному через боковую калитку сада. На дальней окраине,

за бахчами их ждали уже казаки с оседланными конями. Когда луна зашла, двадцать восемь всадников поскакали от города в сторону Хивы.

Был уже день, когда они достигли наконец степи и нагнали своего водовоза. Три бесконечных дня безводною степью ехали они еще после этого, прежде чем вышли к первому колодцу.

Иного пути, кроме Хивы, в Россию не было. Перед ними лежала раскаленная степь, пустыня и путь в Хиву. Но в Хиве убили Бековича и казнили его людей. Что ждало их?

Русское посольство было встречено за две версты от города. Посла поздравили с приездом. Отметив, что он в дорожном платье и в бороде, просили переодеться для чести хана. Беневени был уже «во французском платье», когда при въезде в город его встретил любимец хана Достум-бей. При европейских дворах таких любимцев называли «фавориты», часто добавляя к этому слово «всесильный». Достум-бей был всесилен. Беневени понимал это. Человек этот, писал он в дневнике, «имеет значение более самого хана; его трепещет вся страна».

— Мы приглашали тебя ехать на Хиву, — сказал ему Достум-бей при встрече. — Почему же ты медлил? Может, ты не верил нашим словам?

— Я верил обещаниям твоим и хана, — так отвечал Беневени. — Не ехал же долго по многим причинам. Самовольно, без указа государя ехать я не мог. Гонец же, который вез его письмо, был убит дорогой. Во-вторых, я опасался бухарского хана, который враг Хивы. Он постоянно пугал меня судьбою князя Бековича. Я же искал тому удобный случай и вот прибыл сюда, потому

что всегда считал дорогу на Хиву безопаснее, выгоднее и почетнее.

— В каком смысле ты считал дорогу на Хиву для себя почетнее?

— Я долго и почти бесполезно прожил в Бухаре. Со мной обходились дурно, несмотря на многие мои подарки и подношения. Я надеюсь, что здесь хан примет меня с должной честью, что будет для общей пользы, чтобы утвердить святой мир между нашими народами.

Персидский поход только что завершился, и гром русского оружия висел еще в воздухе. Поэтому слова о мире понравились всецельному любимцу хана. Приятно была слышать ему и упрек в адрес Бухары, с которой Хива пребывала в беспрестанных военных стычках.

— Хан соизволит принять тебя на днях, посол, — сказал он. — А пока приготовь подарки для светлейшего хана, для меня и восьми беков.

Беневени распаковал то немногое, что осталось, что сумели захватить с собой в далекий и трудный путь: пару черно-бурых лисиц, серебряные часы и кофейник английской работы, тот самый, что был с ним все эти годы, дюжину фарфоровых чашек, шесть кусков позумента, зеркало с рамкою из янтаря. Достум-бей осмотрел подарки, поджал тонкие губы и в ярости молча вышел из комнаты.

— Он думает отделаться столь ничтожными дарами! — возмущался он во дворе, садясь на коня. — Бухарцев дарить умел! А отсюда хочет уехать даром!

Начались переговоры через посредников и третьих лиц.

— Я желаю добра послу, — говорил Достум-бей раздраженно. — Я желаю добра. Пусть посол к своим подаркам добавит серебряные пояса, которые могут доставить из Бухары, а здесь, в Хиве, пусть купит сукна. Я же выберу двух из его коней, что пойдут в подарок его величеству, хану хивинскому.

Когда купцы принесли сукно, всемогущий человек и любимец хана велел тайно отнести его к себе и отмерил там кусок себе на кафтан.

У Беневени не было выбора. Участь князя стояла у него перед глазами. Должно было снести все вымогательства, всю алчность и всю ложь. Его люди и он сам должны вернуться в Россию.

Наконец хан Ширгазы принял подарки и согласился на аудиенцию. Казначей Досим-бей, погубивший в свое время князя Бековича, сидел по левую руку хана. Он улыбался и кивал послу. Он знал — этот не уйдет тоже. Во всяком случае, уйдет недалеко. Незачем убивать его перед шатром хана, если это может быть сделано в пустыне. Незачем делать это ханским воинам, среди бродячих кочевников всегда есть охотники такого рода дел. Они уже знают. Они ждут только знака. И он, казначей Досим-бей, когда будет надо, подаст им этот знак.

Поэтому казначей был особенно ласков с послом, был участлив с ним и любезен. Более того, он был искренен в этой любви и ласке.

Так скрипач любит свою скрипку, а садовник — розы. Казначей вовсе не ненавидел Беневени, как не ненавидел он и князя. Можно ли ненавидеть людей,

благодаря которым поднимаешься в собственных глазах, глазах хана, а главное — персидского двора?

— Пусть скажет нам господин посол, какая страна нравится ему больше, Бухара или Хива? — Это был шуточный вопрос, но Беневени почувствовал в ханских словах ловушку. В чем ловушка, этого он не знал. Естественно, все ожидают, что он скажет, что Хива ему нравится, в Бухара — нет. Вопрос рассчитан на этот ответ. Значит, этого-то ответа он я не должен дать.

— Обе хороши, — отвечал он, — но летом так жарко! Для меня этот климат вреден, лучше уж русские холода.

— Но, говорят, Бухара богата, — продолжал хан, — говорят, в ней находят золото.

Теперь он видел ловушку, ясно видел открытую ее дверцу, железное жало, пасть. Главное было — не переиграть, не сфальшивить. Беневени ответил, смеясь, словно усмотрел в том вопросе шутку и оценил ее:

— Если бы в Бухаре было золото, оно было бы там дешево. А в России оно дешевле. Разве не значит это, что Россия изобильнее золотом?

Хан вскинул выщипанные, крашенные персидской хной брови и стал расспрашивать, где и как добывается в России золото. Разговор перешел в другое русло. Ловушка не захлопнулась, открытая пасть ее осталась позади. Но нужно было помнить о ней, чтобы не попасть в нее случайно, забыв и оступившись.

Через несколько дней один из беков говорил Беневени, как понравился Ширгазы весь его разговор и то, как отвечал посол на вопросы. Особенно, когда посол объяснял им действие боевых бомб и гранат. «Если у

русских есть такое оружие, они непобедимы» — так сказал будто бы хан после ухода посла. И еще одну вещь сказал он, доверительно передал ему бек. «Дай бог, — сказал хан, — чтобы он действительно не знал о золоте, что водится в наших странах». Передав эти слова, бек понимающе подмигнул Беневени.

Беневени не мог не улыбнуться столь наивной, столь откровенной хитрости. О каком золоте идет речь? — удивился он. Это все сказки для малых детей. Здесь, правда, есть настоящее золото, хотя ни хивинцы, ни бухарцы, кажется, не ценят этого.

— Я захватил с собой прекрасные образцы. Угодно ли будет достопочтенному беку взглянуть?

У бека от волнения и нетерпения ладони стали влажными.

Беневени вынул мешочек и высыпал на ладонь продолговатые крупные семена. Это были семена хивинских и бухарских дынь.

— Вот настоящее золото. Если не удастся вырастить их в России, я пошлю несколько семечек к себе в Италию.

Бек был разочарован и сопел сердито. Беневени, естественно, сделал вид, что не заметил его огорчения, и стал угощать гостя.

Убедил ли этот разговор Ширгазы?

Через пару недель при хане состоялся тайный совет, на котором решалась участь посла. Давно ли такой же совет был при бухарском хане? Как и там, раздавались голоса — не отпускать Беневени. В отличие от бухарского хана Ширгазы был согласен с ними.

— Он слишком много знает о нашей стране, — сказал хан.

Но казначей почтительно возразил хану. Посла можно и отпустить. Если он и узнал что секретное, то давно мог сообщить об этом через купцов в письмах своему царю. Пусть посол будет отпущен с почетом.

Хан удивился этим речам, но не подал вида. Если человек шаха заступает за посла, это весьма неспроста. Видно, поражение, что русские нанесли персам, заставило их считаться с Россией и бояться ее. Так понял эти слова хан, так он воспринял их. Но, если Персия не хочет сердить Россию, Хиве тем паче не следует делать этого.

— Я считаю, — сказал Ширгазы без всякой, казалось бы, связи с предыдущим, — что нам тоже надо отправить посольство к царю. Лучше всего, если оба посла выедут вместе.

Если бы казначей умел скрипеть зубами от ярости, наверное, он скрипнул бы ими в ту минуту.

Ширгазы все реже прибегал к его советам. А последнее время, казалось, стал забывать о нем совсем. В словах баев, обращенных к нему, вместо недавнего раболепия и лести стали проскальзывать если и не пренебрежение, то некая готовность к этому. Поражение Персии обернулось его унижением. Но не падением же, не немилостью? На всякий случай он стал хвалить дальновидность хана, принявшего столь мудрое решение об отправлении посольства. Любимец хана Достум-бей при этих словах чуть усмехнулся презрительно. И это заметили все.

Так Беневени получил надежного попутчика и конный эскорт, сопровождавший их вплоть до Гурьева-городка. 17 сентября 1725 года Флорио Беневени и люди, бывшие с ним, благополучно достигли Астрахани.

\* \* \*

Пятнадцать лет спустя в Хиве случилось быть поручику Оренбургского драгунского полка Дмитрию Гладышеву и геодезисту Муравину, сопровождавшему его. Они застали здесь бывших казаков и драгун из посольства князя Бековича-Черкасского. Все это время они были в рабстве и употреблялись для разных работ, весной же — для чистки сточных канав вокруг города. Это были немногие, кто уцелел и не был убит хивинцами. Когда-то они шли сюда с посольством, предлагавшим Хиве военный союз и дружбу.

Теперь у ворот Хивы стоял Надир-шах с огромным и беспощадным персидским войском.

Тогда-то хивинцы запоздало вспомнили о России. Поспешно привезли они в город и избрали ханом Абул-Хаира, киргизского хана, только за то, что был он российский подданный. Избрав его, столь же поспешно отправили письма шаху, что, мол, поскольку теперь они под властью подданного Российской империй и как бы осенены русским знаменем, то просят его пощадить их город. Для большей убедительности отвезти письмо шаху просили геодезиста Муравина — не столько из уважения к геодезии, сколько в силу его военного мундира, который должен был произвести впечатление на шаха.

Русский военный мундир и российское подданство хана были не тем, чем можно было бы пренебречь в то

время. Шах принял Муравина, обласкал его и обещал пощадить город.

Возможно, так и было бы, если бы через пару дней у нового хана не сдали нервы. Он бежал из Хивы, прихватив с собой вопреки их воле русских офицеров.

Беспомощный и беззащитный город стоял теперь лицом к лицу с многотысячным, известным своей бессмысленной жестокостью войском. Не так ли, беспомощный и беззащитный, стоял князь перед шатром хана, когда ханские воины наотмашь рубили его саблями? Те, кто некогда с холодным любопытством созерцал, как убивали беззащитного человека, смотрели теперь, как войско Надир-шаха надвигалось на их город. Оно шло медленно, не спеша, занимая всю степь до самого горизонта.

## **ГЛАВА VII**

### ***Миф о «русской угрозе». Английские агенты в Каракумах***

# ГЛАВА VII

*Миф о «русской угрозе»  
Английские агенты  
в Кара-Кумах*



Пожилые англичане и сейчас помнят слова: «Солнце никогда не заходит над Британской империей». Этот девиз они часто слышали в дни своей молодости. Его произносили их деды, повторяли отцы. Это было больше чем лозунг. Это был источник национальной гордости, повод к чувству исключительности и превосходства.

В то время, когда произносились эти слова, владения английской короны действительно лежали во всех частях света. Но имперские устремления не знают пределов.

Правда, устремлениям этим и политической экспансии всегда сопутствовал некий джентльменский набор аргументов: захват новых территорий необходим для торговли; подчинение других народов нужно для их же блага — во имя прогресса, развития и цивилизации, а также для распространения добрых нравов. С некоторых пор перечень этот пополнился еще одним аргументом: «русская угроза». Английской колонии, Индии, с севера угрожает якобы огромная и непонятная Россия.

Этот политический миф английские имперские круги использовали, чтобы обосновать собственное продвижение от индийских границ в Афганистан и государства Средней Азии.

И вот по улицам Кабула, по улицам Герата маршируют английские солдаты, а конные упряжки везут на север Афганистана горные пушки. Одновременно в соседних Хиве, Бухаре и Коканде проявляются английские «путешественники». Они очень любознательны и активны.

Но все эти игрища у дальних подступов границ России не застали ее врасплох.

## **В ЧАЛМЕ И ХАЛАТЕ**

Когда французская армия переходила Неман, начиная свой поход на Россию, Наполеон переправился одним из первых. Современники рассказывают: император, пришпорив коня, поскакал вперед через приграничный лес и долго мчался так совершенно один. Потом медленно вернулся и присоединился к остальной армии.

Только ли о России помышляя Наполеон в те минуты?

Так далеко, так бесконечно далеко от этого места и этого дня, в 1799 году в Сирии, при осаде крепости Акр, он доверительно говорил одному из своих приближенных:

— Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск? А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия!

Под зданием меркантильного величия император подразумевал уже тогда ненавистную ему Англию.

Забыл ли эти свои слова и планы Наполеон в 1812 году, переходя Неман? Очевидно, не только не забыл, но и намерен был воплотить их на деле.

Поход в Индию через побежденную и повергнутую Россию должен был явиться апофеозом не только этой войны, но всего его царствования. Не случайно в 1811—1812 годы, годы, предшествовавшие войне, французская дипломатия развивает такую бурную деятельность в районах, которые, казалось бы, находились на задворках интересов и политики Франции — в Египте, Сирии, Персии. В это же самое время по этим странам разъезжает французский консул «с официальной миссией и тайными поручениями Наполеона» — по выражению академика Е. В. Тарле. «Тайные поручения» заключались в подготовке движения французских войск через эти страны на Индию. Но это как бы второе, подсобное, направление удара. Первое через Москву. Чего не смог довести до конца Александр Македонский, совершит он, Наполеон.

Только коснуться Ганга французской шпагой, и Англия падет!

Страх потерять Индию, а с нею — мировую империю все больше превращался в навязчивую манию британских колониальных кругов.

Если не Франция, то кто еще мог бы выйти к берегам Ганга? Россия? И хотя от Петербурга до Дели были многие тысячи верст, страх витал в туманном воздухе Сити. Если русские окажутся вблизи индийских границ, индийцы восстанут, рассчитывая на их помощь. Картина эта, как кошмар, стояла перед глазами имперских чиновников и банкиров с берегов Темзы.

Никто не знает и никто не может сказать, когда первые английские разведчики появились на караванных тропах и в городах Средней Азии. Возможно, отчет следовало бы вести от Антония Дженкинсона,

посетившего Бухару во времена Ивана Грозного и оставившего о том подробные записи.

...В самый полдень при голубом небе и ясном солнце слышен над Бухарою гром. Недоуменно смотрят в небо прохожие, испуганно озирается ханская стража. И снова гром, и кажется, еще громче прежнего. Это во дворцовом саду Дженкинсон показывает изумленному хану действие ружья, этого устройства, изрыгающего огонь и грохот. Это первые выстрелы, прозвучавшие в древнем городе. Выстрелы, произведенные из английского ружья англичанином.

Позднее, в 1732 году, здесь появляется полковник английской армии Гарбер. Это было время, когда пребывание в отдаленной стране воспринималось как приключение, издание же записок о таком путешествии было событием. Путешествие полковника, однако, не оставило после себя ни единой строки. Даже маршрут его передвижения по Средней Азии остался закрыт и никому не известен.

Когда в Хиве, в Бухаре ли появлялся купец с торговым интересом и с товаром, он был человеком понятным, он мог ожидать защиты от местных властей. Всякий другой, кто появлялся здесь и не мог объяснить толком цели своего появления, был лазутчик, был соглядатай и не смел ожидать ничего, кроме постыдной казни.

Одних казнь настигала там, где их хватали. Другие умирали на обратном пути необъяснимым и непостижимым образом. Среди секретов, которые им удавалось разведать, не было тайны средства против медленных ядов. Такие яды давали обычно нежелательным визитерам, когда хотели, чтобы то, что

они увидели и узнали в чужой стране, не ушло за ее пределы. Эта участь постигла англичанина Мооркрофта и двух его соотечественников, которым в 1824 году удалось добраться до Бухары. Они избежали множества опасностей и гибельных ситуаций только ради того, чтобы принять медленную смерть из блюда с пловом в день своего отъезда.

Когда в 1838 году английский полковник Стоддарт появился в Бухаре, путь к плахе был уже проложен его предшественником, лейтенантом Уайбердом. Лейтенант осмелился появиться в окрестных степях в чалме и халате, верхом на сером коне, выдавая себя за мусульманина. И хотя лейтенант свободно говорил на местном наречии, маскарад его был разгадан.

Полковник не рискнул заявиться в Бухару в чалме и халате. Британский военный мундир защитит его лучшим образом. Так полагал он. Но ошибся.

Эмир Нарулла, который правил Бухарой, в то время, был личностью обычной, довольно ординарной, если исходить из оценок его времени и его окружения. Поступки эмира ничем не отличались от поступков и действий его предшественников или тех, кто правил после него.

Когда в юности в некий час ему пришло на ум, что настало время стать эмиром, он убил своего отца, который занимал трон. А заодно и старшего брата, стоявшего на его пути. Для того же, чтобы поступки его не послужили дурным примером младшим его братьям, он своею рукой убил и их, всех троих. Для человека, который без малейших раздумий поступался жизнью своих близких, жизнь посторонних, подданных, не говоря уже об иностранцах, и вовсе не имела никакой цены.

Что касается полковника, то у него было свое представление о том, как надлежит обращаться, с туземцами. Он был офицером индийской службы и имел достаточный опыт. Правда, Индия была колонией, Бухара — свободной страной, не ведавшей иной власти, кроме власти эмира. Это было существенное, принципиальное различие. Стоддарт со всей самоуверенностью, присущей, колониальному офицеру, постарался проигнорировать это. Реальность, однако, оказалась сильнее его.

Полковник не желал соблюдать никаких норм этикета, принятых, при дворе. Эмира он приветствовал, как приветствовал бы своего армейского коллегу — беря под козырек, щеголевато и небрежно. Ему ничего не стоило въехать верхом на Регистан, площадь перед самым дворцом, грубо отпихнуть или даже ударить кого-нибудь из дворцовых служителей. Полковник колониальной службы, он знал, как обращаться с туземцами.

Не знал он другого. Не знал, что один из слуг, с которым прибыл он в Бухару, тайно вез с собою письмо. Письмо самому эмиру — от Дост Мухаммед Хана, эмира афганского. Следует весьма остерегаться этого незваного гостя, писал Дост Мухаммед. Полковник опасный английский шпион. Чем быстрее эмир от него избавится, тем лучше.

Письмо это, доставленное в Бухару слугою полковника, было ему смертельным приговором.

Но кошка решила поиграть с мышью.

Правительство ее величества королевы Виктории предлагает сиятельному эмиру военную помощь. Если

какая-нибудь держава осмелится посягнуть на священные границы Бухары...

Эмир улыбался.

— Вашему величеству нечего опасаться увеличения британского влияния в Афганистане, у южных ваших границ. Благородные цели британской армии и высокие идеалы...

Эмир улыбался.

— Что касается русских пленных и русских, находящихся в рабстве, то разумно будет, если ваше величество разрешит им вернуться на родину. Это лишит Россию повода предъявить вам это требование и оказывать политическое и военное давление на ваши дела.

Эмир улыбался.

Он подумает обо всем сказанном. Он желает полковнику приятно провести время.

С этими словами эмир улыбнулся еще раз.

Смысл этого пожелание стал понятен полковнику только через несколько дней когда стража эмира ночью схватила его в постели, связала по рукам и ногам и отвезла в городскую тюрьму. Об этой тюрьме полковник слышал еще в Дели. Не столько о самой тюрьме, сколько о Черном Колодце в ней. Теперь он увидел воочию сам этот колодец. Им оказалась глубокая узкая яма, на дне которой белели в полутьме человеческие кости и гниющие отбросы. В яме обитали длинные черви, которые проникали под кожу и жили в теле человека, жабы, выпускавшие ядовитую жидкость, а главное — кровососы, огромные овечьи клещи, которые

изголодавшейся массой набрасывались на свежую жертву.

Из Черного Колодца никто не выходил живым. Полковник вышел. Он был поднят оттуда на поверхность, вымыт, накормлен и переодет, едва Бухары достигла новость, что английская армия вступила в Афганистан. Когда же стало известно, что Кабул взят, Стоддарт был повышен в ранг великой милости и любви в глазах эмира.

Теперь, когда английские солдаты стояли у самых его границ, эмир проявил готовность и всяческую заинтересованность в военном союзе с Англией. «Я считаю, — писал полковник, — что, исходя из интересов правительства (а особенно для того, чтобы удержать русских вдали от Бухары, где им не за что ухватиться), мне следует оставаться здесь, прилагая все усилия, чтобы привязать эмира к нам...»

Это были дни, когда Стоддарт чувствовал себя первым человеком при эмире. Значит, прав был он, что держался с туземцами таким образом. Значит, действительно понимают и уважают они только силу. «Те самые люди, — писал он, — которые при моем прибытии признавались мне, что никогда не слышали, кто такие англичане, теперь трепещут от нового соседства».

Но трепет этот сразу прекратился и положение полковника изменилось диаметрально, едва в Бухару из Кабула пришла новая весть. Афганистан восстал от Герата до Кандагара. Все 15 тысяч британских солдат были уничтожены в течение считанных дней. Из всего экспедиционного корпуса границу в обратном направлении пересек только один человек — раненый и на загнанной лошади.

Печальную перемену в судьбе полковника разделил его соотечественник и коллега по секретным поручениям и тайным делам, капитан Артур Конноли.

В свое время, решив посвятить себя непростому в опасному ремеслу разведчика, капитан постарался поближе изучить будущего своего противника, с которым ему предстояло встретиться на караванных тропах Востока. Поэтому, прежде чем появиться в Персии и Афганистане, на Кавказе и в Средней Азии, капитан совершает путешествие в Россию.

В конце октября 1829 года он покидал Москву. «С последнего из холмов, подступавших к городу, — писал он об этой минуте, — мы еще раз взглянули на ее раскрашенные и позолоченные купола и крыши, громоздившиеся по обеим сторонам Москвы-реки на фоне ярко-голубого неба. Погода предвещала снег, и действительно, пока мы любовались этим видом, повалили густые хлопья снега. Мы плотней запахнулись в наши меховые шубы велели «извозчику»<sup>[6]</sup> погонять».

Задача, которую Конноли выполнял в Средней Азии, была подобна той, которая стояла перед Стоддартом: противодействие влиянию России, содействие английскому проникновению в эти страны. Как и у полковника, статус его был двусмыслен и мог трактоваться любым образом. Приезд его мог быть воспринят как своего рода дипломатическая миссия, а мог и иначе, как попытка лазутчества и шпионства.

Капитан прибыл в Бухару, побывав в Хиве и Коканде.

---

<sup>6</sup> Это слово капитан написал по-русски.

— В прежние времена, — говорил эмир капитану, которого велел привести к нему во дворец, — между мусульманами и неверными совершались многие дела и была дружба. Не вижу, почему бы такой дружбе не быть между нашими странами — Бухарою и Англией.

— В этом и есть, цель моего приезда... — вставил было капитан, но эмир взглядом заставил его замолчать.

— Но прежде чем говорить о дружбе, я бы хотел знать, зачем англичанин, что находится сейчас передо мной, побывал в разных концах моей и соседних стран. Что делал этот англичанин, в Коканде? Зачем он отправился в Хиву? Какие могут быть у него дела в Мерве?

— От имени правительства ее величества...

Но эмир снова остановил его:

— Тот, кто приходит от чьего-то имени, от имени королевы или императора, называется послом. Сейчас в Бухаре находится русское посольство. Посол Бутенев вручил мне свои грамоты, подписанные императором. Я не вижу ваших грамот, капитан. Может, я просто плохо вижу, может, их видел кто-то еще?

Эмир, деланно вопрошая, обвел глазами полукруг придворных. Те сдержанно захихикали монаршей шутке.

— Вот видите, капитан. Другие тоже не видели их. Что же вы делаете в моей стране и в моей столице? Я знаю, путешественники, вроде вас часто бывали в Афганистане. А потом по их следам пришли солдаты. Мне не нужны английские солдаты в моих владениях, капитан.

Эмир не придерживался этикета и не выбирал выражений. Он мог позволить себе это — английская армия не стояла больше у его южных границ. Он мог позволить себе не только это. Стоддарт снова был водворен в заключение, и Конноли разделил его участь.

По прошествии какого-то времени оба английских офицера были казнены. Однако казнены они были не как разведчики. Зарезанные публично, на базарной, площади, на глазах многотысячной толпы, они оказались принесены в жертву иным целям, далеким от их деликатной миссии.

Вопрос о том, жить или нет двум офицерам, решался не в Бухаре. Он решался и был решен в Лондоне, в Букингемском дворце. Когда полковник в свое время появился в Бухаре, предлагая военный союз и помощь, эмир как бы в ответ на это написал письмо королеве Виктории и теперь ожидал ответа. В Лондоне сочли, однако, что эмир не столь значительная персона, чтобы королева стала отвечать ему. Достаточно, если ответит английский наместник в Индии, вице-король. Это была та же надменность, те же колониальные манеры, которые демонстрировал во дворце эмира Стоддарт. Только теперь они исходили уже не от полковника, а от королевы. Полковника эмир засадил в Черный Колодец. Что мог сделать он с королевой?

Русский посол, будучи в Бухаре, просил эмира пощадить жизнь англичан и отпустить их на родину. Эмир ответил:

— Они будут отправлены в тот же день, когда королева ответит на мое письмо.

Эмир Хивы и эмир Коканда просили его о том же. Он ответил им теми же словами. К нему обратился

персидский шах. Он ответил ему то же. Император российский просил эмира о жизни и свободе британских подданных. Эмир ответил ему почтительно, но твердо, сказав то же, что его послу.

Единственным, кто так и не снизошел, кто в величайшем высокомерии так и не ответил на письмо эмира, была королева Великобритании. Жизнь двух офицеров, несомненно мужественных и безусловно преданных, не столь уж высокая плата за имперские амбиции. Так решено было в Лондоне.

За несколько лет до описываемых событий в Бухаре побывал другой англичанин — лейтенант Александр Бернс. Это был разведчик, свободно владевший местными языками и без труда выдававший себя то за афганца, то за индуса, то за узбека — смотря по обстоятельствам. Кроме Бухары, он побывал в Чарджоу, Мерве, в Туркмении и на Аральском море. В пути ему удавалось вести постоянные записи, причем делать это, не привлекая внимания спутников по каравану. Результатом его путешествия были три больших и подробных тома. В главе «Политическая и воинская сила Бухары» он писал: бухарское войско «состоит почти из 20 000 конницы и 400 пехоты при сорока одном артиллерийском орудии. Кроме того, есть еще так называемая «элджари», или милиция, состоящая из различных служителей правительства и простирающаяся до 50 000 конницы». Дает он и характеристику воинских качеств этой армии. Сведения отнюдь не лишние, если иметь в виду последующие военные планы. «В сражение они кидаются с громкими криками, но судьба передового отряда почти всегда решает дело. Как и регулярная кавалерия, они превосходны, но зато плохи как солдаты». Таблица, приложенная к главе, давала

подробнейшее представление о структуре бухарского войска — из каких племен составлен каждый отряд, его численность и даже имена командиров. Столь же подробно было описано Бернсом вооружение бухарских воинов, их содержание и тактика.

Другие разделы описывают ремесла, полезные ископаемые, торговлю и, самое главное, дороги, караванные тропы и пути, ведущие в Бухару с юга, из Индии, через Афганистан.

Сведения, собранные Бернсом, оказались столь важны, что по возвращении его в Индию он был отправлен в Англию для доклада премьер-министру и самому королю.

Опасаясь английских военных разведчиков, правители эмиратов и ханств Средней Азии старались не допускать подобных лазутчиков в свои пределы. В шестидесятые годы прошлого века венгерский ученый-востоковед Александр Вамбери, переодетый дервишем, сумел, однако, проникнуть в Хиву и в Бухару. Но чтобы совершить это, нужно было не только безукоризненное знание языков, канонов религии, нравов. Нужен был еще один компонент предприятия — удача. Удача сопутствовала ученому. Правда, поначалу глава каравана, караван-баши, наотрез отказывался взять мнимого дервиша с собой в Хиву. Почему? «Назад тому несколько лет, — писал Вамбери, — был такой случай: этот караван-баши привел в Хиву одного ференги (англичанина), который во время своего путешествия снял полностью карту всей дороги и с такой дьявольской точностью, что не было пропущено ни одного колодца, ни одного холмика. Хан так разгневался, что велел повесить двоих, принесших ему это известие».

Если хивинский хан поступил так с теми, кто только принес ему это известие, легко догадаться, как поступил бы он с самим английским лазутчиком.

Судя по всему, таких переодетых «ференги», путешествовавших по дорогам и караванным тропам Средней Азии, было немало. Один из таких «путешественников» рассказывает в своих заметках, как на одном из привалов афганец признал в нем англичанина.

— Дервиш?! — гневно воскликнул он. — Знаем этих английских дервишей! Они пробираются в страну, чтобы разведать там горы и ущелья, озера и реки. Они узнают удобные проходы и возвращаются, чтобы рассказать все начальнику, которого зовут Компания<sup>[7]</sup>. Потом этот начальник посылает солдат, и они захватывают страну. Переведите ему, что я сказал!

Но в переводе не было нужды. Английский разведчик, с которым произошел этот эпизод, говорил на фарси и на пушту без акцента.

Капитан Конноли не принимал облика путешествующего дервиша. Он прибыл в Бухару открыто, на нем был британский офицерский мундир. Но в штате туземной прислуги, сопровождавшей его, среди трех десятков носильщиков, погонщиком, камердинеров и поваров было по крайней мере двое переодетых англичан, выдававших себя за индусов.

Гневные слова афганца по поводу переодетых англичан, пробирающихся в чужие страны, очень четко

---

<sup>7</sup> *Компания* — имеется в виду английская Ост-Индская компания, имевшая свою армию и под флагом которой осуществлялось завоевание индийских княжеств и соседних стран.

выразили последовательность английского проникновения в страны Востока. Сначала появлялись лазутчики — переодетые или даже в мундирах. Следом за ними сомкнутым строем шли солдаты.

Посольства Коканда, Хивы, Бухары, бывая в России, жаловались на повышенный интерес англичан к их странам. Бухарский посланец Мукин-бек, будучи в Петербурге в 1840 году, подал записку вице-канцлеру, в которой от имени эмира излагал опасения по этому поводу. Если англичане овладеют Хивой, писал он, это будет в равной мере плохо как для Бухары, так и для России. Если «соединились бы бухарцы, хивины и кокандцы и выгнали бы франков (англичан), давали бы друг другу помощь, тогда началась бы свободная торговля».

Такой ход событий не устраивал, естественно, английскую сторону. Но между вождельными государствами Средней Азии и передовыми английскими форпостами в Индии лежала независимая страна — Афганистан. Красные мундиры английских солдат могли появиться на улицах Самарканда и Бухары, Хивы и Коканда только после того, как эти солдаты смогут пройти маршем по улицам Кабула.

Последствия захвата Афганистана были бы губельны для независимости сопредельных с ним стран. Русский журнал тех лет писал, что, если Афганистан будет захвачен Англией, «англичанам до Бухары останется один шаг». И не было ни малейшего сомнения, что этот шаг англичане не замедлят сделать. Английские разведчики, постоянно пересекавшие Среднюю Азию в разных направлениях, были откровенным свидетельством имперских намерений в отношении этих стран.

В мае 1836 года в Оренбург прибыл посол афганского эмира Дост Мухаммеда. Повод для его приезда был не столь часто встречающийся в дипломатической практике. Послу было поручено просить у российского императора помощи «против угрожающей кабульскому владельцу опасности от англичан».

В течение считанных месяцев Кабул стал центром острой игры противоборствующих политических сил. Английская сторона бросила на зеленый стол свою козырную карту — Александр Бернс, изощренный разведчик, объехавший инкогнито всю Среднюю Азию, был направлен в Кабул. Ответный ход русской стороны озадачил англичан в Кабул ехал поручик Иван Виткевич. Когда это стало известно, генерал-губернатор Индии приказал доложить ему, что представляет собой этот политический эмиссар русских.

## **МИССИЯ В КАБУЛ**

Пожалуй, что одной из наиболее поразительных фигур в плеяде русских военных разведчиков, противостоявших английской экспансии в Хиву, Самарканд и Бухару, был Иван Виткевич.

Судьба его воистину удивительна.

Дело учеников Крожской гимназии которые за писание и распространение среди своих однокашников стихов возмутительного содержания были приговорены к смертной казни и ссылке, потрясло даже самых спокойных. По Вильно пошло возмущение. Студенты университета — горячие головы — хотели устроить вооруженное нападение на острог и освободить детей.

Ведь самому старшему из осужденных не было семнадцати лет.

Нехорошие, тревожные слухи проникли в Петербург. Узнали об этом при дворе. Александр I, не желая столь неприятных толков, отправил в Варшаву своего доверенного барона Рихте, поручив ему как-то уладить все это дело:

— Я не люблю, когда в нашей империи говорят о крови. Это дурной тон. И потом я противник резкого в чем бы то ни было. Гармония и еще раз гармония. Придумайте что-нибудь, барон. Сделайте добро этим детям, сделайте им каторгу, но бога ради не смерть.

Прибыв в Варшаву, барон был принят наместником почти сразу же. Константин пробежал по воценому паркету из одного конца огромного кабинета в другой и остановился около бюста Екатерины. Бабушка императрица пустыми, блудливыми глазами смотрела поверх его головы на Рихте.

— Да, да, да! — прокричал Константин. — Пусть мальчишки, пусть дети! Нечего лезть в политику! Когда я был мальчишкой, я читал Вергилия и играл в солдатов! Не говорите мне больше ничего! Я неумолим. — Константину понравилась последняя фраза, и он повторил: — Я неумолим!

Рихте не двинулся с места. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, когда он заговорил:

— Прощаясь, его величество сказал мне, что видит в вас отца поляков. Поэтому государь просил привезти подтверждения, дабы лишний раз насладиться теми качествами характера вашего высочества, которые так хорошо известны нам, русским.

Константин засмеялся.

— Какой же ты русский, барон? Ты немец. Немец ты, а не русский... А с мальчишками я неумолим. Пусть будет так, как сказали Новосильцев с Розеном. Смерть.

Назавтра барон Рихте уехал в Санкт-Петербург. Он увез с собой дело Крожских гимназистов. На папке, в которой хранилось все относящееся к Ивану Виткевичу, ломким почерком наместника было начертано: «В солдаты. Без выслуги. С лишением дворянства. Навечно. Конст...»

Под последним, незаконченным словом расплылись две большие чернильные кляксы.

Через три дня Иван Виткевич и его гимназический друг Алоизий Песляк были закованы в кандалы и отправлены по этапу в Россию.

В Оренбурге они обнялись в последний раз и не могли сдержать слез. Виткевича увезли в Орскую крепость, а Песляка — в Троицкую.

Забравшись высоко в небо, стыли жаворонки, что-то рассказывая солнцу. Веселые, они словно старались оживить ландшафт размахнувшейся на много сотен верст оренбургской равнины.

Казалось, жара охватила своими сухими руками весь мир. Но нигде не была она так нещадно сильна, как в этих степях. Недавно проложенный вдоль по Уралу тракт из Оренбурга в Орск был еще совсем не объезжен. Он прятался в балках, кружил голову причудливыми изгибами, тряс телеги сердитыми, в полметра, а то и в метр ухабами.

Бричка, в которой ехал Виткевич, сотрясаясь, стонала, словно собираясь вот-вот рассыпаться. Маленькая лошаденка жалобно запрокидывала морду, когда возница — солдат Орского линейного батальона Тимофей Ставрин — лениво, но с силой постегивал ее по взмокшему крупу.

— Ишь, стерва! — хрипел Тимофей, вытирая со лба пот. — Глянь-ка, барин, ленива ведь, а?

— Устала.

— И-и, устала! А я, поди, не устал! Иль ты? Уж, наверно, ох как замаялся...

Тимофей обернулся, и бугристое красно-синее лицо его растянулось в улыбку.

«Худенький мальчонка-то, — жалостливо подумал Ставрин, — шейка на просвет. Дите, а поди ж ты...»

— Ай заморился? — спросил он Ивана. — Так я погожу. Хочешь, иди цветиками подыши, васильками. Они, видишь, какие? Синь-цвет. Как словно Каспий-море.

— А Каспий-море синее?

Тимофей засмеялся.

— Как небо все одно. Будто вместе с дождичком опрокинулось.

Ставрин натянул вожжи и спрыгнул на землю. Размявшись, он развел руки и, запрокинув голову, начал тонко высвистывать песню жаворонка.

— Глянь, барин. А птица все ж самое что ни на есть чистое создание. С сердцем. Поет себе да поет... А у нас не попоешь. Так что ты сейчас, мил-душа, поиграй. Годы твои молодые, игручие.

— Я не ребенок.

— Да ты не сердчай. Я от сердца к тебе.

Когда Иван соскочил с брички и пошел в поле, Тимофей окликнул его:

— Барин, а за что тебя, а?

— За всякое, — ответил Иван и вздохнул. — Я и сам-то не знаю за что.

— Хитер. Ни за что такое не делается. Инто, значит, было за что...

Иван собрал большую охапку васильков и положил рядом с собою, укрыв от лучей солнца холщевиной. Ставрин сел на облучок, чмокнул губами и негромко запел:

И-эх, поедем,

Едем да поедем,

Песню да песню,

Песню заведем...

В Орскую крепость Ставрин приехал поздним вечером. Жара спала. С запада дул соленый ветер. Полный диск луны дрожал в небе. Около маленького свежебеленого домика Тимофей остановил лошадь. Постучал кнутовищем в окно. В доме кто-то закашлялся. Сверчок прервал свою песню, прислушиваясь. Прощлепали босые ноги, щелкнула о косяк, щеколда. На пороге стояла высокая девушка в белой до пят рубахе. Тимофей поцеловал ее в лоб, отдал кнут и вернулся к бричке. Взяв на руки спящего Виткевича, он бережно понес его в дом.

— Царева преступника привез, — шепнул он дочери. — Замаялся мальчонка.

Всю жизнь Тимофей Ставрин мечтал о сыне. Бог послал ему пять дочерей. Он прижал к себе хрупкое тело Ивана, и сердце глухо застучало: «Сы-нок, сы-нок, сы-нок».

...Часы пробили полночь. Жители британской столицы давно уснули. Тут даже в дни празднеств балы кончаются рано: веселиться можно ехать в Париж или Петербург.

Только в одном, из фешенебельных лондонских предместий, в небольшом особняке, охраняемом двумя запорошенными мокрым снегом львами, горят тусклыми пятнами в темноте ночи два окна на третьем этаже. Большие хлопья снега прилипают к освещенным стеклам, и кажется, будто им очень хочется разглядеть, что происходит в большом холле.

Холл отделан мореным черным деревом. Острые блики огня в камине пляшут, отражаются на черном дереве причудливыми видениями.

Хозяин этого дома — человек, далекий от политики, но близкий к финансам. Лорд, он любит подчеркивать свою аполитичность. Он уже стар, этот лорд. Прежде чем встать, приходится долго массировать поясницу. Потом, осторожно можно, начать разгибаться.

— Стар, — усмехнулся, лорд. — Я стар, Бернс. Понимаете?

— Не понимаю, сэр.

Лорд оценил шутку. Он кивнул головой и пошел к столу. Бернс залюбовался его походкой — осторожной, плавной, твердой. В этом человеке все было продумано, все до самых последних мелочей. Он достал сигары из деревянного ящичка, тоже каким-то особенным, мягким движением руки. Сигара была длинная и тонкая, черного цвета. Из Бразилии.

— Курите, — предложил лорд Бернсу.

— Спасибо, сэр. Я не курю.

— Скоро начнете, — улыбнулся лорд. — Очень скоро начнете, поверьте мне.

Бернс пожал плечами. По манере держать себя он англичанин. Пожалуй, даже шотландец, потому что для англичанина он слишком резок в жестах и дерзок в словах. Но чуть раскосые глаза, смуглая кожа, нос тонкий, с горбинкой делают его похожим то ли на перса, то ли на индуса.

Лорд раскурил сигару и осторожно опустился в кресло около камина.

— Мне говорили мои друзья, Бернс, что вы человек с большими способностями. Поэтому я и пригласил вас... Вы, конечно, знаете, что моим ситцем можно обернуть земной шар пять раз подряд. Но это филантропия. Заниматься экипировкой земли я не собираюсь. Об этом достаточно заботится господь наш, меняющий одежды земли четыре раза в год. Я должен одевать моим ситцем людей, я должен продавать мой ситец.

— Ясно?

— Ясно, сэр. Вы должны продавать свой ситец.

— Можете не повторять. И никогда не соглашайтесь вслух. Вас могут заподозрить в неискренности.

— Ясно, сэра, — улыбнулся Бернс.

Лорд пожевал губами, внимательно разглядывая лейтенантский мундир Бернса. Потом скользнул глазами по его лицу.

— Словом, вы хотите перейти к главному, не так ли?

Бернс смотрел на лорда и молчал. Тот снова пожевал белыми губами, в быстрые доли минуты обдумывая, взвешивая, сопоставляя, принимая решение. Решение принято.

— Ну что же! Мне это даже нравится... — Лорд в последний раз взглянул на Бернса и стал говорить: — Пусть в парламенте болтают о русской угрозе Индии. Язык дан для того, чтобы работать им. Взоры России не обращены к Индии, это говорю вам я. Но каждая минута имеет свой цвет. Минуты бегут, цвета меняются. Нас очень скоро заинтересуют среднеазиатские ханства. Выгоде подчинена политика. Я буду помогать вам убедить некоторых досточтимых господ в том, что купцы Хивы и Бухарии должны ездить на ярмарки не в Нижний Новгород, а в Индию. Именно это и заставит вас вплотную заняться Афганистаном, Бухарой и Хивой. Путь в срединные районы Азии лежит через Кабул и Кандагар...

Лорд осторожно поднялся с кресла, потер спину. Потом протянул Бернсу сухую руку и сказал:

— Вам будет легко работать, потому что вы вне конкуренции. У русских нет людей, знающих Восток. Вас ждет слава, Бернс, это говорю я.

Через несколько дней Берне отплыл в Бомбей.

Отсюда, из маленькой крепости, затерявшейся в бескрайних степях, Иван Виткевич, выучивши несколько восточных языков за два всего лишь года, решил бежать, чтобы примкнуть к тем, кто намерен был сражаться против царского самодержавия.

Путь его пролегал через Бухару, и здесь-то по невероятному стечению обстоятельств он попал в руки английского разведчика Александра Бернса.

Кони пали все до единого, бурдюки иссякли, мука развеялась по ветру, смешалась с песками, а Виткевич упрямо, зло шел вперед к свободе, через Бухару и Афганистан — в Индию, оттуда — через Англию — назад в Польшу, чтобы бороться за ее свободу. Он прекрасно понимал, что остановиться хоть на минуту — значило бы остаться в песках навечно. И он шел день и ночь. Но порою Виткевич желал только одного: упасть и умереть сразу. Для этого надо было идти не останавливаясь. Чтобы обессилеть до конца.

Когда одиночество и величавое безмолвие барханов становились до жути страшными, он кричал, но песок ловил его голос и прятал в свою молчаливую толщу, которая привыкла к таким крикам. Чтобы не слышать тишины, Иван начинал горланить польские песни — он помнил, как их пели студенты университета, разгуливая по спавшей Вильне. Иван горланил песни, но не слышал своего голоса. Он понимал, что поет, он слышал песню внутри себя, но едва веселые слова про кружку пива срывались с растрескавшихся губ, они сразу же

становились частью безмолвия. Здесь властвовала пустыня.

Когда кончалась ночь и солнце гасило звезды, Виткевич прибавлял шаг. Делалось прохладнее, на песок ложилась роса. Иван опускался на колени и слизывал влагу с теплых песчинок. Во рту начинало скрипеть, и Виткевич долго отплевывался, страдая от жажды еще больше.

Один раз он оглянулся и с тех пор смотрел только вперед. Маленькие следы его, глубоко вдавленные в сухой песок, были так безнадежно одиноки здесь, что, посмотри Иван на них еще раз, лишился бы рассудка от страха и отчаяния.

Виткевич сбился со счета. Он не помнил, день ли он шел, неделю, месяц? Он боялся считать так же, как и оглядываться. В дороге дерзаний взгляд должен быть обращен только вперед.

Вначале зеленая полоска, слившаяся где-то на горизонте с серо-синим сумеречным небом, показалась Ивану миражом. Сколько раз он видел холодную траву в жарких дневных грезах, с трудом переставляя ноги, увязавшие в песках.

Но чем дальше шел Виткевич, тем явственнее становилась зеленая полоса, тем четче выделялась она на фоне неба, ставшего сейчас фиолетовым, предгрозовым. Потом будто сказочная царь-птица поднялась с земли: небо стало красным. Оно калилось все ярче и ярче, пока не стало белым.

Нагретая солнцем трава пожелтела, сделалась твердой, горячей. Опустившись на землю, Иван смотрел на эти желтые стебельки как на чудо, как на жизнь.

Теперь Виткевич шел по твердой земле и шатался, оттого что привык в пустыне брести по зыбучему песку. С каждым шагом он все ближе и ближе подходил к крепостным стенам, обнесенным вокруг молчаливого города.

Плоские крыши домов, высокие башни минаретов, мертвый свет луны, отраженный в голубых изразцах крепостных ворот, — все это было сказочно и невероятно.

Иван закрыл глаза, осторожно потер их пальцами, а потом быстро открыл: города не было. В глазах стояла звенящая черная пустота, которая с каждой секундой все разрасталась, расходилась солнечными радугами. Вдруг радуги исчезли. Город стоял молчаливый, настороженный.

Виткевич подошел к воротам. Три стражника смотрели на него, лениво опершись о пики.

— Это что за город? — спросил Виткевич.

Один из стражников оглядел Ивана с ног до головы и ответил вопросом:

— Ты мусульманин?

— Да.

— Врешь, друг. Если ты мусульманин, так сначала пожелай здоровья мне и моим друзьям.

— Прости, — ответил Иван, — я устал...

— Устают только стены: они стоят веками. Ты мог лишь утомиться...

Иван говорил по-киргизски. Он неплохо выучился этому языку в Оренбурге. Стражник подыскивал слова и, прежде чем произнести всю фразу, поджимал губы и смотрел на небо. Когда он забывал нужное слово — морщился и вертел головой.

— О Кабир, — крикнул он, — пришел твой собрат, выйди, поговори с ним по-киргизски, а то у меня заболел язык от слишком резких поворотов!

Из будки, обшитой ивовыми тонкими прутьями и от этого казавшейся большой баклагой из-под вина, вышел высокий парень в белых штанах и черной шерстяной накидке. Штаны были широкие, но застиранные и подштопанные на коленях. Парень вопросительно посмотрел на Ивана. Тот повторил свой вопрос.

— Это Бохара, — ответил парень по-киргизски.

Он оказал это просто, обычным голосом. А Иван услышал музыку. Она все росла и ширилась, она гремела в нем, потом стихала, чтобы загреть с новой силой. Радость ребенка, сделавшего первый шаг, юноши, познавшего любовь, воина, победившего в схватке: все это является радостью свершения. Сейчас Иван испытал ее.

— А ты откуда? — спросил парень.

Иван махнул рукой на пески:

— От Сарчермака.

— Врешь, — усмехнулся тот стражник, который говорил с Иваном первым, — оттуда никто не приходит. Оттуда приносят.

— Я оттуда, — упрямо повторил Виткевич.

Стражники снова посмеялись. Потом парень внимательно оглядел Ивана и протянул ему лепешку, которая висела у него за кушаком, словно платок. У Виткевича задрожали руки. Парень сходил в будку и принес пиалу с водой. Иван положил в рот кусок лепешки, но не смог разжевать ее, потому что шатались зубы.

— Ешь, — лениво сказал стражник, — она замешана на молоке.

— Вкусная лепешка, — подтвердил парень.

Иван языком растер лепешку и запил ее водой. Потом отошел в сторону и лег под теплой крепостной стеной.

— Так это Бухара? — спросил он еще раз.

— Бохара. Ты говоришь неверно. Не Бухара, а Бохара.

...Иван почувствовал счастье. Оно жило в нем как рвалось наружу. Раньше он, наверное, стал бы смеяться или плакать. Сейчас, пройдя путь мужества, Виткевич только чуть прищурил глаза, усмехнулся и уснул. Упал в теплую, блаженную ночь.

Виткевич шел по шумному бухарскому базару. Без денег и без лошадей. Но главная трудность заключалась еще и в том, что Иван знал таджикский и киргизский, а здесь бытовал узбекский язык.

Несмотря на усталость, на головокружение, Виткевич словно зачарованный смотрел на людей. Кого здесь только не было! Толстые, ленивые персы-купцы,

смуглые черноусые индусы, лихие наездники-таджики, веселые узбеки — все они смеялись, кричали, торговали, покупали, шутили, пели песни. Иван жадно вслушивался в их речь, но понимал совсем немного из того, что слышал. Глядя на этих веселых, голодных, оборванных, чудесных людей, Виткевич вдруг подумал: «А туда ли я иду? Может быть, мое место с ними? Может быть, здесь счастье? Ведь быть другом Сарчермака — счастье. А стать другом всех этих людей — счастье еще большее...»

Виткевич думал о своем и не замечал, как чьи-то глаза неотступно следовали за ним. Миновав базар, он свернул в узенькую улочку, прислонился к дувалу. В глазах пошли зеленые круги. Сел, вытянул ноги, застонал от боли. Когда он поднял голову, прямо над ним стоял человек: смуглый, черноглазый, нос горбинкой, желваки грецкими орехами, под кожей перекатываются.

— Салям алейкум, — поприветствовал он Ивана.

— Ваалейкум ассалям, — ответил Виткевич.

— Вы откуда? — спросил человек. — Из Хивы, Ургенча?

Виткевич ничего не ответил, наморщил лоб. Решил выиграть время.

— Вы не понимаете по-узбекски? — продолжал допытываться человек.

— Нет, я говорю по-киргизски.

— Говорите. А понимаете какой?

Виткевич снова промолчал. Тогда, понизив голос, человек спросил по-французски:

— Откуда вы, мой дорогой блондин?

— Что вам надо от меня? — нахмурился Виткевич и поднялся на ноги.

— Вы сделали три ошибки в одной персидской фразе. У вас хорошее произношение, но вы слабоваты в грамматике, коллега. Лучше говорите на родном языке, — человек оглянулся. — Не хотите? Ладно. Тогда послушайте, что скажу я. Сейчас мы уедем отсюда. Естественно, вместе. И лучше, — человек подыскивал нужное слово, — лучше никому не жалуйтесь на мой произвол. — Засмеялся. — Я отвезу вас из дикости в цивилизацию. Договорились? Ну и хорошо. Давайте руку, я помогу вам.

Капитан Александр Бернс считал, что ему чертовски повезло. Как талантливый разведчик, он не мог не предполагать, что агенты России подвизаются в ханствах Срединной Азии. Правда, чиновники из Ост-Индской компании уверяли его, что русские никак себя в Азии не проявляют, замкнувшись в маленьких форпостах вдоль по Уралу. Крепости эти не представляли сколько-нибудь значительной стратегической ценности даже с точки зрения обороны, не говоря уже о нападении. С этими постулатами Бернс соглашался, учтиво покачивая головой, а про себя думал о том, каких тупоголовых баранов присылают в Индию.

«Вместо того чтобы держать здесь резидентуру, достойную Востока, засылают кретинов, скомпрометировавших себя чем-то на острове. Какая нелепость!» — думал Бернс.

Воспитанный в наступательных традициях английской внешней политики, Бернс не мог, не имел права ни на минуту допускать мысли о том, что

контрагент, да причем такой сильный контрагент, как Россия, беспечно наблюдает за тем, что происходит на Востоке. Недвусмысленные акции Британии в Азии мог не увидеть только слепой. Цель этой политики — вовлечение всего Востока в орбиту Альбиона — казалась Бернсу естественной и необходимой.

Когда он в первый раз заговорил с высшими чиновниками компании о целесообразности поездки в срединные азиатские ханства, его подняли на смех. Но какой это был смех! Истинно британский: учтивый, исполненный самого искреннего расположения, мягкий и обходительный. Словом, это был такой смех, за которым обычно следовал отзыв обратно в Шотландию в связи с «обострением болезни сердца». Дерзких, мыслящих людей здесь, как и повсюду, не особенно-то жаловали. Здесь, как и повсюду, предпочитали иметь послушных исполнителей, оставляя право делать политику за избранными. Один из руководителей компании пустил даже каламбур по поводу предложения Бернса: «Когда лейтенанты входят в политику — жди термидора».

Конечно, предложение Бернса было записано и положено в один из сейфов компании, с тем чтобы когда-нибудь вытащить его на свет божий. Когда-нибудь. Чуть позже того, как Бернс будет отправлен к себе в Шотландию, к милым своим братьям, волынщикам.

Однако ни люди из компании, ни уважаемые господа из губернаторства не смогли толком оценить красавца лейтенанта.

Сразу же поняв создавшуюся ситуацию, Бернс отправил в Лондон маленькое письмо за тремя сургучными печатями, столь искусно поставленными, что не было никакой возможности познакомиться с

содержанием письма, даже если бы кто и рискнул это сделать, невзирая на адрес, выведенный в правом верхнем углу конверта.

Лорд отдал должное беззаботно-веселому тону письма, чуть грубоватому, «лесному» юмору шотландца, жаловавшегося на головные боли в связи со спорами с некоторыми высокими господами из генерал-губернаторства.

Через день корабль, вышедший из устья Темзы, взял курс на Индию. Капитан корабля вез небольшое письмецо Бернсу и еще меньшее — в губернаторство.

Сразу же после того, как письма эти были вручены адресатам, Бернс получил аудиенцию у одного уважаемого господина, который сначала заботливо осведомился о самочувствии лейтенанта после недавно перенесенной им болезни, а потом спросил, не желает ли сэр Бернс совершить путешествие в места с более резко выраженным континентальным климатом.

Александр Берне выразил свое согласие на столь нужную его здоровью прогулку.

— Мы сделаем так, что никто из служащих компании не будет знать о вашем путешествии, — сказали ему в заключение, — это ведь будет первый опыт такого рода лечения.

— Первый, — согласился Бернс и спрятал улыбку.

Через несколько месяцев он встретил в Бухаре русского резидента. Это ли не подтверждение правильности его положений? Бернс отдал должное выдержке русского агента, его замкнутости и стоицизму.

«Он прошел неплохую школу, хотя и молод», — заключил Бернс.

Может быть, лейтенант и не гнал бы свою, состоявшую всего из пяти человек кавалькаду дальше к Герату, Кабулу, Индии, если бы он мог хоть краешком глаза посмотреть на происходившее в Санкт-Петербурге. А происходившие там события заслуживали того, чтобы их видеть.

Сегодня у Виельгорских хоры. Канцлер, граф Карл Васильевич Нессельроде, большой любитель попеть. В черном без регалий сюртуке, само воплощение скромности, Карл Васильевич стал во второй ряд хора и, откашлявшись, ждал начала. Виельгорский качал головой. Потом, устав качать головой, решившись, он тронул клавиши пухлыми пальцами.

— О-о-аа-оо, — тихонько выводил Карл Васильевич хор из «Гугенотов». Глаза его полузакрыты, лицо светлое, спокойное.

Когда ария закончилась, Карл Васильевич первым захлопал в ладоши и закричал:

— Bravo, bravo, господа! Это настоящее. «Боже, царя храни».

При этих словах канцлера молодой человек, стоявший рядом с хозяином, удивленно вскинул брови и растерянно посмотрел на Виельгорского. Тот нахмурился и покачал головой, что, по-видимому, должно было означать: «Молчи и не удивляйся, если задумал с ним поговорить».

Молодой человек — историк, филолог, нумизмат, Борис Дорн понял, знак Виельгорского и, полуобернувшись к канцлеру, почтительно склонил голову. Похлопал в ладоши, стараясь сделать это так, чтобы Нессельроде увидал.

Позже, когда гости разбрелись по залам, Виельгорский подвел Дорна к Карлу Васильевичу и представил молодого человека как талантливого востоковеда. Нессельроде поморщился: два дня перед тем он имел пятую за эту неделю беседу с британским послом как раз о делах азиатских, восточных.

— Граф Карл Васильевич, — выпалил Дорн, — не соблаговолите ли вы посмотреть мои соображения о наших делах азиатских, кои развиваются не весьма блестяще, — и с этими словами он протянул дрожащей рукой листки, свернутые в тонкую трубочку и перевязанные синей лентой.

На секунду глаза Нессельроде широко раскрылись. Потом он опустил веки, и лоб его прорезала морщина.

— Я прихожу сюда, к друзьям моим, петь, а не решать дела азиатские, кстати сказать, блестяще развивающиеся. — И, повернувшись к Дорну спиной, Нессельроде пошел в другую залу.

Дорн не мог знать, что Нессельроде в своих беседах с британским послом не проявлял должной твердости в защите позиций России на Востоке. Именно поэтому Дорн испортил себе карьеру на многие годы вперед.

Но ничто это не было известно Бернсу, а если бы даже и стало известно, все равно он не поверил бы в такую нелепость. Бернс был при всей своей

талантливости начинающим политиком. Начинающий в любой области не верит в нелепость. В этом одновременно и преимущество и недостаток начинающего.

Поверил в нелепость Александр Бернс только через три дня, когда утром, очнувшись после тяжелого, тревожного сна, не увидел рядом с собою пленника, русского агента. Трое его провожатых спали таким же тяжелым сном, а около тлеющих углей костра валялись пережженные веревки, которые вчера вечером надежно связывали руки Виткевича.

Русские друзья Ивана Виткевича, связанные духовным братством с декабристами, сумели скрыть от сановного Петербурга, от ищеек графа Бенкендорфа побег молодого, сосланного в солдаты ученого.

Вернувшись в Орск, Иван Виткевич, провалявшись в жесточайшей лихорадке чуть что не месяц, принялся за составление словарей, поняв теперь на деле, что лишь с русскими братьями по пути ему к грядущей свободе, лишь с ними, но никак не с Бернсом и теми, кто стоял за ним, ибо там всякая рознь между славянами, кавказцами и азиатами была средством получения барышей на биржах: слабый партнер — податливый партнер, азбука, дважды два, ясно, как божий день, все на достижение этой цели надобно положить...

Трудно сказать, как сложилась бы дальнейшая судьба Ивана Виткевича, не соверши свое путешествие по Оренбургскому краю великий немецкий ученый Александр фон Гумбольдт.

Он-то и встретил Ивана Виткевича в Орске. Потрясенный знакомством со словарями, составленными ссыльным солдатом, с его записями стихов и писем киргизов, узбеков, таджиков, казахов, туркмен, персов, афганцев, племен, кочевавших по нынешнему Синьцзяну, Гумбольдт сказал одному из коллег генерал-губернатора Оренбургского края Перовского:

— Под серую солдатской шинелью в Орске скрыт от науки мира и политики России великий ученый...

А Перовский был совершенно особый генерал-губернатор, уникальный, единственный в России.

Уж он-то знал, что такое быть вне закона! Он знал, что такое плен. Он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал по-своему, интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия.

Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского. И фамилию он носил хитрую — Перовский. По тому подмосковному селу, в котором провел детство. Не кончив университета, пятнадцатилетним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном, во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам. Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя.

Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля. Именно спаситель.

«А. Н. Мордвинов, управляющий III отделением  
Канцелярии Е. В. Александру Христофоровичу  
Бенкендорфу, шефу жандармов

7 октября 1832 года

...Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу — «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и пр. Я принял на себя смелость показать ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь...»

Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что назначен исполняющим должность оренбургского военного губернатора. После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский испросил аудиенции у государя, а через несколько часов Даль был освобожден. А еще через несколько дней он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта — в чиновники для особых поручений! В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мнений своих не высказывали вслух: Перовский был слишком силен.

Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос: где лучшая рыбалка, в Сакмаре или на Урале?

Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтоб приводить в исполнение свои замыслы — широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора.

Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему, он не мог. Нужны были люди. Умные, образованные. И — несбыточная мечта — знающие Восток. Хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди. Люди. Люди. Люди. Перовский искал людей.

Несколько раз как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями Александр Гумбольдт говорил о том, что в оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед, знаток языков, истории и литератур азиатских. Неизвестно какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил: говорили, что губернатор недолюбливал жандармов.

Узнав, где губернатор — Перовский не очень-то сидел на месте, — Маслов отправился в летнюю резиденцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозревать и Европу и Азию одновременно: граница между двумя континентами проходила как раз по реке.

Перовский сидел на большой, застекленной с юга от суховеев веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец

Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее. Вышло удачно.

Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услышал раскаты мощного губернаторского хохота.

Камердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведущей на веранду. Через мгновение он вернулся и предложил Маслову войти.

Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся.

— Слушай, — сказал он шепотом, — слушай же.

Маслов начал слушать. Лицо его стало донельзя серьезным. Голова склонилась набок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить: смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным.

Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно, хихикнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже уверенней.

— Ты чему смеешься, полковник? — нахмурился губернатор. — Надо мной смеешься?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, что вы. Я просто восторгаюсь вашим умением пускать дымы из этого адова приспособления.

Перовский посмотрел на Маслова сощуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что сам он

качает точно так же головой в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных «дубиной».

«Ай-яй-яй, — быстро подумал полковник. — Не угадал я. Плохо дело».

И он напустил на свое лицо непроницаемо-холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему: «Вы думающий человек, мосье Маслов. Мне приятно бывать вдвоем с вами».

Маслов запомнил эти слова на всю жизнь и именно тогда начал было учить своих подчиненных «делать лица».

— Скажи мне, полковник, — после короткого молчания спросил губернатор, — что у тебя за ссыльный лях в Орске живет?

— Витковский?

— А я почему знаю! — пожал плечами Перовский.

Маслов чарующе улыбнулся:

— Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство. Он, он, больше там нет никого.

— Что скажешь о нем?

В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть впросак.

— Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами, на него собранными? —

сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше.

— А у тебя язык-то есть? Язык? — И, высунув свой красный, лопатой язык, губернатор тронул его мизинцем.

— Он ссыльный, ваше высокопревосходительство, а это, по существу, определяет все.

— Не о том спрашиваю, полковник. Ты не финти, не финти.

— Как можно, ваше высокопревосходительство...

— В том-то и дело, что нельзя. Бунтовщик, верно, а?

— Бунтовщик, ваше высокопревосходительство.

— Ваше высокопревосходительство бунтовщик?!

Маслов сконфузился.

— Что вы, помилуй бог, Василий Алексеевич!..

— Экий ты, право, — усмехнулся Перовский и поднялся с кресла.

Обошел Маслова и, остановившись перед ним, понюхал воздух. Потом взял жандарма обеими руками за голову и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи волосы, обильно смоченные ароматною водою.

— Красив ты у меня. Для баб смертоносен. Ну ступай, душа моя, ступай. Молодец, хитрый ты, молодец. А поляка мне этого доставь.

— Слушаюсь.

Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский улыбнулся и еще раз покачал головой.

Виткевича привезли из Орска поздним вечером. До конца не поняв истинного смысла в губернаторском интересе Витковским, кстати говоря, Виткевичем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на всякий случай посадить ссыльного на гауптвахту. Но когда наконец после долгих раздумий полковник пришел к этому решению, ему передали приказ губернатора. Перовский требовал доставить к нему ссыльного немедленно.

Маслов посадил Виткевича рядом с собой в коляску, и они покатали в летнюю резиденцию. Тени от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки черного пламени.

«Восемь лет промелькнуло, а словно день, — думал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого, теплого плеча полковника. — Восемь лет. А чего добился за эти годы? Устал. В двадцать два года устал».

Где-то далеко пели. Голоса нескольких мужиков, сильные и низкие, то сливались в одно целое, то разламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо и там замирали.

Ай, Урал-река,

Глубокая!

«И совсем не глубокая река, — поправил про себя Иван певцов. — Коварная река. Шаг сделаешь неосторожный — и в омут, к рыбе царевой, красной на обед».

Белый лебедь плывет,

Расправляется.

«Расправляется... Только лететь-то куда? Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или лиса не пожрет».

— Приехали, вылезай, — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившейся около освещенного подъезда.

Точно так же, как и три дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер и так же, как и в прошлый раз, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору, на веранду.

— Иди, — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану входить первым.

Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим.

— Ну, здоров, поручик, — сказал Перовский.

— Я полковник, ваше превосходительство, — поправил его Маслов. — Полковник, а не поручик...

— А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем.

— Но он же не поручик, он нижний чин, — попробовал исправить положение Маслов.

— Ах, боже мой, нижний чин! Ступай-ка, душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем. Иди, право...

Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло.

«Как скрутило беднягу, — подумал Перовский. — Аж серый весь стал».

Когда Маслов вышел, Перовский пояснил:

— Глупость сносна только при отсутствии самолюбия. Но умничанье, соединенное с глупостью, производит смесь, невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолец. И, как россиянин истый, языком помолоть люблю.

Губернатор опустился в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными, оттого что расширились зрачки.

— Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персиански, — весело попросил Перовский.

— Вазиха-йе авваль е-шома чемане дарад?<sup>[8]</sup>

— А по-киргизски?

— Сиз айтканрыз, чынбы?<sup>[9]</sup>

— Ну а по-афгански? Понимаешь?

— Альбата, пожежим<sup>[10]</sup>.

— Молодец! — восхищенно произнес Перовский, Просто слов нет, какой молодец! Только что это ты говорил тут? Может, ругал? Может, ослом меня обозвал?

Виткевич чуть усмехнулся.

---

<sup>8</sup> Как понимать ваши первые слова? *(Перс.)*

<sup>9</sup> То, что вы сказали, правда? *(Кирг.)*

<sup>10</sup> Конечно, понимаю *(афг.)*.

— Нет, господин губернатор. Я просто спрашивал, что означают ваши первые слова, ко мне обращенные.

— Ты про поручика, что ль?

Перовский прошелся по веранде. Остановился. Заложил руки за спину, начал раскачиваться с носков на пятки.

— С сегодняшнего дня ты офицер. Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умней других. Понял?

Виткевич, молчал. Он научился молчать и слушать.

— Понял, что ль? — переспросил губернатор.

— Да. Понял.

— Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит, оно любопытно, так?

— Все ж таки от него кашель, — вставил Иван.

— А ты, брат, перец! — ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. — Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да. Так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. Так вот я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми, с азиатами, поближе познакомил. Понять их хочу. А? Лихо? А? Чего молчишь?

— Какие обязанности мне вменяться будут?

— А-я почему знаю? Сам выбирай! Сам. Что хочешь, то и вменяй.

Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило:

— И-эй!

Вошел камердинер.

— Портняжный мастер здесь?— спросил Перовский.

— Ожидает, Василий Алексеевич.

— Хорошо. Ступай.

Камердинер вышел.

— Иди к портному, Виткевич. В порядок себя приведи, офицеру приличествующий. О деньгах не тужи. Я плачу за тебя.

Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на восток, за Урал.

— Азия, — тихо сказал губернатор.

Там полыхали зарницы.

С того времени, как Виткевич стал адъютантом губернатора, жизнь его удивительным образом переменилась. Главной и единственной его работой была та, к которой он стремился последние годы: изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками.

Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-губернаторства. Он бродил по подвалу, в

котором хранился архив, среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжелых от времени, развязывал их — на выбор — и, примостившись на перевернутом ящике, погружался в чтение манускриптов — российских, таджикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было! Переписка оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ханами, сообщения о крестьянских бунтах, торговые книги прошлых лет — все это было разбросано, не систематизировано. Наиболее ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там он и работал: делал выписки, переводил, на отдельные карточки записывал новые, неизвестные ему слова, составлял краткий очерк истории торговли России с Востоком. Изучая торговлю, цены, потребности восточного рынка, он в который раз поражался безмозглой политике Нессельроде. К восточному рынку в России относились словно к досужему, а подчас просто надоедливому, пустому занятию. Интересы народов, соседствующих с Россией за Уралом, не учитывались в торговых операциях. На этом государство теряло сотни тысяч золотых рублей.

Работая с манускриптами, Иван узнавал имена неведомых миру героев — землепроходцев, покорителей пустыни. Изучая материалы архива, Виткевич заново оценивал удачу и ошибки своего путешествия в Бухару, определял, как следовало бы идти в Азию, если судьба пошлет ему счастье повторить свой поход через пески, в Бухару — город сказки.

Когда Иван попал в Бухару в первый раз, он еще не осознал себя как ученый, как востоковед. Свой возможный, следующий поход сейчас он представлял научной, тщательно продуманной экспедицией. Виткевич

отдавал себе отчет в том, что Петербург никогда не отправит его с научной экспедицией в Бухару, да и бухарский хан такую миссию не примет. Бухарский хан понимал только один язык — язык торговой миссии, а все остальное он считал тонко замаскированной хитростью. Поэтому Иван готовил себя к такой экспедиции, которая бы ничем не вызвала подозрений у ханских стражников и позволила бы ему собрать языковой, литературный и исторический материал. Религиозный фанатизм мусульман не разрешил бы Виткевичу прийти в Бухару с крестом на груди. Следовательно, он мог по-настоящему плодотворно работать на Востоке, лишь считаясь человеком Востока. А для этого Восток надо было знать великолепно. И Виткевич выбирал из документов самое интересное. Он рассчитывал когда-нибудь написать книгу о племенах, кочевавших по Устюрту, о Бухаре, о ее людях, обычаях, языках...

...Виткевичу сейчас работалось как никогда раньше хорошо и потому, что он чувствовал заинтересованность в его труде со стороны окружавших его людей: Даля, Перовского, ссыльного композитора Алябьева. С приездом нового генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось, а главное — изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но, общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании местных жителей.

Владимир Даль, Александр Алябьев, ссыльный поляк ботаник и естествоиспытатель Фома Зан, путешественник Кармин, геолог и ботаник Карин — все эти люди, близко окружавшие Ивана, не могли не наложить своего отпечатка на мышление и работу Виткевича. Все эти

люди не могли не помогать ему в его труде. И они помогали.

У Виткевича вошло в привычку каждое утро отдавать работе над словарями три-четыре часа, перед тем как уходить в архив. В сарайчике, как раз напротив его окон, жила веселая семья кур. Глава этого семейства, единственный петух, по прозвищу «многоженец Амвросий», каждое утро, едва только серая полоска рассвета начинала заниматься над Уралом, гордо задирает голову и, сделав вид, что он совсем и не спал ночью, звонко возвещал рождение нового дня. Куры начинали беседовать все сразу. Иван считал, что они таким образом рассказывают друг другу сны. Через полчаса «многоженец Амвросий» возвещал утро во второй раз. Хотя куры уже все проснулись, но Амвросий не унимался: ему хотелось покрасоваться.

Иван вставал со вторым его криком и, накинув на плечи сюртук, шел на Урал. «Ах, Урал-река, глубокая!» Иван как-то поймал себя на мысли, что всего год назад он считал Урал совсем не глубоким. Это было тогда, когда Маслов вез его к Перовскому.

Виткевич разделся, закрыл глаза. Бросился в реку. Обожгло холодом, понесло вниз. Иван развернулся, лег встречь течению и, сильно загребая руками, поплыл. Время от времени он посматривал на корягу, торчавшую из воды у берега. Удивлялся: сколько ни плыл, как ни старался изо всех сил, коряга оставалась на месте, сам он оставался на месте, и только Урал несся на него стремительно, быстро.

Лежа на холодном, не прогретом еще солнцем песке, Иван думал: «А ведь действительно азиатская

река. Вода ласковая, мягкая. Но попробуй осиль ее. Не выйдет. Мощь в ней истинно великая сокрыта».

С севера лезли снежно-белые тучи. Во всем чувствовалось приближение осени: даже в дневной жаре. Парить начинало часов с десяти, когда Иван уже заканчивал работу. Он натолкнулся на одну интересную тему: сущность афганского глагола «кавыл», что означает по-русски «делать». Иван любил изыскивать сравнения. А здесь сравнение само напрашивалось. Во время последней поездки в степи, — а Иван теперь в степи ездил, когда считал нужным, — разговорившись с киргизами, он заметил, что те сухую стойкую траву называют «кавыл», Так же это слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произносили одинаково.

«А не есть ли в этом большой смысл? — думал Виткевич. Он тщательно обгрызал кончик пера, волновался. — Может быть, кавыл, сухая трава, скрывающая от людей, землю — основу основ богатства и довольства народного — и означает у афганов истинный смысл глагола «делать»? Вернее — очищать землю, затрачивать огромный труд, убирать кавыл — не это ли послужило основой к словообразованию, к переходу названия травы в объяснение действия? Кавыл: освободить землю для посевов, для блага человеческого?»

Иван вскочил со стула, начал быстро ходить из угла в угол. Иногда он подносил ко рту пальцы: хотелось грызть ногти от мыслей. Одергивал себя. Пять лет назад дал слово Анне. А слово держать Иван умел.

Бегая по комнате, он размышлял о том, как было бы хорошо сесть и сразу же написать то, что представлялось ему таким простым и ясным. Но он нарочно оттягивал эту минуту, копил в себе новые догадки, сравнения, выводы. Только после нескольких часов расхаживания по комнате Иван подходил к столу и, не садясь, начинал писать.

Кипа бумаги, исписанной его убористым почерком, становилась все толще и толще. Ивану доставляло несказанную радость листать бумаги и перечитывать бесчисленное множество раз им написанное.

Перовский был смелый политик. Он отдавал себе отчет в том, что Бухара и Хива в современных условиях не могут существовать так, как они существовали раньше: суверенными ханствами, замкнувшимися за каменными стенами и песками пустынь, где отдых, работа, любовь и даже сон определялись не наклонностями и желаниями человека, но догматом мусульманской религии и волей ханов, наместников Мухаммеда на земле.

Бремя шло, бурно развивалась английская текстильная промышленность, а российская пыталась, в чем возможно, догнать ее. Индийский рынок удовлетворял англичан, но среднеазиатские ханства были словно бельмо на глазу, словно пустое место за прилавком рынка. А природа пустоты не терпит, место должно быть занято. Или британцами, или русскими. Другого выхода не было.

Дерзкие акции англичан в Средней Азии не проходили мимо зорких глаз оренбургского генерал-губернатора. И если Иван Виткевич мыслил свою поездку в Азию как просветительную и научную, как посильную помощь киргизам и узбекам в их

национальном становлении, то Перовский думал значительно дальше, а потому суровее. Дальновидность всегда сурова и не терпит никаких недоговоренностей. Перовский, мысливший категориями государственными, в душе отрицал Ивановы романтические, как ему казалось, планы. Но, будучи человеком умным, добрым и тонким, он за то время, пока Виткевич работал при нем, сумел изучить своего помощника и прийти к выводу, что в отношениях с ним нельзя рубить сплеча. Перовский прочил Ивану блестящее будущее ученого: лингвиста, историка и географа. Он называл его будущим «российским Гумбольдтом».

Поэтому, вызвав Виткевича для беседы об экспедиции в Бухару, которая давно уже назрела, а теперь, после последних акций англичан, стала попросту необходимой, Перовский ни в коей мере не хотел ему дать понять, каковы истинные ее цели. О предстоящем походе в Бухару Перовский думал часто, но никого, ни одной живой души в помыслы не посвящал.

Посмеиваясь, поглаживая себя по животу, затянутому корсетом — Перовский очень следил за фигурой, — губернатор щурился, весело посматривал на Ивана и молчал.

Виткевич тоже молчал и тоже весело щурился.

Потом Перовский остановился около стола, достал из ящика лист бумаги и, небрежно бросив его перед собой, закрыл ладонью.

— Танцуй, Иван Викторыч, — сказал он.

— Не учен, ваше превосходительство.

— А ты русского... Тут учебы не надобно: ногами шаркай да руками маши.

Не поднимаясь со стула, Иван два раза неуклюже дрыгнул ногами. Перовский засмеялся.

— Ну что ты, Иван Викторыч, — сказал он, качая головой. — Придется мне тебя в Россию отвезти, к себе. Там девки ногами такое выкамаривают, ой люли! Ладно. Читай! — И он поднял ладонь с листа бумаги.

Виткевич прочитал первые строки и вскочил. Лицо его сделалось радостным, сияющим.

— Рот закрой, муха влетит, — сказал губернатор.

В рескрипте было написано, что поручику Ивану Викторовичу Виткевичу надлежит отправиться в Бухарию.

— Василий Алексеевич! — воскликнул Иван. — Да как благодарить мне вас?!

— Как хочешь, так и благодари, — ответил Перовский.

Помолчал, а потом, сразу став серьезным, начал говорить:

— Ты, Иван Викторыч, будешь первым в Бухаре, кто знает языки, нрав и обычаи азиатов. Ты будешь первым, кто сможет России правду о Бухаре рассказать — побасенки слушать надоело. Мне надобно о Бухаре все знать, чтоб свои выводы делать.

Широко расставив ноги, Перовский остановился около окна. Глядя на его широкую спину, на крепкий затылок и красную, изрезанную проволочками морщин шею, Виткевич негромко спросил:

— Василий Алексеевич, а в качестве кого я отправляюсь в Бухару?

Перовский поднял левую бровь, сощурился. Он ждал этого вопроса и готов был на него ответить.

— Ты едешь моим агентом.

— Агентом военного губернатора?

— Да, военного губернатора. Но такого губернатора, который интересуется не только протяженностью караванных путей, колодцами и хижинами для ночлега, не только ценою на верблюдов и коней, не только иностранцами, торгующими с азиатами, но духом народа, соседствующего с Россией. Духом! И потом я посылаю человека, в которого я верю как в ученого и к которому отношусь с чувством истинно отцовским. А как любой отец, дающий сыну многое, — медленно, чеканя каждое слово, продолжал Перовский, — я жду от тебя подтверждения действием доброго ко мне отношения.

Сказав так, Перовский лишил Ивана возможности возражать и спорить. Он давал Виткевичу возможность заниматься во время путешествия тем, чем тот считал нужным. Но одновременно требовал и того, в чем сам, как человек военный, нуждался.

— Посуди сам, Иван, — сказал он, подойдя к Виткевичу, — сколь многое я тебе разрешаю, на что *carte blanche*<sup>[11]</sup> выдаю. Пользуйся. Вернешься, напишешь книгу, Пушкин в «Современнике» напечатает, я порадуюсь.

Снова отойдя к окну, Перовский бросил кратко:

---

<sup>11</sup> Полная свобода действий, буквально — белая карта (*франц.*).

— Ступай, Виткевич, да хранит тебя бог. Ступай.

И по осени, переодевшись в костюм хивинца, Виткевич снова отправился в Бухару, но уже не как беглец, а как исследователь Азии, доверенное лицо генерал-губернатора Перовского.

Но прошло полгода, истекли все сроки, а Виткевич в Оренбург не возвращался. Человек пропал, канул в воду. То ли в степях погиб, то ли в Бухаре погиб. А может, и не погиб вовсе. Но почему не возвращается? Когда Перовский начинал думать об этом, у него портилось настроение.

...Виги и тори во время прений в палате общин Великобритании произносили блестящие речи. Виги и тори в палате лордов, отговорив свои речи, выходили на улицу и тут же отправлялись на окраины Лондона драться на дуэли. Даже легендарный Веллингтон, несмотря на славу и преклонный возраст, дрался с лордом Винчельси после того, как не смог найти общего языка со своим политическим противником в здании Вестминстерского дворца.

В 1816 году Стефенсон употребил свой первый локомотив для перевозки угля. В 1825 году его локомотив перевозил не только уголь, но и пассажиров с поразительной скоростью: 8 миль в час. Через десять лет Стефенсон настолько усовершенствовал свое изобретение, что паровоз развил 35 миль в час. Развитию нужны скорости, Стефенсон давал скорости.

Король Георг IV обвинил свою монаршую супругу Каролину в прелюбодействе. Каролина умерла. Лондонцы устроили ей торжественные похороны.

Британские фабриканты понизили заработную плату до минимума и поставили, рабочих в условия, близкие к рабству. Девятилетние мальчики работали на шахтах, впряженные в угольные тележки. Дети стоили дешевле лошадей.

Лорд-канцлер палаты лордов Великобритании сидел во время заседаний и пылких речей о всяческих свободах, а равно и о всяческих притеснениях — Англия страна демократическая, конституционная — на подушечке, набитой шерстью, чтобы лишний раз подчеркнуть значение этой отрасли промышленности для Англии.

Сокрушая все на своем пути, капитализм развивался в Великобритании, несмотря на дуэли и прелюбодеяства. Все эти романтические аксессуары не мешали развитию капитализма, да и не могли помешать.

Но в определенные исторические моменты даже такому, напористому и стремительному, несмотря на внешнее англиканское спокойствие, капитализму, как капитализм британский, нужны были и прелюбодеяства императриц, и дуэли герцогов, и двусмысленные эссе политиков. Но особенно нужны были речи. Не только для того, чтобы смаковать за десертом тот, или иной

каламбур лидера виггов. Выступления политических деятелей были призваны ускорить формирование общественного мнения. Прикрываясь надежным щитом «общественного мнения», прикрываясь громкими патриотическими криками, было легче лить кровь людей, завоевывая рынки для шерсти и говядины в Ирландии, Египте, Турции, Персии. В Индии.

В Индии.

В Индии.

В Индии.

«Смешно считать реку границей, — начинали писать в газетах опытные журналисты. — Река разделяет разделенное ранее. Граница по реке — несправедливая граница».

О чем это? О какой реке? О какой границе? Англии? Шотландии? Нет. Речь шла об Индии. Об английских владениях в Индии.

«Граница нации — святая святых человеческого достоинства. Соблюдение границ — выражение уважения к патриотическим чувствам миллионов людей. Итак, граница Индии — за Индом».

Говорилось красиво.

Понимать следовало: «Английские фабриканты должны торговать не только с Индией, но и со Средней Азией».

Торговать, конечно, беспрепятственно, без всяких пошлин.

Восклицалось патетически: «Россия — главная угроза Англии на Востоке. А в Индии — особенно».

Понимать следовало: «Необходимо оттеснить Россию от Средней Азии возможно дальше».

Смешно же было в самом деле считать феодальную, отсталую Россию конкурентом Англии в делах индийских. Россия никак не могла управиться с турецкими и кавказскими делами (не без «помощи» англичан, конечно).

Наступление — основа победы.

Обвинив первым — имеешь право первым и ударить.

Так обвиняй!

И Англия обвиняла.

Правда, первой жертвой этого обвинения, облеченного пока что в формы вежливых дипломатических бесед, решительных шпионских акций и банковских замораживаний, оказалась не Россия — с таким возможным противником все-таки следовало действовать осторожно. Как-никак стомиллионный медведь; Наполеон и тот ожегся. Первой жертвой на пути английского наступления оказался Афганистан, страна сильных и смелых людей. В зоне Среднего Востока очень много значит, какую позицию занимает Афганистан. Больше всего англичанам мешала независимость афганцев. Больше всего англичан не устраивала самостоятельная, гибкая, энергичная, умная политика эмира Дост Мухаммед-хана, человека необычайно дальновидного и решительного.

Впервые после основателя афганского государства Ахмед Шаха Дюррани именно Дост Мухаммед обеспечил свободу торговли купцам, изничтожил разбойников на караванных путях, дал льготы ремесленникам и создал

регулярную армию. Таким образом, он давал «дурной», с точки зрения англичан, пример раздробленным индийским государствам.

Англичане повели наступление на Дост Мухаммеда обычным своим методом задабривания и запугивания одновременно. Эволюция такой политики была примерно следующая: легкая угроза — предложения субсидии — попытка организации бунта внутри государства — новые предложения субсидии — война.

Дост Мухаммед видел, что круг сужается. Он пытался договориться с англичанами о том, чтобы его страну оставили в покое, обещав за это абсолютный нейтралитет. Такое положение не устраивало британцев. Узел затягивался все туже и туже.

Оценив обстановку, Дост Мухаммед направил в Россию своего посла Хуссейн-Али с письмом к русскому министру иностранных дел.

Хуссейн-Али отправился в Бухару в конце 1835 года, с тем чтобы в начале лета прибыть в столицу России.

Именно поэтому и задержался Виткевич в Бухаре. Вернее, но и поэтому. Так как задержался он в Бухаре не по своей воле, а по нелепой случайности как раз за несколько часов до приезда сюда афганского посла.

Виткевич провалился по своей вине. Не сними он в чайхане меховой шапки, ни за что не признал бы его беглый конокрад и насильник Ванька Сапожков, сбежавший из Орска прошлой осенью, а сейчас прижившийся в Бухаре. Он зарабатывал большие деньги тем, что фискалил среди русских пленников, томившихся в Бухаре многие годы.

Когда Иван снял шапку, на него никто не смотрел, кроме Ваньки. Виткевич сразу же одернул себя и надел шапку. Если бы смотрел кто другой, а не Ванька, все бы обошлось спокойно.

«Забылся», — думал Иван, стоя по колено в воде. Тут, в бухарской тюрьме, камеры не то что в России: на полу по колено вода, сесть некуда. Да это еще слава богу! Здесь водятся такие казематы, где насекомых тьмы несметные специально разведены. Вот там истинная мука. С ума люди сходят через день.

«Ах ты, сволочь! — подумал Иван с гадливостью. — Сукин сын! Мерзавец! Своих продавать...»

Ивана успокаивало только то, что он успел плюнуть в лицо Сапожкову и ударить носком в мужское место. Иван хотел его еще раз туда же, да так, чтоб тот потом мог в скопцы наняться в эмиров гарем, но не успел: на руках и на шее повисли сразу четыре человека. Иван напрягся, ринулся вперед, сбросил двоих, отцепил того, который повис на шее, и кинулся к подоконнику. Он хотел выпрыгнуть в окно, там через дувал<sup>[12]</sup> сразу же на базаре окажешься. На базаре не страшно: там десятки тысяч людей, и найти одного среди всех невозможно.

Стражники, приведенные Сапожковым, стояли у дверей в растерянности: никогда еще такого не было, чтобы эмировым слугам оказывали сопротивление.

Ивану осталось до окна метр, не больше. Но в этот последний миг Сапожков, отлетевший от удара, поднялся на карачки и схватил Ивана за сапог, когда тот прыгал на подоконник. Иван упал. Это решило все. На него

---

<sup>12</sup> Глиняный забор.

набросились и связали по рукам и ногам. Потом оттащили в тюрьму.

Когда Ивана бросили в камеру, он даже рассмеялся. За двадцать шесть лет жизни — три раза в тюрьме. Не слишком ли много? Только раньше был в своих тюрьмах. А тут тюрьма чужая.

«Что же делать, что же делать?» — думал Иван. Фраза эта, часто повторенная в уме, стерлась, потеряла свое значение, и от нее теперь осталось только одно жужжание: «же, же, де, же, же, ть!»

Это «жже, же, ть» постепенно строилось в другое слово: «бежать».

Конечно, бежать. Но как? Отсюда не очень-то сбежишь.

Иван непрерывно ходил. Ноги устали, хотелось сесть. А садиться в воду нельзя. И он снова ходил из угла в угол, сведя брови к переносью. То и дело подносил пальцы к губам: хотелось грызть ногти. Нельзя. Обещал не грызть. Не будет грызть.

Еще в Орской крепости, воспитывая Садека, Иван дал себе слово быть во всем предельно искренним с восточными людьми, которые по натуре своей доверчивы, как дети. С тех пор он никогда не обманывал ни одного азиата даже в самых трудных ситуациях.

Но сейчас он решил отступить от правила. Подошел к двери, постучал кулаком. Никто не ответил. Постучал сильнее. Снова никто не ответил. Тогда Иван закричал:

— Дело к эмиру!

Приник к скважине, прислушиваясь. Шаги нескольких людей. Подошли к двери. Начали переговариваться о чем-то тихо, сдавленными голосами. Потом спросили:

— Ты кто?

— Англичанин. Везу к эмиру дело от моего короля.

За дверью снова зашептались.

— Давай дело.

Иван улыбнулся.

— Только эмиру отдам. Вам не отдам. Только в благословенные руки его величества, отца правоверных, тени над головой моей... — И он в течение минуты, не меньше, давал такие роскошные титулы эмиру, что стражники не могли не поверить человеку, знавшему столь хорошо все в обращении с именем их владыки.

С самого начала этой своей затеи Виткевич плохо верил в удачу. Виданное ли дело: для успеха задуманного им надо было, чтобы его повели по городу во дворец. Он подсчитал, что схватили его часов в пять. Часов пять он пробыл в тюрьме. Значит, сейчас десять вечера. Уже темно. Самое время для побега.

Когда дверь открылась и ему протянули руку, чтобы он поднялся из воды в сухой коридор, Иван начал чуточку верить в удачу. А когда четыре стражника повели скрестив перед, его грудью пики, Иван понял, что имеет один шанс из ста на побег. Это уже очень много. Перед выходом из ворот тюрьмы он сбросил тяжелые мокрые сапоги.

— Зачем? — спросил его старший из стражи.

— Идти больно, — ответил Виткевич, — у меня ноги ломаные.

Стражник подумал секунду, а потом кивнул головой.

Пошли.

Идут по тихим улицам. По темным улицам. Грудь скребет сталь пики. Впереди поворот в переулочек, маленький и темный. До него остается шагов двадцать.

Десять.

Пять.

Иван схватил пики, поднял их над головой и швырнул назад с силой. Стражники, не ожидавшие этого, налетели на тех двух, что шли позади. Не оглядываясь, Иван стремительно бросился вперед, свернул в переулок и понесся. За спиной он услышал сначала крики, а потом приближавшийся топот.

Снова поворот. Сюда? Нет. Дальше.

Вот еще один переулок. Может быть, сюда? А вдруг тупик? Нет, сюда!

Иван стремительно повернулся всем корпусом, скрылся в переулке и тут же налетел на человека. Оба упали. Человек закричал страшным голосом и схватил Ивана за горло.

Приехав в Бухару, Хуссейн-Али занемог. Он остановился в караван-сараяе не как посол, а как простой путешественник, чтобы не вызывать любопытства. Устроился в маленькой комнатке, в той, где всегда останавливались купцы средней руки. Его спутник лег спать в общей комнате, чтобы не мешать отдыху посла.

Хуссейна-Али знобило. Он натянул на голову одеяло и, прикрыв рот рукой, дышал себе на грудь, стараясь хоть как-нибудь согреться. Знобило сильнее и сильнее.

Постучались в дверь. Посол слабо откликнулся:

— Войди и будь моим гостем.

Дверь отворилась, вошел молодой перс, поклонился, поприветствовал посла, быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что Хуссейн-Али в комнате один, вышел.

Этот молодой перс был тем самым человеком, который столкнулся полчаса тому назад с Виткевичем в переулке. Испугавшись, он схватил Ивана за горло, решил, что это грабитель. Но, приблизив к себе лицо, он разжал руки и воскликнул по-русски:

— Иванечка!

То был Садек. Тот самый маленький Садек, который жил у Ивана в Орске и которого он потом отпустил на родину. Садека не нужно было учить сообразительности: он толкнул Ивана в ворота, сам бросился на середину улицы и начал биться в судорогах. Таким его застали стражники, прибежавшие сюда через минуту.

— Туда! — закричал Садек, показывая рукой в ворота, противоположные тем, где спрятался Иван. — Он побежал туда!

Стражники ринулись в ворота. Садек сел, прислушался и по-кошачьи тихо шмыгнул к Ивану. Они обнялись и расцеловались.

А через полчаса, достав для Ивана новую одежду, Садек привел его в караван-сарай, к Хуссейну-Али. Он не

знал, кто этот человек, но понимал, что путь он держит в Россию. С ним-то Садек и намеревался пристроить Ивана.

Высокое небо было освещено белым острием луны. Иван шел следом за Садеком по двору караван-сарая. Лошади хрупали сено. Сонно вздыхали верблюды, тоскуя о воле. Где-то кричали куропатки: днем они выступали в боях, а ночью переживали радость побед или горечь поражений. Мирная птица, а поди ж ты, и ее люди к боям приучили...

Садек ввел Ивана в комнату Хуссейна-Али, поклонился послу и вышел, выходя, он сказал негромко:

— Это ваш друг. И пусть те, кто будет спрашивать, верят, что это действительно так. Вы просили проводника в Россию. Это он.

Садек был толмачом в караван-сараяе, и посол еще утром вскользь попросил его о человеке, который знает дорогу к москалям.

Сначала они прощупывали друг друга быстрыми, на первый взгляд ничего не значащими вопросами. Посол сразу же увидел, что его новый сосед не мусульманин. Но, с другой стороны, он настолько хорошо говорит по-персидски и так любопытно на пушту<sup>[13]</sup>, что посол начал колебаться в своей уверенности.

Потом они разговорились.

Под утро они были почти откровенны друг с другом.

---

<sup>13</sup> Государственный язык Афганистана.

— Вы много говорили мне о той опасности, которая угрожает вашей стране со стороны Англии. Но какая разница, Англия или Россия?

— О родине так нельзя говорить. Так даже думать о ней нельзя. Я стар, я болен, я чувствую приближение своего часа. Но видишь — я еду. Лежа еду. Почему? Потому что мне так велит родина. А разница между Россией и Англией в том, что русские не требуют от нас тех позорных условий, которых требуют англичане. Русские ведут себя достойно, а англичане подобны рыночным ворам. И это больно афганцу. Больно и обидно за родину свою.

Высохший высокий старик привстал на локтях и посмотрел на Виткевича лихорадочными глазами. Потом он опустился на постель и начал хрипло шептать тихие, исполненные нежности слова любви к своей стране.

Виткевич вздрогнул. Вдруг что-то огромное и радостное, словно вихрь, вошло к нему в сердце. Он вспомнил товарищей своих по «Черным братьям», Тимофея Ставрина, Песляка, Веденяпина, Яновского, студёные зимы и тихие летние вечера, Анну. Он вспомнил родину. Он вспомнил всех тех, кто делил с ним вместе тяготы, а в тяготах — радости.

— Мы едем в Оренбург ранним утром, — медленно проговорил Виткевич и, не попрощавшись с посланцем, пошел к двери, на улицу, смотреть рождение утра.

— *Пы мыха ди ха*<sup>[14]</sup>, — вслед ему сказал посол, положил под язык щепотку табака и надрывно закашлялся. Закрыв глаза, он подумал: «Хитер русский».

---

<sup>14</sup> Будь счастлив (*афг.*).

Теперь посол был твердо уверен, что его спутник — русский. «Отчего же он тогда побледнел, если не оттого, что увидел свою родину, когда я заговорил о моей?»

Даже дипломат не может говорить о родине спокойно.

Неожиданное возвращение Виткевича вместе с афганским послом, доверенным лицом эмира Дост Мухаммеда, произвело в Оренбурге впечатление, грому подобное.

Сначала Перовский оцепенел от радости. Потом объявил Ивану свой восторг, как всегда, бурно. Губернатор увез Виткевича и Хуссейна-Али к себе домой, и там, запершись в кабинете, они проговорили часа четыре кряду. Когда беседа закончилась, Перовский сказал Ивану:

— Два дня на отдых, а потом в Санкт-Петербург. К канцлеру Карлу Васильевичу Нессельроде. — Губернатор улыбнулся и добавил: — Эк мы им, столичным, нос утерли, а?

— Ваши друзья о вас лестно отзываются. Это склонило меня к тому, чтобы предложить вам работать под моим началом, в азиатском департаменте, — не глядя на Виткевича, сказал Нессельроде и брезгливым движением руки поправил на столе бумаги.

Виткевич чуть заметно улыбнулся.

— Покорно благодарю, ваше сиятельство. Но работать в учреждении столь высоком, не зная Востока настоящего, не слишком ли большая честь для меня?

Нессельроде быстро взглянул на Виткевича и почесал задумчиво кончик носа. Подошел к маленькому, орехового дерева секретеру и достал оттуда что-то блестящее. Вернулся к столу и протянул Виткевичу орден.

— Поздравляю вас, — сказал канцлер. Помолчав немного, закончил: — Ступайте, я подумаю о вашей дальнейшей судьбе...

Через неделю, облеченный полномочиями дипломатического агента, Иван Виткевич был отправлен через Тифлис и Тегеран в Кабул, ко двору афганского эмира Дост Мухаммеда.

Притулившись в углу темной кареты, Виткевич неотрывно, тяжело думал о будущем. Оно представлялось ему темным, как осенняя дождливая ночь, и таким же грозным.

Вспоминалась почему-то депеша от Перовского, полученная за день до отъезда. Генерал-губернатор писал Ивану, словно сыну, и не уставал в каждой строке предостерегать. Он предостерегал и от болезни, и от, плохих людей, и от сырого воздуха.

«Я смотрю сердито, да с толком. У меня глаз верный, ты меня слушай», — вспоминал Иван слова губернатора...

Иван отдернул занавеску. В карету вошел предутренний холод. В серой далекой дымке громоздились холмы, переходившие постепенно в торы.

«Боже мой, — Иван зажмурился, задохнулся от счастья. — Азия там! Там простор, там радость!»

Виткевич был убежден, что в Афганистане он сможет быть полезным и русским и афганцам, что его труд — изучение народов Востока, их литератур, обычаев, их языков, их истории — пойдет на пользу потомкам, сблизит внуков афганцев и русских.

Отправляясь в Кабул, Виткевич шел на отчаянный риск. Он ехал в Кабул посланником Нессельроде, Бенкендорфа, Николая. Но, ступив на землю Афганистана, Виткевич перестал быть посланником Нессельроде. Он стал посланником России Пушкина, Глинки, Бестужева, Даля, Жуковского.

Иной России Иван не принимал и представлять соседнему, дружественному народу не желал да и не мог.

К середине 1837 года Афганистан оказался зажатым с двух сторон цепкими щупальцами британской экспансии.

На востоке от афганской столицы, в Пешаваре и Лахоре, англичане действовали против Кабула плохо замаскированными провокациями. Англичане всячески поощряли индийские племена сикхов к продвижению в Кабул и Кандагар, то есть в исконные афганские земли, и в то же время всячески препятствовали в их продвижении к морю.

На западе от Кабула, в Герате, окопался английский резидент, который и направлял все действия гератского эмира. Столь благодушная помощь гератскому эмиру, убийце отца теперешнего кабульского эмира Дост Мухаммеда, была отнюдь не случайной и тем более не филантропической помощью Британии.

Испокон веков афганский город Герат, расположенный в цветущем оазисе, неподалеку от водного амударьинского пути, был связующим центром между торговыми домами Востока и Запада. Помимо того, Герат был великолепным стратегическим плацдармом для нападения на Среднюю Азию. Правда, в кулуарах британского парламента резко протестовали против столь негибкого термина, каковым, является «нападение».

— Не лучше ли трактовать нашу помощь гератскому эмиру как обеспечение безопасности Великобритании? — не скрывая веселой улыбки, спрашивали друг друга парламентарии, когда им приходилось сталкиваться с резким осуждением английских авантюр в Азии.

Итак, речь, оказывается, шла не о захвате Герата, не о том, чтобы подчинить этот город англичанам, а о безопасности Великобритании, отстоявшей от афганского города Герата, по крайней мере, на шесть тысяч верст.

Цель оправдывает средства. Англичане — политические деятели и финансовые короли, любители колониальной поживы и промышленники — всеми силами старались обелить вмешательство британской военщины в афганские дела. Герат должен стать такой крепостью, ключи от которой хранились бы в Лондоне. Если бы англичанам удалось до конца подчинить Герат своему влиянию, тогда можно было бы думать о полном захвате всех афганских земель. Захват Афганистана был бы в значительной мере облегчен, если бы в тылу государства существовала крепкая опорная база английских войск. Следовательно, укрепившись в Герате, обеспечив таким образом далеко выдвинутый вперед левый фланг, англичане могли вторгаться в Кабул и Кандагар, а оттуда

уже, двигаясь двумя колоннами, соединившись с третьей колонной в Герате, форсировать Амударью и вступить в Хивинское и Бухарское ханства.

Если бы произошло именно, так, то сэр Александр Бернс наверняка получил бы генеральские погоны и выдвинулся в первый ряд британских военачальников-стратегов.

Но Ост-Индская компания прекрасно понимала, что в случае неудачи в Герате, как и в случае последовательно твердой, независимой политики Афганистана, позиции Британии в Азии на ближайшие годы окажутся сильнее всего образом подорванными.

Умный, циничный, напористый Бернс выдвинул афганскому эмиру Дост Мухаммеду три условия сохранения «вечного мира» между Британией и Кабулом.

Первое. Афганцы должны навсегда отказаться от захваченных сикхами исконных афганских земель.

Второе. Афганистан должен признать «независимость» Кандагара и Пешавара.

Третье. Дост Мухаммед не должен принимать ни одного посла из любой другой страны, кроме Британии, не имея на то разрешения английских чиновников.

За исполнение этих позорных и неприемлемых для независимости государства условий Бернс сулил Дост Мухаммеду мир с Британией и покровительство королевы.

Выдвигая эти условия, Бернс не знал, что генерал-губернатор Индии лорд Аукленд уже отдал секретный приказ — сосредоточивать войска на границах с Афганистаном. Не знал он и того, что сикхи,

подстрекаемые британцами, непрерывно нападали на афганцев. Ничего этого Бернс не знал.

Все это знал афганский эмир Дост Мухаммед.

Около небольшого афганского города Себзевара Виткевич приказал остановиться. Маленькая чайхана, скрытая от палящих лучей солнца сонной листвой ивы, казалась совсем безлюдной.

Спешившись, Виткевич неторопливо привязал поводья к стволу тутовника, постоял минуту, о чем-то думая, и пошел к маленькой покосившейся двери.

Где-то во внутреннем дворе жалобно скулил щенок и тоненький мальчишеский голосок причитал:

— Несчастье, ниспосланное шайтаном, принесло боль моему умному и хорошему щеночку...

Виткевич улыбнулся ласково и подумал о том, что в Оренбурге у него тоже остался пес. Бобка. Дурной и добрый до невозможности.

Виткевич постучал в дверь. Негромко сказал:

— Салям алейкум.

— Да, да, войди, Шарли.

Услыхав первые слова» произнесенные по-персидски, Виткевич распахнул дверь, и тут же пожалел о сделанном, потому что следующие два слова были произнесены по-английски.

Посреди комнаты на вытертом красно-синем ковре сидел невысокий человек в английской военной форме.

Какое-то мгновение Виткевич и англичанин смотрели друг на друга молча. Потом, опершись на руку,

англичанин попробовал подняться. Распухшая в колене нога помешала ему. Он виновато посмотрел на Виткевича и тихо предложил:

— Простите, я не могу встать. Входите, пожалуйста.

Не ответив, Виткевич повернулся и, плотно прикрыв за собой дверь, быстро пошел к отряду. Вскочив в седло, он коротко бросил:

— За мной!

Подъехавшему есаулу Виткевич пояснил, усмехнувшись:

— Не люблю я что-то с британцами в Азии встречаться.

Роллинсон прислушался. Попытался подняться на локте. Чертыхнулся. Шальная пуля под Гератом застряла в икре, а в здешней проклятой глухомани нет ни одного порядочного лекаря. Друзья настояли, чтобы Роллинсон в сопровождении шотландца Шарли немедленно отправился в Кабул к доктору Гуту — туда можно было скорее добраться, чем в Тегеран.

— Шарли, эй, Шарли! — крикнул Роллинсон.

Никто не ответил. Только, испуганно всхлипнув, еще громче завизжал щенок за стеной.

— Шарли!

«Неужели лошадей надо поить два часа?» — рассерженно подумал Роллинсон.

— Шарли!

«Рыжий осел, болван».

— Шарли! — хрипло заорал Роллинсон, откинувшись всем корпусом назад, чтобы не слишком затекала правая рука.

Пока Роллинсон чертыхался, опасаясь, что незнакомец скроется, Шарли оказал Роллинсону невольную услугу. Получилось это вот как. Если спускаться от чайханы к ущелью, дорога внизу раздваивалась. Обе тропинки вели еще ниже, туда, где сердито бормотал ручей. Шарли обладал одной, особенно Роллинсона нервировавшей чертой характера: он был необыкновенно медлителен. И на этот раз он простоял добрых три минуты у развилки, решая, по какой все же дороге ему следовало спускаться к ручью. Тщательно все осмотрев, Шарли почему-то отдал предпочтение правой, хотя именно эта тропинка была значительно круче. Внизу он стреножил коней и пустил их к воде. А сам улегся отдохнуть минут десять.

Шарли не помнил, сколько времени он проспал. Наверное, долго, потому что в висках шумело от жары и по лбу лился пот. Проснулся он от чьих-то голосов. Открыв глаза, Шарли увидел метрах в двадцати от себя на берегу ручья двух людей в белых шароварах и полотняных рубахах, перетянутых необыкновенно широкими кожаными ремнями. По виду они явно не походили на здешний люд. Высокие, русоголовые, статные. Когда они нагибались, подбирая сухие сучья, — по-видимому, они хотели разложить костер, — Шарли видел, как под их полотняными рубашками перекачивались здоровенные мускулы. Шарли осмотрел их внимательно и вспомнил, что точно так же одетых людей он видел около русского посольства в Тегеране.

«Русские», — решил Шарли. Он хотел окликнуть этих ребят, но, пока раздумывал, стоит ли, двое повернули за здоровенную скалу, нависшую над белым от злости потоком, и скрылись из глаз. И именно то, что Шарли не окликнул русских, а просто-напросто вернулся наверх, в чайхану, и уже после нагоняя, полученного от рассерженного хозяина, рассказал ему о своей встрече, — именно все это и обеспечило в дальнейшем Роллинсону крест за заслуги как человеку, первому обнаружившему в Афганистане русские «казачьи части».

Ночью Бернс долго не мог уснуть. Москиты мучили его до самого утра. Несмотря на то что он, соскоблив эмаль с зеркал, вставил их в окна (стекло в Кабуле не было), все равно москиты проникали в комнату. Но не только москиты не давали спать Бернсу.

Как опытный шахматный игрок, он еще и еще раз припоминал и перепроверял все ходы, сделанные им за последние несколько дней. И чем строже он анализировал партию, тем крепче уверялся в правильности своей атаки и в выгодности своих позиций.

Чтобы разогнать москитов, Бернс раскурил сигару и, с наслаждением затягиваясь, стал пускать в темноту комнаты дым. Затянувшись особенно глубоко, он фыркнул, вспомнив, как лет десять назад лорд говорил ему: «Если начнете игру, обязательно закурите». Он умница, лорд, все понимает.

Рано утром его разбудил Роллинсон. Полное лицо его цвело улыбкой, несмотря на боль в ноге.

Бернс посмотрел на него вопросительно.

— Я видел русских, — с полным безразличием на лице сказал Роллинсон.

Бернс сразу же потянулся за сигарой, но, поняв, что этим он выдаст свое волнение, отдернул руку. Зевнул. С хрустом потянулся, и на секунду прикрыл глаза.

— Да? — спросил рассеянно. — Что ж, любопытно.

И только после такой интермедии он взял сигару и начал легко разминать ее пальцами. Отгрыз кончик, сплюнул горечь, закурил. Роллинсон, глядя на Бернса, Выжидательно щурился.

Лицо Бернса, обычно такое мягкое и ласковое, менялось, на глазах. Сначала под матовой кожей жестче обозначились скулы и заиграли желваки около ушей. Потом потухли глаза и спрятались под тяжелыми веками. На лбу собрались сильные, рубленые морщины. В комнате стало необычайно тихо. Только наверху, под потолком, гудели москиты. Писк их, слитый воедино, превращался в зловещий гул.

«Итак, — думал Бернс, — на шахматной доске появилась еще одна фигура. По силе она равна ферзю. А по всем законам шахматной игры король, усиленный ферзем, почти непобедим. В данном случае русский ферзь идет к афганскому королю. Это может кончиться победой. Их победой, афганцев. И поражением его, Бернса, англичан...»

Под потолком по-прежнему гудели москиты. Потрескивала сигара — по-видимому, листья табака были слишком пересушены.

«Кто из русских может идти сюда? — продолжал думать Бернс. — У них нет людей, знающих Восток. Я в этом теперь совершенно уверен. Ни в Петербурге, ни тем

более в Москве. Там есть одни лишь посредственные политики, обыграть которых в азиатской партии нетрудно. Значит, перед тем как этого ферзя — по тяжеловесности и пешку — по значимости допустят ко двору эмира, необходимо провести с ним самим партию, посмотреть, что это такое. Может быть, это такой слон, допустить которого ко двору эмира только выгодно, кто знает... Хорошо. Ну а если вдруг это тот самый разведчик, который сбежал от меня в Бухаре? Хотя он все-таки, вероятно, не был разведчиком. Это узнавал лорд через свои надежные каналы. По-видимому, тогда я ошибся. Тот не был русским разведчиком. Значит, опасения не должны быть слишком серьезными. Но поскольку опасения есть, к ним надо отнестись так, как принято относиться. Хорошо. Все».

Бернс отбросил легкое одеяло, встал. Широко улыбнулся Роллинсону и пошел одеваться. Он быстро вернулся, подтянутый, бодрый, улыбающийся, обаятельный.

— Едем, — сказал он Роллинсону и ласково похлопал его по спине.

Александр Бернс любил борьбу. И он умел бороться.

...Если перейти Кабул-реку, вспененную и нетерпеливую в это время года, за базаром, на котором прочно обосновались индусы-менялы, армяне и евреи, сразу же начинался большой, длинный забор, обнесенный вокруг дома, построенного специально для заезжих европейцев купцом Ар-Рашидом.

Здесь жил доктор Гут, человек, которого за пышные бакенбарды и детский пушок на голове острозыкие кабульцы прозвали «теленочком».

Ровно в два часа Гут вернулся из эмирского дворца. Еще в маленькой колясочке, специально для него сделанной — Гут верхом не мог ездить из-за тучности, — он нетерпеливо посматривал на старинные, формой похожие на луковицу часы. Сегодня в три часа он ждал у себя русского поручика Виткевича.

Этот молодой человек с бронзовым сильным лицом многим понравился при дворе. Гут считал своим непреложным долгом сблизиться с каждым, кто входил в орбиту эмира. По слухам, Виткевич то ли уже был неофициально принят Дост Мухаммедом, то ли должен быть принят на этих днях. Если он будет принят так, что об этом узнают все, это и будет считаться официальным признанием. Гут был умным и наблюдательным человеком. Уже после нескольких месяцев пребывания в Кабуле он понял, что Дост Мухаммед человек большого ума и прищуренного глаза. Гут в прищуренный глаз очень верил.

Дома он сменил рубашку и переобулся. Доктор носил мягкие, козьих шкур, сапожки. Осмотрел стол. Все было так, как задумано. Специально для того, чтобы поразить Виткевича, человека северного, с Азией незнакомого, Гут приказал доставить самые лучшие сорта черного винограда, яблоки, засахаренные дыни, грецкие орехи, тертые с ягодами тутовника, и яркие гранаты. Во дворе уже пахло жареным мясом — на углях, нанизанные на тоненькие металлические палочки, лежали кебабы и вырезки для плова.

Виткевич прибыл к трем, с опозданием на две минуты, как и положено по этикету. Гут встретил его у ворот, взял за локоть и, тесно прижав жилистую руку поручика к своей мягкой груди, повел в дом.

— Мой дорогой посол, — проворковал Гут, — я прошу разрешения называть вас первым русским казаком. Вы разрешите?

Виткевич пожал плечами и, усмехнувшись, кивнул головой.

— Пусть это дерзость, — продолжал Гут, — ведь вы дипломат, а я лекарь всего лишь... Но здесь и лекари могут быть полезны дипломатам.

— В такой же мере, как и дипломаты лекарям, — отшутился Виткевич и попробовал освободить свою руку.

Но Гут еще крепче прижал, его локоть к груди и подвел к столу.

— Сначала вы должны познакомиться с афганской кухней, — сказал он, — мой долг быть вашим гидом.

Доктор усадил Виткевича на тахту и захлопотал вокруг него, пододвигая со всех сторон блюда с яствами.

Гут принадлежал к той категории людей, которые любят угощать. Самое большое наслаждение Гут испытывал, заново переживая те вкусовые ощущения, которые им были давно забыты из-за чрезмерного увлечения гастрономией в прошлом.

Дозы принятия пищи у Гута были расписаны по минутам. Сначала яблоко и груша. То и другое с разных, совершенно диаметральных сторон действует на желудок. Это хорошо, ибо всегда две противоположные силы порождают прямую. Всякая прямая — благо в нашем мире сфер и зигзагов. Потом гроздь черного винограда. Две-три сливы, не больше. Полстакана гранатового сока. Несколько минут отдыха. А потом... Потом начинается настоящее блаженство: плов с

топленным бараньим салом, изюмом и кусками гушта — мягкого, пахучего мяса.

— Ну как? — весело поглядывая на пиалу с пловом, принесенную Виткевичу мальчиком-слугою, спросил Гут. — Каков аромат, а? Что ваш Петербург! — И доктор весело рассмеялся.

Гут разрешал себе шутить, угощая гостя обедом. Обед этого стоил. Но Виткевич не успел по достоинству оценить кухню доктора. Хлопнула входная дверь. Гут поднял голову. Брови его поползли вверх от радостного изумления: на пороге стояли Бернс и Роллинсон.

— Господа! Откуда? — кинулся навстречу к гостям Гут, поспешно вытирая рот салфеткой. — Это сюрприз!

Спохватившись, он затоптался на месте и, обращаясь попеременно то к Виткевичу, то к Бернсу, быстро сказал:

— Разрешите представить вам. Господин Виткевич. Господа Бернс и Роллинсон. Прошу вас, это такая радость. В моем доме...

Нужна была воля и выдержка Бернса, чтобы с таким открытым и веселым лицом пойти навстречу побледневшему Виткевичу.

— Здравствуйте, господин посол. Я счастлив встретить здесь еще одного европейца, — сказал Бернс, приближаясь к Виткевичу.

— Вы оговорились, — поправил его Виткевич, побледнев еще больше. — Я не посол. Просто поручик.

Они обменялись крепки рукопожатием. Со стороны казалось, что здороваются старые друзья. Роллинсон засмеялся:

— А вы меня заставили пережить много томительных минут в Себзеваре, мосье Виткевич.

Иван посмотрел на Бернса и, улыбнувшись краешков рта, ответил:

— В пути не следует быть разговорчивым. Я думаю, господин Бернс поддержат меня.

Бернс сразу стал серьезным.

— Совершенно верно. Роллинсон, поверьте, господин Виткевич прав. Он говорят золотые слова. Проситесь к нему в оруженосцы. Вам будет легко видеться, потому что свидания будут, по-видимому, происходить во дворце эмира. Это романтично. Кстати, вы уже представились его величеству? Если нет — соблаговолите принять мои услуги как вашего друга и человека, близкого его величеству уже много лет.

Виткевич подвинул Бернсу блюдо с яблоками.

— Мне очень нравятся вот эти, желтые. Нет, нет, справа. Наш дорогой доктор знает, чем угощать.

Гут был польщен и поэтому поклонился. Увидев забинтованную ногу Роллинсона, спросил!

— Что с вами?

— Пустяки.

— Для доктора пустяков не существует.

— Поранил на охоте, доктор, пустяки, сущие пустяки.

— Ну, знаете, с этим шутить нельзя, — нахмурился Виткевич, — вдруг какое-нибудь загрязнение... Или перемена погоды, дожди. Это может повлиять весьма плачевным образом. Кстати, как сейчас в Герате, сыро?

— Нет, сухо, — ответил рассеянно Роллинсон.

Доктор и Роллинсон были заняты осмотром ноги, и поэтому никто не видел, как встретились взгляды Виткевича и Бернса. Они смотрели друг на друга пристально и тяжело. Вдруг Виткевичу захотелось доказать Бернсу язык: «Что, проговорился твой дружок? Тоже мне, дипломаты...»

Бернс не выдержал взгляда Ивана и отошел к Роллинсону.

— Мы не будем мешать вашей беседе, доктор, — сказал он. — Право же, нам очень неудобно, что мы ворвались к вам столь внезапно. Простите нас.

Доктор и Виткевич начали было протестовать в один голос, но англичане все же ушли.

Улыбка сошла с лица Бернса только на улице. Он сокрушенно покачал головой:

— Ай-яй-яй!.. «Какая сейчас в Герате погода?» А? Как он вас ловко, друг мой!

По пути в эмирский дворец Бернс напряженно обдумывал создавшуюся ситуацию. Да, в Кабул пришла, конечно, не пешка. В Кабул пришел ферзь.

«А ведь, значит, и лорд ошибается, — думал Бернс. — Вот он, этот мальчик. Нет в России востоковедов? Есть! Есть, черт возьми».

Запыленный, не одетый по этикету, он быстро вошел в приемные покои Дост Мухаммеда. Адъютант эмира Искандер-хан радостно сжал его руку: он любил англичан, а особенно Бернса.

Через несколько минут адъютант вернулся и знаком предложил Бернсу следовать за собой. Миновав темную комнату с острым, давно здесь установившимся запахом жженого миндаля, адъютант отворил половинку низкой двери и пропустил Бернса перед собой.

Эмир сидел, закрыв глаза и устало опустив руки вдоль тела. Большой, во всю комнату, ковер, тяжелые драпри на окнах гасили все звуки. В кабинете было тихо.

— Салам алейкум, повелитель правоверных, великий мудростью и разумный силой, — сказал Бернс и повторил свое приветствие теперь уже громче: первый раз его голос показался шепотом.

Дост Мухаммед открыл глаза, кивнул Бернсу и указал на невысокое мягкое креслице, стоявшее по правую от него руку. Бернс сел и, не дожидаясь вопросов Дост Мухаммеда, заговорил первым:

— Ваше величество, чрезвычайные обстоятельства принудили меня просить вашей аудиенции.

— Я это понял по твоей одежде, — заметил эмир.

Бернс оглядел себя, подсадовал на торопливость.

— Ничего, пустяки, Бернс. Так что же это за чрезвычайные обстоятельства?

— Активизация русских агентов в вашей великой стране.

Эмир придвинулся вплотную к Бернсу и спросил быстро:

— В чем она выражается? Факты!

Бернс привык к тому, что эмир никогда не ставил вопроса в лоб. Тактичный и умный, понимая все

происходящее вокруг, Дост Мухаммед до сих пор только давал Бернсу почувствовать, что он понимает многое и о многом осведомлен. И о том, что английские резиденты ведут подрывную работу в Кандагаре и Кундузе, и о том, что происходит за Индом.

Сейчас его рассердил тон и манера, в которой говорил англичанин. Эмир потребовал фактов. Это еще больше насторожило Бернса. Ему надо всего несколько мгновений для того, чтобы придумать и обобщить факты, построить их в сильную, подкрепленную неопровержимыми доводами концепцию и представить эмиру.

Но и Дост Мухаммеду эти мгновения оказались совершенно достаточными для того, чтобы понять смысл паузы. И он чуть заметно улыбнулся. Бернс увидел улыбку эмира и понял, что начинает проигрывать. Нужно было менять тактику. В таких случаях лучшая тактика — напористость и откровенность.

— Я говорю о Виткевиче, ваше величество.

— Ах, так? Это что, и есть активизация?

— Хотя бы. Ибо ни мне, ни вам пока не известны истинные цели этой миссии.

— Вам они, конечно, не известны. Но почему вы думаете, что они не известны мне?

— Разве ваше величество уже изволили принимать Виткевича?

— Это известно тоже одному мне. Да и потом, какое это имеет отношение к активизации агентов русских?

Дост Мухаммед легонько хлопнул в ладоши. Маленькая, незаметная дверь позади него отворилась.

Низко согнувшись, кланяясь на каждом шагу, оттуда вышел слуга-лилипут.

— Принеси нам кофе.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил слуга и бесшумно исчез. Дверь за ним затворилась.

— Следует ли мне понимать, что присутствие русской миссии желательно вашему величеству?

Голос Дост Мухаммеда стал жестким:

— Мне желательно присутствие в Кабуле миссий всех стран. Слишком долго жили мы в изоляции.

— В таком случае, ваше величество, вам, по-видимому, нежелательно присутствие в Кабуле представителя Великобритании?

— Россия и Великобритания дружественные государства, насколько мне известно. Почему бы вам не работать здесь об руку с русским офицером?

— Ваше величество изволит шутить?

— Я не склонен к шуткам в разговоре с вами.

— В таком случае мне придется, ваше величество...

Дверь позади эмира растворилась, и на пороге появился слуга с подносом в руках. Из маленького серебряного кофейника шел пар. Комната наполнилась ароматом. Слуга неслышно поставил поднос, поклонился и вышел.

— Хотите кофе?

— Благодарю вас, ваше величество. Сначала я хочу окончить разговор. Итак, если Виткевич будет принят

вами, мне придется, к великому сожалению, покинуть Кабул.

Эмир налил Бернсу в чашечку величиной со скорлупу грецкого ореха густой черной влаги и пододвинул сахарницу. Только после этого он поднял глаза на англичанина.

— Я обязательно приму Виткевича. Мне не пристало менять своих решений, Бернс. Так же, как и никогда не изменю своего решения принимать всех без исключения иностранных послов самостоятельно, не испрашивая на то унижительного разрешения у губернатора Индии... Пейте кофе, Бернс, и постарайтесь быть благоразумным. Пока что мы вдвоем, а вдвоем быть благоразумным легче, чем на глазах у тысяч.

Бернс заколебался. После молчания он повторил все же:

— Если вы примете русского, я покину Кабул.

— Как вам будет угодно, Бернс. Вы вольны в решениях, Только попомните мой совет: Наполеоном быть хороно. Но быть плохим Наполеоном неблагоприятно.

...К Виткевичу на этот раз Бернс пришел поздним дождливым вечером. Улицы Кабула, погруженные в темноту, казались мертвыми: ни единого звука не доносилось из домов, только собаки тонко повизгивали, недоумеая, почему в небе нет луны.

Увидав Бернса на пороге своей комнаты, Виткевич безмерно удивился.

Здравствуйте, господин Виткевич. Простите за столь позднее и бесцеремонное вторжение. Но так лучше и для меня и для вас. Вы разрешите мне войти? — И, не дожидаясь ответа, Бернс вошел.

Он снял накидку, положил ее на спинку стула. Сел, забросил ногу на ногу и, быстро осмотревшись, заметил:

— А все-таки вы обманщик, дорогой посол.

— В разговоре со мною прошу вас соблюдать вежливость, полковник.

Бернс удивился:

— Это вы про обманщика? Пустяки, право же. Но если это столь для вас неприятно — примите мои искренние извинения. Чудесно! Теперь я повторю снова и с еще большим к вам уважением: вы обманщик.

Иван поднялся. Бернс, как бы не замечая этого, продолжал:

— Вы провели меня в Бухаре в первый раз. А здесь не только провели, но, как говорят знатоки бриджа, переиграли. Не горячитесь, пожалуйста. Давайте уговоримся не следить за терминами. Будем говорить откровенно — на обоюдных началах, ладно? Вы понимаете, господин посол, что вы наделали? Нет? Хорошо, я объясню вам, тем более что все это просто до чрезвычайности. Я, Александр Бернс, а в моем лице Великобритания, должен уйти из Кабула лишь потому, что сюда пришли вы и сумели понравиться правителю Досту больше, чем я.

— Кто вам мешает нравиться? Подкрасьте губы, насурьмите брови — из вас мужчина хоть куда, — грубо,

в тон Бернсу, ответил Иван, — но весь этот разговор мне непонятен и...

— Что «и»? — быстро спросил Бернс. — «И» буду говорить я. Именно я, потому что мне известно о вас все, даже то, что вам самому неизвестно. Посол, — Бернс растянул губы в досадливой усмешке, — под надзором полиции. Смешно, не правда ли?

Где-то, в двух местах сразу, затрещали сверчки. Они были как музыканты в хорошем оркестре: когда уставал один, другой подхватывал его песню с новой силой. Бернс, услышав их, замолчал. Потом, вздохнув, просто, без иронии спросил:

— Вы знаете, что ждет вас в России? Конечно, не знаете. Я знаю. Мне почему-то близка ваша судьба, Виткевич. Меня, словно противоположный полюс магнита, тянет к вам. Но довольно редко в основе человеческого притяжения скрыта столь резкая полярность, как у нас с вами. Я знаю себе цену, господин Виткевич, у меня очень большая цена, но вы мне особенно импонируете именно теми качествами вашего характера, которые у меня — к счастью ли, к горести ли, не ведаю — отсутствуют. Да не смейтесь вы, черт возьми! Я шотландец, я умею трезво оценивать свои поступки и мысли. Когда я вижу, что поступок мой нелеп, но неотвратим, — я человек страсти, — мне остается только шутить над самим собою, а занятие это весьма тягостное...

Увидев, что Виткевич слушает его с усмешкой, Бернс прервал себя:

— Я отвлекся: я не на смертном одре, и поэтому искренность моих слов может вызвать у вас одно лишь недоверие и излишнюю настороженность. Итак, я хочу

предложить вам иное решение нашей партии. Я хочу предложить вам должность секретаря нашей миссии в Тегеране. Хотите?

— Мы не в лавке, Бернс, а политика — это не груши, которыми торгуют на базаре.

— Ну, это уж просто недостойно вас, Виткевич, — удивился Бернс, — такой чистый человек, а со мною хотите играть в лицейскую наивность. Политика действительно не груша. Слишком хорошее сравнение. Политика — это кожура от перезрелого арбуза, и не нам с вами закрывать глаза, гуляя по краю пропасти.

— Если вы, Бернс, довольствуетесь огрызками арбузов, то это говорит просто-напросто о ваших извращенных вкусах. Я огрызков не ем.

— Ого! Как понять вас следует? Мне хочется понять вас так, что пост секретаря низок?

Виткевич поднялся и ответил гневно:

— Бернс, перестаньте. Я теряю уважение к вам.

И тут случилось то, чего Бернс потом себе никогда не мог простить. Быстро, шепотом, глотая слова, он предложил Ивану:

— Ну хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я глава торговой миссии, у меня большие средства. Станьте магараджей — дворцы, гаремы, блаженство созерцательности...

Виткевич ударил кулаком по столу. Глаза его сузились гневом, ноздри раздулись, губы стали тонкими и белыми.

— Вон отсюда, — негромко сказал он.

Бернс спохватился, но было уже поздно. Он понял, что здесь партия проиграна и ничем уже не спасти ее. Сразу стал таким, как прежде: надменным, шутливым, спокойным. Только лихорадочный румянец на скулах выдавал то волнение, которое он только что пережил.

— Только тише, — негромко попросил Бернс. — Вам же выгоднее, чтобы все было тихо, потому что здесь я. Что подумает ваш есаул, казаки? Ведь у вас в России очень любят размышлять над подобными казусами.

— Вон отсюда! — повторил Виткевич и облизнул пересохшие губы. — Убирайтесь прочь!

— Хорошо, мой посол, — уже совсем спокойно ответил Бернс, — я уйду. Но я обещаю вам — а я обещаю на ветер не привык бросать, — вы мне дорого заплатите за вашу победу. Это не победа вашего правительства, и именно этого я вам никогда не прощу. Вы пожалеете о том, что сделали. Прощайте. Мы с вами больше никогда не увидимся.

И, учтиво поклонившись Ивану, Бернс вышел.

Он оказался прав: они больше никогда не увиделись. Ровно через четыре года восставшие афганцы убили Бернса в Кабуле. Но до своей смерти он подготовил не одну смерть для других — знакомых и незнакомых ему людей.

В один из дней, когда Дост Мухаммед с утра совещался с военачальниками и посланцами из Кандагара, Виткевич заперся в своем кабинете. Он просидел за столом, не поднимаясь, часов десять кряду. Писал. Курил кальян и писал, писал не переставая.

А когда в Кабул пришли сумерки, приглушив все дневные звуки, Виткевич разогнулся, выпил крепкого холодного зеленого чая, походил по комнате и уже потом запечатал несколько листов в большой, им самим склеенный конверт и передал его казачьему есаулу, отправлявшемуся с дипломатической почтой в Санкт-Петербург.

И хотя на конверте было старательно печатными буквами выведено: «Петербург, редакция журнала «Современник», письмо это попало в III отделение, на стол Бенкендорфа.

Александр Христофорович осторожно вскрыл конверт и, надев очки, погрузился в чтение.

Вечером, встретившись на балу с Нессельроде, Бенкендорф сказал ему с обычной своей доброй улыбкой:

— Карл Васильевич, а ваш протезе из Кабула эдакие бунтарские стишки шлет, за которые мы бы здесь...

Он не закончил: к Нессельроде подошел Виельгорский. Бенкендорф повернулся к танцующим. Залюбовался грацией княжны Конской. Подумал: «Молодость — это чудесно. А ежели я начинаю завидовать юности, значит, я старею».

Когда Нессельроде остался один, злая, нервная судорога рванула щеку. Подумал о Бенкендорфе: «Меценат...» Вздохнул. Не до стихов ему сейчас было. Сегодня британский посол после неоднократных намеков официально заявил о том, что Виткевич, русский представитель в Кабуле, своими действиями в Афганистане разрушает традиционную дружбу

Великобритании и России. Какими поступками — посол не уточнил. Да Нессельроде и не интересовался. Трусливый, в основу своей внешней политики он ставил два принципа: «Уступка и осторожность».

Прошло четыре месяца.

Виткевич кончил читать депешу, скомкал ее и хотел выбросить в окно. Но потом он разгладил бумагу и начал снова вчитываться в сухие, резкие строчки. Сомнений быть не могло: в Петербурге что-то случилось. Иначе тот отзыв расценить нельзя было как смену прежнего курса.

Спрятав депешу, Иван пошел в город. Кабул жил своей шумной, веселой жизнью, звонко кричали мальчишки-продавцы студеной воды, ударяя в такт своим крикам по раздутым козьим шкурам, в которых хранилась драгоценная влага. Размешивая длинными, свежеструганными палочками горячую фасоль, мальчишки постарше предлагали прохожим отдохнуть в тени дерева и перекусить — фасоль с теплой лепешкой, это ли не подкрепляет силы!

Совсем маленькие карапузы деловито разносили по лавкам кальяны. Мальчуганы не предлагали свою ношу никому — огромные кальяны и так видны издалека.

Только на набережной, там, где начиналось самое сердце базара, Виткевич начал постепенно приходить в себя, заново оценивая все происшедшее. Он давно подозревал, что Бернс разовьет бурную деятельность для того, чтобы отозвать его из Кабула. Но как же ему удалось добиться своего? Как?! И сколько Иван ни

старался найти версию, которая хотя бы в какой-то мере оправдывала его отзыв, ничего путного не получалось.

— Саиб хочет яблок? Груш? — услышал он голос рядом.

Торговец фруктами вопросительно смотрел на Ивана и перебирал свой товар быстрыми пальцами, показывая самые налитые яблоки.

— Нет, спасибо.

«Нет. Этого, конечно может быть. Просто смена курса. Тогда я должен как можно быстрее быть в Петербурге. Я обо всем расскажу Перовскому, и тот повлияет на государя. Ведь они друзья. Я буду писать в газету, призывая о помощи Афганистану. Я буду говорить всем и каждому: в Афганистане британцы хотят лить кровь. На помощь афганцам! Я не устану говорить людям о той борьбе, которую ведет Афганистан. Не устану. В Россию! Да, мне надо немедленно отправляться в Россию. В крайнем случае я испрошу себе разрешение и вернусь к Дост Мухаммеду вместе с теми, кто захочет драться за свободу».

Иван пошел прощаться с Гуль Момандом, с тем самым оружейным мастером, который оказался двоюродным братом Ахмед Фазля, первого кабульского друга Виткевича.

Оружейная мастерская человека, имя которого в переводе на русский язык означало «цветок племени момандов», помещалась в центре базара. Базар в Кабуле совсем непохож на европейские рынки. Это не два, не три и даже не двадцать рядов с овощами, мясом и фруктами. Весь центр города — двадцать или тридцать улиц, улочек, переулков и тупичков — был сердцем

кабульского базара. Если идти от Кабул-реки по направлению к необозримо широкой площади Чаман, то четвертая улица направо резко сворачивала и заканчивалась маленьким тупиком. Здесь, рядом со скорняжной и скобяной мастерской, помещалась мастерская Гуль Моманда.

Низко согнувшись, Гуль Моманд вертел ногой большой каменный круг. Быстро и резко он подносил к вращающемуся кругу рукоятку маленького, похожего на игрушечный пистолета. Постепенно с каждым новым штришком рождалась замысловатая афганская вязь.

Увидев Виткевича, Гуль Моманд отложил пистолет, вытер руки о широкие патлюны и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу Ивану.

— Здравствуй, мой возлюбленный брат и гость.

Заботливо расспросив друг друга о здоровье, настроении и самочувствии друзей, знакомых, они присели у входа. Гуль Моманд раскурил кальян. Когда вода в нем хрипло забулькала и от едкого дыма рубленых кореньев и листьев индийского табака у Гуль Моманда выступили слезы на глазах, он протянул Ивану трубку, предварительно обтерев ладонью мундштук.

Затянувшись один раз, Виткевич возвратил кальян Гуль Моманду. Так полагалось поступать в обращении с самыми большими друзьями. Гуль Моманд отстранил кальян.

— Нет, спасибо. Кури сначала ты, брат.

— Спасибо, брат.

— Нет большей радости, чем радость, доставленная тебе.

Помолчали. Покурили. Потом Виткевич сказал тихо:

— А я ведь прощаться пришел с тобой, Гуль-джан.

— Нет!

— Уезжаю, брат!

— Нет! Разве тебе плохо у нас?

— Мне хорошо у вас. Очень хорошо...

— Останься, Вань-джан, — сказал Гуль Моманд. — Я тебе жену найду. Пир устрою. У меня и жить будешь.

Иван обнял Гуль Моманда за плечи и прижал к себе. Они так просидели несколько мгновений, а потом оба враз, как будто застыдившись своей чувствительности, встали. Гуль Моманд взял маленький пистолет и протянул его Ивану.

— Вот возьми. На счастье. И знай, что в нем живет частица души твоего брата, твоего афганского брата Гуль Моманда.

Виткевич взял пистолет из рук афганца и поцеловал рукоять. Затем он снял с ремня свою саблю и протянул ее Гуль Моманду.

— Вот возьми. В этой сабле живет частица души твоего русского брата Ивана.

И двое высоких сильных мужчин обнялись. Сердце к сердцу.

После вечернего намаза у Гуль Моманда собрались друзья. Позже всех пришел Ахмед Фазль, потому что он недавно вернулся из Пагмана.

— Вань-джан уехал домой, — сказал ему Гуль Моманд.

— Нет! — воскликнул Ахмед Фазль. — Разве ему было плохо у нас?

— Когда он прощался, глаза у него были грустны, как у орла, раненного стрелой.

— Я должен спеть ему много песен! Он останется, если я буду петь ему песни. Я пойду к нему!

Ахмед Фазль опоздал всего на несколько минут. Виткевич уже уехал в Россию.

Еще никогда Иван Виткевич не был так уверен в своих силах и никогда раньше он так не понимал главной цели своей жизни, как сейчас, возвращаясь в Россию.

«Будет драка у меня с азиатским департаментом, будет, — весело думал Иван. — Да посмотрим, кто кого одолеет. И с Карлом Васильевичем побьемся — ничего, что канцлер...»

Он был так смел в своих мыслях и планах оттого, что чувствовал поддержку, любовь и дружбу афганцев, киргизов, таджиков. А человек, чувствующий дружбу целого народа, делается подобным народу: таким же сильным и страстным в достижении своей главной цели.

Виткевич специально завернул в Уфу, чтобы повидаться с Перовским. Губернатор растрогался до слез. Целый вечер он продержал Виткевича у себя, слушая его рассказ о поездке, а когда Иван поднялся, чтобы ехать в столицу, Василий Алексеевич сказал:

— Истинный ты Гумбольдт, Иван. Горжусь тобой. В обиду не дам, за тобой следом выеду. Нессельроде обойдем — прямо к государю обратимся.

Иван сидел в углу кареты и смотрел на пробежавшие мимо перелески, на луга, тронутые желтизной, на подслеповатые оконца деревень, на речушки, такие тихие и ласковые по сравнению с дикими горными потоками Афгании, и чувствовал радость, большую, гордую радость...

После приема у Нессельроде, который топал ногами и визгливо кричал, обвиняя Ивана в «заигрывании с дикими азиатами и желании поссорить Россию с Англией», Виткевич весь напрягся, подобрался для последнего, решительного удара, который он рассчитывал нанести по безмозглой политике канцлера с помощью Перовского. Иван считал, что только с помощью Василия Алексеевича можно было доказать свою правоту, отстаять свою точку зрения, столь нужную и России, и азиатским государствам.

...В номера Демутовской гостиницы Виткевич вернулся поздно вечером. Его познабливало. Растопив камин, он сел за маленький стол с кривыми ножками и достал из чемодана большую связку бумаг. Это была крохотная толика того, чему он посвятил себя. Это были сказки и песни афганцев, записанные им. Завтра поутру Иван думал отнести рукопись в «Современник» — там ее ждали с нетерпением.

Он погладил своей худой тонкой рукой шершавые страницы, пошедшие по краям сыростью. Потом

осторожно открыл первый лист и углубился в чтение. И чем дальше читал он, тем яснее видел край, месяц назад оставленный им, людей, которые стали его друзьями и братьями, их врагов, которые стали и его врагами. Он слышал звонкую тишину утра и таинственные звуки ночи, он заново ощущал силу горных ветров и тоскливый зной пустынь. Он жил тем, что читал, потому что он любил тех, кто веками создавал поэзию и сказку.

На Санкт-Петербург легла ночь, тишину уснувшего города лишь изредка рвали трещотки сторожей, а Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом жизни строки афганских песен.

...Я сто раз умирал, я привык

Умирать, оставаясь живым.

Я, как пламя свечи, каждый миг

В этой вечной борьбе невредим.

«...Милостивый государь, Алексей Христофорович.

Вчера, ночью возвратившийся из Афганистана поручик Виткевич был найден в номере Демутовской гостиницы мертвым. Все его бумаги были обнаружены в камине сожженными. Однако, несмотря на то, что на столе лежала записка, подписанная вышеупомянутым Виткевичем, которая уведомляла о его самоубиении, долгом считаю довести до сведения вашего, что пистолет, лежавший у него в руке, был не разряжен, а в стволе находилась невыстреленная пуля. Чиновники азиатского департамента, знавшие Виткевича ранее, уверили меня в том, что у него было такое количество бумаг, сжечь которые в камине не представлялось никакой возможности. Показанное чиновниками

подтверждается также и тем, что перед отъездом Виткевича в королевство Афганистан нами был проведен негласный просмотр бумаг его. Выяснилось тогда, что у него на хранении находилось 12 (двенадцать) рукописных словарей восточных языков. Каждый словарь от 600 (шестисот) до 900 страниц рукописного текста. Были у него обнаружены тогда же более 100 рукописных карт всяческих областей восточных. Были там также и несущественные, по мнению моему, тетради со сказками, стихами и пр. Я так же, как и чиновники азиатского департамента, имею склонность считать, что такое количество бумаг сжечь никак невозможно.

И, что также весьма существенным считаю, окно первого этажа было раскрыто в момент обнаружения трупа.

Все свои соображения честь имею представить на рассмотрение Вашего сиятельства.

Подполковник корпуса жандармов

Шишкин».

Бенкендорф долго читал донесение. Задумался. Взял перо и начертал наверху: «Считать самоубиенным». Потом подумал еще да и бросил донесение в камин. Позвонил в колокольчик. Вошел секретарь.

— Вызовите ко мне Шишкина, любезный, — попросил ласково.

Когда явился Шишкин, Бенкендорф сказал ему:

— Он был самоубийцей. Хотя его и убили. Убийц не ищите. Нам это сейчас невыгодно. Убил-то кто?

Шишкин хотел ответить. Бенкендорф перебил его:

— Вот так-то, подполковник. Ступайте. Итак, самоубийца?

— Самоубийца, ваше сиятельство.

...Я сто раз умирал, я привык

Умирать, оставаясь живым.

Я, как пламя свечи, каждый миг

В этой вечной борьбе невредим.

Умирает не пламя — свеча,

Тает плоть, но душа горяча.

И в борьбе пребываю, уча

Быть до смерти собою самим...

...Поэт Николай Тихонов рассказывал нам, что ему в руки попался афганский словарь, напечатанный накануне второй англо-афганской войны в конце прошлого века секретным издательством «Интеллидженс сервис».

— Этот словарь был похищен англичанами у Виткевича в номере гостиницы Демута... И не только это было похищено ими... Похитили все...

Одного не смогли сделать британские разведчики: они не смогли убить память о Виткевиче...

## **ПОД ПОКРОВОМ «РУССКОЙ УГРОЗЫ»**

— Ганга достаточно коснуться французской шпагой... — Слова Наполеона о том, что достаточно

выйти к Гангу, чтобы Британская империя рухнула, не были забыты ни в Лондоне, ни в других столицах.

Восемьдесят лет спустя та же мысль была повторена русским генералом М. Д. Скобелевым. Приблизившись к индийским границам, считал он, «можно нанести Англии не только сокрушительный удар в Индии, но и сокрушить ее в Европе». Слова эти генерал писал, находясь в Средней Азии, гораздо ближе к индийским пределам, чем когда-либо этого удавалось достичь Наполеону и его армии.

Эти были годы, когда в России жива была еще в памяти несчастная Крымская война, когда на улицах русских городов можно было еще видеть безногих и инвалидов, искалеченных английскими ядрами на севастопольских редутах. Позванивали Георгиевские кресты на выцветших ленточках, стучали костыли по булыжным мостовым. И нельзя было сказать, что это — затихающее эхо отгремевшей канонады или приходящий из завтра отзвук новой войны. Потому что ни севастопольская осада, ни мир, в конце концов заключенный, не решили исхода противоборства Англии и России. Противоборство это затянулось на десятилетия и проходило вдоль всех границ и владений двух империй.

Зиму 1877 года генерал Скобелев проводил в Коканде в своей резиденции. Здесь, в этом городе, издавна пересекались древние караванные пути из Индии, России, Китая. Сегодня здесь незримо пересеклись политические и военные интересы двух империй, Англии и России. Отсюда, с балкона дворца Худояр-хана, генералу открывается вид на горы. Там, за этими горами, в невообразимой дали лежат Россия, Франция, Англия, пребывающие в клубке

противоборствований и конфликтов. Клубок этот, как гордиев узел, должно разрешить одним ударом меча. Отсюда, из столицы Кокандского ханства, Скобелеву кажется, что он видит, как это сделать.

«Всякий, кто бы ни касался вопроса о положении англичан в Индии, — пишет он, — отзывается, что оно непрочное, держится лишь на абсолютной силе оружия, что европейских войск достаточно лишь для того, чтобы держать ее в спокойствии и что на войска из туземцев положиться нельзя<sup>[15]</sup>. Всякий, кто ни касался вопроса о вторжении русских в Индию, заявляет, что достаточно одного прикосновения к границам ее, чтобы произвести там всеобщее восстание».

Восстание не ограничится Индией, отраженной волной, резонансом оно отзовется в Англии. «Компетентные люди, — продолжал генерал, — сами сознаются, что неудача у границ Индии может повлечь за собой социальную революцию в самой метрополии...»

Потерять Индию страшно. Но социальная революция не просто страшно, это губительно. Социальные потрясения, которыми может быть чреват распад Британской империи угроза не только для Англии. Не потому ли государственные деятели России в отличие от генерала Скобелева, который видел лишь военную сторону дела, были весьма сдержанны в отношении подобных планов? Россия, подчеркивали они, не стремится ни к подчинению других народов, ни к расширению своих границ в этом направлении.

---

<sup>15</sup> Подтверждением этого явилось сипайское восстание 1857—1859 годов, едва не стоившее англичанам этой колонии.

Позиция эта декларировалась Петербургом неоднократно. Правда, лондонские политики не были склонны верить этому. Собственное лицемерие в колониальных делах заставляло их весь мир видеть погрязшим в обмане и лицемерии. Но русским представителям приходилось делать эти заявления не только в адрес Англии.

В восьмидесятые годы прошлого века в Индии побывал известный востоковед, исследователь буддизма И. П. Минаев. В своем путевом дневнике, опубликованном только через семьдесят пять лет, он не без иронии писал: «Англичане так много и давно толковали о возможности русского нашествия, что индийцы поверили им». Индийцы действительно поверили. Но информация эта, переходя от колонизаторов к индийцам, как бы меняла свой знак: из страха она становилась надеждой.

В начале шестидесятых годов в Ташкент прибыло посольство махараджи Кашмира Рамбир Синга. Посольство это было отправлено в глубоком секрете, пробиралось в величайшей тайне, прибытие его в Ташкент не афишировалось никоим образом. Однако английская секретная служба, судя по всему, сумела напасть на след посланцев.

Осенью, в нежаркое время года, купеческий караван шел вдоль Мургаба на север. Каравану сопутствовал отряд воинов-белуджей, нанятых купцами для охраны. Несколько человек с пиками наперевес следовали впереди. Остальные замыкали движение. Время от времени они затевали между собой какую-то непонятную игру и с пронзительным визгом носились вдоль длинной вереницы тяжело груженных верблюдов. К вечеру

белуджи притихли и все чаще поглядывали на юго-запад. Туда же тревожно поглядывали и погонщики. Там, у самого горизонта, небо обрело чуть сероватый оттенок. Это могло еще ничего не значить. А могло означать, что через час-другой солнце потемнеет и померкнет, скрытое тучей песка и мельчайшей пыли, несущейся в поднебесье. И горе и гибель тогда человеку и зверю, если «афганец» застигнет их в открытом месте. Много часов, иногда сутками, бушует «афганец», погребая все живое, неся опустошение и гибель.

Только один человек, следовавший где-то в середине процессии, не проявлял, казалось, ни малейшего беспокойства. Как и другие, он был закутан в серый бурнус. Как и другие, когда верблюд делал шаг, он наклонялся, готовый как бы упасть вперед, но не падал, привычно удерживаясь между двух вьюков. Как и другие, он откидывался назад, когда верблюд делал следующий шаг. Вы могли бы заговорить с этим человеком, и он ответил бы вам на классическом фарси — языке просвещенных людей Востока.

Но он единственный, кто мог бы ответить и по-английски, если бы здесь, среда этих песков и зарослей дикого саксаула, чудом мог бы появиться его соотечественник. Этот человек англичанин. Но об этом известно только ему одному. Даже его слуга, точнее, не слуга — человек, нанятый для разных услуг и следующий с ним, не догадывается об этом. Хозяин его — араб из Дамаска. У него какие-то свои счета с людьми, что следуют с караваном. Для сведения этих счетов он и нанял его, Роя, человека из касты тугов, которых англичане называют «душителю». Рой не знает еще, кто

эти люди. Задавать вопросы не его дело, когда будет нужно, ему будет сказано. Таковы правила.

Когда на привалах спутники спрашивали его хозяина, зачем направляется он в Бухару, какие дела влекут его, он отвечал, что он следует поклониться гробнице Джафер-Бен-Садика. Кроме того, вот уже много лет, как он болен. В Индии его смотрели даже врачи-сахибы, но не смогли помочь ему. Говорят, в благородной Бухаре есть великий врач и целитель муаллим<sup>[16]</sup> Саркер. Он лечит какой-то черной смолой, которую сам приносит с гор. Об этой смоле, мумиё, писал будто бы сам великий Авиценна. Вот почему принял он все расходы и тяготы этого пути, не помышляя ни о прибылях, ни о товарах. Разве у человека есть более ценный товар, чем дни его жизни, и прибыль более дорогая, чем возможность продлить эти дни? Впрочем, все в руках всевышнего.

Так говорил попутчикам сам его хозяин, почтенный и ученый человек из Дамаска. Что же касается каких-то заметок и записей, которые он делал во время привалов, то это благочестивые мысли, которые посетили его в пути. Надлежит записать их, дабы не ушли они вслед за быстротекущим временем, как уходит в песок вода.

Когда беспокойство спутников дошло до «господина из Дамаска», половина неба подернулась уже серой пеленой и солнце стало меркнуть. Предчувствуя беду, закричали верблюды и ускорили шаг, переходя на бег, не дожидаясь окриков и ударов погонщиков. Караван ускорил ход, хотя уйти от «афганца» было невозможно и впереди до вечера не было никакого селения, где можно

---

<sup>16</sup> *Муаллим* — ученый, учитель, почтительное определение к имени человека.

было бы укрыться. Обрывистый же и скалистый берег Мургаба не обещал защиты.

Видно, «господин из Дамаска» никогда не попадал под губительное дыхание «афганца» и страх этих людей ему был непонятен. Возможно, этот страх и губит их, не давая им выжить? Песчаная буря — разве может она убить человека? Скользя рукой под бурнусом, он нащупал залог своего спасения — две медные фляжки с водой. Этого не полагалось делать, идя с караваном, где воду везли для всех в больших бурдюках, навьюченных на верблюдов. Но он решил подстраховаться, как делал всегда в жизни, и пока не раскаивался в этом.

Фляги, которые прятал он на себе, были такой же его тайной, как тяжелый револьвер на кожаном ремне, который висел у него на шее, скрытый, как и фляги, под широкой одеждой. Почти все, кто шел с караваном, были вооружены, но никто не таил оружия, как никто не прятал при себе воду. Каждый понимал, что он выживет, только если выживет караван.

Хотя «господин из Дамаска» казался самому себе очень предусмотрительным и скрытным, в первые же дни пути слуга его знал и о тяжелом револьвере, и о фляжках с водою. Но Рой помнил, что хозяин его — больной человек, ведь он сам говорит об этом. А когда человек болен, больны бывают и его мысли и чувства. С вежливостью, свойственной Востоку, Рой делал вид, что ничего не замечает, не догадывается ни о чем.

Между тем «афганец» настигал их. Набежал уже первый порыв ветра и тут же исчез, только на отдаленных барханах закружились на вершинах маленькие смерчи, предвестники того, что должно произойти считанные минуты спустя. Но велик аллах и

многомилостив! Шедшие впереди закричали что-то и стали сворачивать с тропы, остальные, ускорая ход, устремились туда же.

Высокий скалистый берег образовывал как бы обширный грот, углубление, отчасти защищавшее от ударов ветра. Люди и животные устремились туда, гонимые страхом. Но, бросившись туда с остальными, путешественник успел заметить, что, несмотря на всю панику продолжал соблюдаться какой-то негласный порядок и достоинство. Пожилых купцов и уважаемых людей расположили в глубине грота, у самой стены. Дальше расположились остальные — погонщики вперемешку с животными и воины.

«Господин из Дамаска» замешкался на секунду. По праву учености, нездоровья, а также потому, что он шел к гробнице на поклонение, его место было там, в глубине грота. Но гордость и самолюбие не давали ему сделать шаг в ту сторону. Это были чувства не из этой, из другой, предшествовавшей жизни. Он колебался только секунду, когда кто-то помог сойти ему с верблюда, другие взяли под руки, проталкивая торопливо от края, вглубь, ближе к спасительной защите стены.

Но секундное его колебание и растерянность были замечены Роем. Как мог хозяин его не знать своего места, того, что понятно каждому, будь он индеец или мусульманин? Впрочем, он нездоров — вспомнил Рой.

Прежде чем налетел первый удар ветра и туча песка начала свой чудовищный танец, «господин из Дамаска» успел вспомнить Евангелие.

Но это было тоже из другой, предшествовавшей жизни. Из жизни, где у него было английское имя. Где были высокие стены Оксфордской библиотеки с полками,

установленными до потолка древними книгами. Именно там впервые услышал он зов Востока. Когда другие студенты изучали фарси и турецкий, урду и арабский, готовя себя к карьере чиновников и дипломатов, он помышлял о другом будущем.

И вот он здесь.

«Господин из Дамаска» едва успел расположиться, как вдруг стало невозможно дышать — волна горячего, сухого воздуха ударила его и повалила вместе с другими. Падая, он закрыл голову, пряча лицо от тысяч мелких песчинок, которые с силой обрушились вдруг, откуда-то сверху.

Он закрыл глаза, но и с закрытыми глазами почувствовал, что стало совсем темно. Ему хотелось вздохнуть, но даже под плотной тканью горячий, сухой воздух был наполнен пылью, которой, казалось, было больше, чем самого воздуха. Легкие разрывались от удушья, и он вдохнул эту страшную смесь. В ту же секунду порыв горячего ветра прижал его к острому краю камня.

Конец света не может быть страшней этого, подумал он и стал делать, чего не делал уже давно, — молиться.

Кончился «афганец» так же внезапно, как налетел. Люди с трудом поднимались, помогая друг другу, освобождая животных от завалов песка. Пыль, мелкая песчаная пыль была везде — во рту, в волосах, в одежде. Болело все тело. С трудом, как после тяжелой болезни, «господин из Дамаска» подошел к своему верблюду и похлопал его по шее, давая команду встать.

Когда измученный караван приближался к селению, где должны были переночевать, на небе сияли крупные звезды и полная луна стояла высоко над горизонтом.

Если бы он, «господин из Дамаска», учился только в Оксфорде, не прошел потом долгой и непростой школы у некоего капитана англо-индийской службы, он не смог бы, наверное, сделать так, чтобы «афганец» сослужил ту службу, которую он сослужил. Именно в минуту опасности человек выдает себя. Так повторял ему капитан. Два человека, следовавшие с караваном, занимали его. Эти люди не должны были достичь Бухары. Или, по крайней мере, покинуть Бухару. Доказательством того, что «господин из Дамаска» сделал то, что ему надлежало сделать, будет письмо, которое везет один из них.

С этих-то двоих и не спускал он глаз в те последние мгновения, когда налетал «афганец». Оказалось, правильно сделал. Прав был капитан. Эти двое кашмирцев оказались не одни. Страх, тот самый страх, который владел в ту минуту всеми, заставил двух других, что все время следовали отдельно, выдать себя. Они так и исчезли вместе, прижавшись друг к другу, пока не прошла буря. Значит, всего их четверо. Это усложняло задачу. Но не более.

Утром, едва рассвело, караван покинул селение. Тогда-то, при свете дня, глазам всех предстали горестные результаты вчерашнего. Сады стояли мертвые, словно обваренные кипятком, на ветках висела неживая листва, сморщенные, иссеченные песком и ветром плоды.

Когда караван выходил на дорогу, «господин из Дамаска» указал Рою на кашмирцев, на первых двух.

Один из них был старше и значительней прочих. Письмо должно быть у него.

— Эти двое, — так сказал он, — огорчили меня. Я, недостойный, не берусь судить их. Пусть они предстанут перед праведным и нелицеприятным судом всевышнего. Он один ведаёт правду.

Так говорил «господин из Дамаска» потому, что знал всю систему иносказаний и понимал, как надлежит говорить с людьми Востока. И ещё сказал он:

— Я не хочу, чтобы люди говорили о них дурное. У одного из них есть письмо. Пусть свидетельство этого письма не обременяет память о нём в глазах остальных людей.

Рой только косил глаза в сторону двух фигур, ехавших в десятке шагов от них, и, сложив ладонями руки, склонил голову.

В тот день и потом, вечером, когда прибыли в Мерв, он освободил Роя от всех обязанностей слуги, лежавших на нём. Рой был занят другим, более важным, главным делом.

Мерв встретил их тенистой прохладой узких глинобитных улиц. Арыки в это время года были особенно полноводны. «Афганец» не достиг города, и сады его изобиловали радующей глаз зеленью и плодами. На обратном пути, подумал он, можно позволить себе задержаться здесь день-другой. Почему бы между делом не осмотреть старую крепость, а главное, новые укрепления, о которых он слышал ещё в Герате?

На следующий день, когда караван выходил за ворота приютившего их города, двое кашмирцев по-прежнему ехали впереди.

«Господин из Дамаска» не спросил Роя ни о чем. Сделав это, нарушил бы некий этикет, существующий в подобного рода делах. Человек знает сам, что ему надлежит сделать. И если он не совершил свои дела, значит, тому не представилось возможности. Такт требует доверия и терпения.

До Бухары оставалось всего два дня, два перехода, когда это наконец совершилось.

Страшная весть потрясла караван: двое кашмирцев, что следовали в Бухару по торговым делам, были найдены утром задушенными. То, как сделано было это, говорило, что совершили злодеяние те самые туги-душители, о которых до этих мест доходили только страшные толки.

Вскоре стали известны и убийцы.

Из-за того, что произошло, караван вышел позднее обычного. Тогда-то и недосчитались еще двух человек. Их искали и спрашивали о них, но они так и не объявились. Они скрылись, бежали. Почему бы стали они бежать, не будь они убийцами?

Приметы бежавших кашмирцев были оставлены местным властям, и те обещали искать их по всем прилежащим дорогам.

Но никто, наверное, не желал так, чтобы они были схвачены или убиты, как «господин из Дамаска», с которым они ни разу не встречались лицом к лицу и о существовании которого не подозревали.

Воистину, жизнь человека и смерть человека зависит порой от кого-то, о ком сам он даже не ведает.

«Господин из Дамаска» не был уверен, что, вернувшись в Индию, ему стоит докладывать об этих двух, что ушли. Это никоим образом не увеличит его заслуг. То же, что поручено ему было сделать, он сделал. Письмо махараджи Кашмира у него в кармане, вернее, как полагается в этих краях, зашитое в мешочке письмо висело на шее. Машинально он поднял руку и нащупал листки.

Теперь можно было бы и вернуться. Но «господин из Дамаска» понимал, что сделать этого нельзя. Он помнил уроки капитана и вместе с остальными продолжил путь в Бухару.

Муаллим Саркер жил в большом доме, который соответствовал его заслуженной репутации. Невольник в пестрой чалме провел гостя во внутренний дворик и просил подождать, пока Муаллим сможет принять его. Привычно скрестив ноги, «господин из Дамаска» опустился на ковер, расстеленный в тени для таких же, как он, пришедших искать исцеления.

Под едва слышный голос фонтана и пение птиц в саду он стал думать, как будет вспоминать об этом дне и этой минуте потом, не скоро, когда вернется в Англию. Будет рассказывать и вспоминать этот дворик, этот дом и сад, этот древний город. Впрочем, о некоторых вещах он говорить не будет. Об этих кашмирцах, например, задушенных по его приказу. Есть вещи, о которых не принято говорить в обществе. Его соотечественники, особенно когда они в метрополии, обнаруживают порой величайшую нравственную брезгливость и щепетильность. Они не против того, чтобы все это

делалось, они против того, чтобы им слышать или знать об этом. Он усмехнулся. Погруженный в свои мысли, он не сразу заметил все того же невольника в пестрой чалме, почтительно склонившегося перед ним:

— Муаллим просит уважаемого господина осчастливить его своим присутствием.

Муаллим Саркер говорил на фарси, но несколько хуже англичанина, что тот отметил не без тайного удовольствия. Правда, удовольствие его несколько бы померкло, знай он, что, кроме фарси, Муаллим говорит еще на четырех языках и наречиях Востока.

Целитель не спрашивал ни о чем. Он только нащупал пульс на руке и держал так очень долго, глядя куда-то мимо него и поверх его головы. Потом он взял так же другую руку и держал еще дольше. Потом сжал обе руки.

С первой же минуты «господин из Дамаска» понял, что все это шарлатанство. Только азиаты могут верить этим наивным играм. Хотя деньги, которые он должен заплатить врачу, шли, как и все прочие расходы, по военному ведомству, ему стало жаль этих денег.

— Я приготовлю лекарство и пришлю послезавтра, — сказал Муаллим, выпустив наконец его руки жестом усталости. — Где ты остановился, почтенный?

Он назвал. И не удержался, спросил, что с ним. Скорее из вежливости, чем из любопытства.

— Я могу сказать, что с тобою. Но сначала пусть мой уважаемый пациент объяснит мне, кто он и откуда прибыл в Великую Бухару.

— Из Дамаска? — переспросил Муаллим и нахмурился. — Вопрос мой не праздный, почтеннейший. Кто человек и из каких мест, имеет значение для распознавания недуга. Одна и та же болезнь будет разной у перса или джунгарца, у араба из Сирии или из Багдада. Поэтому я спросил. Мне очень жаль, но то, что услышал я, было неправдой. Пусть гость простит мне эти слова. Я говорю как врач.

Тогда он встал, он поднялся в обиде и негодуя! Пусть скажут ему, что должен он за визит, и он уйдет. Он не желает выслушивать этих речей. Даже от столь ученого и уважаемого человека. Но Муаллим, положив на плечо руку, заставил сесть. Он не ожидал в руке целителя обнаружить такую силу.

— Я сначала скажу тебе, чем ты болен. Тогда будешь говорить о плате...

Муаллим сказал ему все. Даже о таких неясных недугах и недомоганиях, в которых он не признавался себе, относя их скорее к трудностям климата. Муаллим сказал ему все.

И тогда, отсчитав шесть монет, растерянный тем, что услышал, он задал напоследок вопрос, который не следовало бы задавать. Но он его задал. Он спросил:

— Кто же, Муаллим, я, если не тот, как я сказал? Если не араб из Дамаска?

— Ты «ференги», — ответил врач флегматично, как говорилось им все остальное, — ты англичанин или кто-то из их нации. Человек может изменить язык, внешность, походку, но он не может изменить свое тело и то, что находится в нем, внутри. У тебя печень не

араба. У тебя печень «ференги». Ты спросил меня, я ответил.

Тогда он сделал единственное, что оставалось ему. Он засмеялся. Его смех получился неестественный и деревянный.

Когда, выходя, он открывал дверь, от нее отпрянул невольник в полосатой чалме. Он же проводил господина до высоких резных ворот. А открывая калитку, склонился вдруг в низком поклоне и протянул руку. Это была необъяснимая наглость. В другом случае он бы прибил негодяя. Но сейчас «господин из Дамаска» был слишком расстроен услышанным. Да и к тому же не было стэка. В Индии он не расставался с ним.

Напрасно пришел он к врачу. Не нужно было этого делать. Правда, все в караване знали, зачем следует он в Бухару. «Следят за тобой или нет, ты всегда должен вести себя так, как если бы за тобой следили» — эту заповедь преподавал ему капитан.

Напрасно все-таки пошел он к муаллиму Саркеру. Еще более напрасно «господин из Дамаска» «не заметил» руки, протянутой ему у калитки. Лишь через день он понял, что означал этот жест. Плату за молчание, вот чего хотел от него раб муаллима. Он же не дал ему этой платы.

Через день тот же невольник в полосатой чалме принес ему лекарство, изготовленное муаллимом. Но оно уже не понадобилось. Когда невольник покидал помещение, делая при этом руками всевозможные знаки почтения, в дом ворвалась стража эмира.

Когда ему заломили руки и потащили на улицу, он успел заметить радостное лицо невольника.

Плата за молчание, получи раб ее, никогда не принесла бы ему столько радости! Он успел принять эту мысль, когда сильные руки подхватили его, швырнули на круп коня и в ноздри ударил резкий запах конского пота.

Александр Вамбери, венгерский ученый-востоковед, проникший в Бухару под видом дервиша, жил в те дни при главной мечети. Там были помещения, отведенные специально для паломников, пришедших поклониться святым местам. Познания корана и комментариев к нему, знание других мест и далеких стран, делали его человеком почтенным в глазах бухарцев. Когда визирю доложили, что схвачен араб, который, быть может, вовсе и не араб, а «ференги», он вспомнил об ученом дервише. Слуга визиря доставил «араба» к дервишу.

Много лет спустя, вернувшись в Европу и поселившись в Лондоне, в благополучии и покое Вамбери напишет волнующую книгу о своих приключениях. Вспомнит он и этот эпизод. «Человек этот, — писал Вамбери, — стал говорить мне, будто он араб из Дамаска, идущий поклониться гробу Джафер-Бен-Садика. Однако выговор у него был совершенно не арабский. В чертах его лица во время нашего разговора можно было заметить волнение. Мне было жаль, что я не мог видеть его во второй раз, и я готов думать, что он играл одинаковую со мной роль».

Вамбери не говорит, какой ответ дал он визирю. Ответ этот решил вопрос жизни человека, отданного на его суд. Попытка покрыть или выгородить мнимого «господина из Дамаска» могла поставить его самого под сомнение, и угрозу. Во всяком случае, визирь счел, что вторичная встреча и повторная «экспертиза» излишни.

Двое кашмирцев, бежавших из каравана, едва узнав, что их спутники были убиты, в конце концов достигли Ташкента. Абдуррахман-хан и Искандер-хан — так звали их. Посланных махараджи принял военный губернатор Ташкента генерал М. Г. Черняев.

Население княжества, говорили посланцы, возмущено колонизаторами и жаждет освобождения. Народ «ждет русских».

Обращение махараджи предполагало конкретный ответ и конкретные действия. В России, безусловно, сочувствовали угнетенным народам колониальной Индии, как сочувствовали и грекам и славянам, томившимся под турецким игом. Но нравственная поддержка со стороны лучшей части русского общества и государственная политика не одно и то же. Посланцы из Кашмира гостили в Ташкенте около семи месяцев. В ответе, полученном ими при отъезде, было сказано, что «русское правительство не ищет завоеваний, а только распространения и утверждения торговли, выгодной для всех народов, с которыми оно желает жить в мире и согласии».

Давая такой ответ, русская сторона учитывала, очевидно, что слова эти могут достичь не только махараджи Кашмира. Не исключено, что агенты английской секретной службы поджидали уцелевших посланцев на обратном пути. Кроме того, в Ташкенте не исключалась и другая возможность. В какой мере вообще заслуживают доверия эти кашмирцы, эти двое, прибывшие без единого слова, написанного самим махараджей, и объявившие, будто двое других вместе с письмом, мол, погибли? Действительно ли они те, за кого выдают себя? Или это провокация, очередной ход

английской секретной службы, цель которого узнать намерения русских? Успехом этой акции было бы получить от русской стороны заверения в поддержке антианглийских выступлений. Какой политический шум, какую кампанию в прессе можно было бы тогда поднять о «русской угрозе»!

Такая возможность допускалась в Ташкенте, и это заставляло русскую сторону произносить только те слова, которые не могли бы стать политическим оружием в английских руках.

В следующем году в русский военный лагерь явился человек в потрепанной одежде и с трудом изъяснявшийся на фарси. Он просил отвести себя к главному начальнику. Доставленный в штаб, он назвался посланным от индийского махараджи княжества Индур. Посольство, рассказал он, состояло из десяти человек. Целый год с трудом и величайшими предосторожностями пробирались они на север через Лахор, Пешавар, Кабул и Балх. В Карши бухарцы схватили их, бумаги отобрали и остальные участники посольства разбежались кто куда. Ему самому пришлось пробыть под арестом около полугода, прежде чем удалось бежать.

Единственное, что мог он представить, был листок чистой бумаги, который был оставлен при нем только потому, что бухарцы не слышали о симпатических чернилах. Листок подогрели на огне, и на нем проступили буквы.

Махараджа Индура Мухамед-Галихан обращался к российскому императору: «Услыхав о геройских подвигах ваших, я очень обрадовался, — писал махараджа, — радость моя так велика, что если бы я желал всю выразить ее, то не достало бы и бумаги».

Послание это было составлено от имени союза княжеств — Индур, Хайдарабад, Биканер, Джодхпур и Джайпур. Завершалось оно следующими словами: «Когда начнутся у вас с англичанами военные действия, то я им буду сильно вредить и в течение одного месяца всех их выгоню из Индии».

Посланного принял в Ташкенте военный губернатор Туркестана. Поскольку кому-кому, а уж ему-то было известно, что никаких военных действий в направлении Индии Россия предпринимать не намерена, то особого значения посольству он не придал. Военный губернатор расценил его лишь как «факт, не лишенный политического интереса». Тем более что снова не было ясности, что стоит за всем этим: искренняя ли вера махараджи Индура в русских, идущих на помощь Индии, или это была политическая провокация, разведывательная акция англичан.

Поэтому, когда посол просил написать ответное послание махарадже, военный губернатор осмотрительно не сделал этого, сочтя сие «совершенно излишним и неуместным». Послу была выдана лишь бумага, подтверждавшая, что он был принят в Ташкенте русскими властями.

За этими посольствами, действительными или мнимыми, последовал целый ряд других. Вскоре в Ташкент прибыла новая миссия от махараджи Кашмира во главе с Баба Карам Паркаасом. А в 1879 году начальник Зеравшанского округа принимал семидесятилетнего Гуру Чаран Сингха. В переплете книги ведийских гимнов, которая была с ним во всем его пути, старец пронес тонкий листок голубой бумаги. Письмо, написанное на пенджаби, без подписи и без даты, было

адресовано туркестанскому генерал-губернатору. К генерал-губернатору обращался «верховный жрец и главный начальник племени сикхов в Индии» Баба Рам Сингх.

Это посещение произвело большое впечатление на начальника Зеравшанского округа. Он особо подчеркнул «знаменательность факта обращения к нам части населения английской Индии с просьбой избавить их от чужеземного ига. В речах Гуру Чаран Сингха проглядывает такая уверенность в мощи России, звучит такая вера в то, что нам именно свыше суждено освободить индийский народ от ненавистного им подчинения Англии, что нельзя сомневаться в силе нашего нравственного положения в среде индийского населения английской Индии».

Английская секретная служба все-таки выследила Гуру Чаран Сингха на обратном пути. Правда, он успел передать ответное письмо, прежде чем был схвачен и брошен в тюрьму. Позднее, находясь в ссылке и под полицейским надзором, когда ему было уже восемьдесят лет, он тщетно добивался от английских властей разрешить путешествие в Среднюю Азию.

Антианглийские, антиколониальные настроения в Индии оказывались нераздельно связаны с надеждами на приход русских и помощь России. Уже в 1887 году махараджа Пенджаба, лишенный англичанами престола и сосланный в Лондон, писал в Петербург, что он «уполномочен от большей части государей Индии прибыть в Россию и просить императорское правительство взять их дело в свои руки. Эти государи в совокупности располагают войском в 300 тысяч человек и готовы к восстанию, как только императорское

правительство приняло бы решение двинуться на Британскую империю в Индостане».

Вопрос о предоставлении ссыльному махарадже политического убежища в России был представлен на рассмотрение императора. Александр III дал свое согласие. Однако английские власти такого согласия, естественно, не дали.

Сейчас, ретроспективно, по прошествии ста лет, мы можем спокойно рассмотреть и трезво оценить ситуацию, которая складывалась на северных границах Индии. Если бы русское правительство стремилось к проникновению в Индию, условий, более благоприятных для этого, трудно было бы ожидать.

Как ни парадоксально, условия эти в известной мере формировались самими английскими колониальными кругами: афишируя столь необходимый им миф о «русской угрозе», они тем самым поддерживали у индийцев эти надежды и ожидания!

Как мы видим, однако, несмотря на многочисленные посольства и готовность индийцев с оружием в руках вместе с русскими воевать против колонизаторов, русская сторона не сделала ни малейшего шага в этом направлении. Даже ответные послания махараджам, составленные в дружественных, сочувствующих, но общих тонах, ни в коей мере не питали эти надежды.

Возможны ли более полные доказательства того, что все вопли английских колониальных кругов о «русской угрозе» были не более чем одним из политических мифов своего времени? Миф этот необходим был им для обоснования собственной

экспансии, проникновения в Афганистан и государства Средней Азии.

В то самое время, когда английские государственные деятели намекали, политики говорили, а газеты кричали о «русской угрозе» Индии, в это самое время английские колониальные силы готовились совершить решительный рывок к северу от границ Индии в сторону Афганистана и еще дальше, к Средней Азии. «Теперь не время откладывать, а надобно действовать, — писала английская газета, выходившая в Индии. — Если бухарцы обманутся в своих надеждах на нас, а русские завладеют рынками, то у нас ускользнет из рук Средняя Азия и ее торговля».

Доклад, составленный королеве премьер-министром Дизраэли и министром иностранных дел лордом Солсбери, не был предназначен ни для печати, ни для широкой публики и тем более ни для правительства Российской империи. Тем не менее русской разведке удалось получить копию доклада, и он был внимательно изучен в Петербурге. Доклад представлял собой план превращения Бухарского и Хивинского эмиратов в английские полукolonии — с тем чтобы использовать их в борьбе с Россией.

Узнав об этом плане, русская сторона не стала кричать об «английской угрозе». Сдержанность эта объяснялась, впрочем, не избытком благородства, а соображениями игры: заглянув в карты противника, вовсе не обязательно сообщать ему об этом. Обязательным же было другое — исходить в среднеазиатской политике из знаний тайных планов и намерений англичан. И русская сторона исходила из этого. Тем более что деятельность английской секретной

службы не оставляла ни малейших сомнений в отношении этих намерений и планов.

Давно замечено, что активность секретных служб предваряет важные политические и военные события. Такой была активность английской секретной службы накануне новой попытки подчинить Афганистан военной силой<sup>[17]</sup>. При этом предполагалось, что Афганистан окажется лишь ступенькой, звеном, которое должно повести дальше — в Среднюю Азию.

Летом 1874 года в Тегеране появился человек в английском офицерском мундире.

«Капитан Непиер!» — так представился он сотрудникам русского посольства, с которыми постарался завести знакомство и даже дружбу. Цель этого стала понятней, когда в беседах с русскими дипломатами он старался выведать у них разные сведения о Средней Азии, о политическом положении, а главное — о расположении туркменских племен.

Интерес этот носил довольно практический характер. Вскоре Непиер отправился в «путешествие». Путь его лежал через Мешхед, Келат к побережью Каспийского моря, до Астрабада. В селениях, встречавшихся на его пути, капитан производил подробные наблюдения, о тех же, которые лежали в стороне, собирал детальные сведения у туркмен.

Особенно интересовал его Мерв.

Капитан сообщал в одном из донесений, что, по его данным, кочевники готовы сотрудничать с англичанами и

---

<sup>17</sup> Имеется в виду война 1878—1880 годов. Английские войска вторглись в Афганистан, но в результате народно-освободительной войны вынуждены были бесславно покинуть его.

что они «сослужили бы службу как реальная сила». Вернувшись в декабре в Тегеран, Непиер занялся написанием отчета. Доклад этот, над которым он работал до марта, никогда опубликован не был.

Весной Непиер внезапно исчез из города. Если это в было неожиданностью, то не для русской секретной службы. Время и даже маршрут передвижения английского офицера были известны заранее.

Капитан не напрасно интересовался Мервом. Теперь, соблюдая все предосторожности, он намерен был посетить этот город.

Русский консул в Астрабаде Бакулин получил приказание не спускать с капитана глаз. Русские агенты из кочевников сопровождали лазутчика от первого до последнего дня. Так стала известна цель его поездки — обещаниями, подарками и угрозами склонить вождей кочевников к выступлению против России.

Проводники, попутчики, погонщики верблюдов были не единственным источником информации, из которого русским становилось известно об английских лазутчиках. Англичане старались втянуть в свои антирусские интриги и персов. Персидские военные и дипломаты не отказывались от этого. Разве можно сказать человеку «нет», если он просит об услуге? Разве можно огорчить его и обидеть? Услуга должна быть обещана. Но оказать ее или нет, а, оказав, тут же сообщить русским — это дело уже совсем другого рода. В этом никому никакой обиды нет.

Само собой, переговоры Непиера с вождями кочевников и его переписка с английским послом в Тегеране — все это совершалось под грифом «совершенно секретно». Но каждая фраза из писем,

каждое слово, сказанное капитаном, становились известны его противнику. Русскому послу в Тегеране обо всем этом докладывал не кто иной, как сам персидский министр иностранных дел.

Это было время, когда персидским государственным деятелям должно было делать выбор: союз с Англией или Россией. Министр иностранных дел Мирза Хусейн-хан предпочел сделать ставку на Россию. Военная и агентурная активность англичан на границах с Персией, разумно полагал он, угрожают его стране и ее свободе. И он старался делать все, чтобы оградить интересы своей родины, разрушив эти козни.

Англичан предавали и смеялись над ними за их спиной не только персы. Это все в большей степени делали и туркмены. Особенно после того, как англичане второй раз потерпели в Афганистане постыдную неудачу<sup>[18]</sup>... Раз они потерпели поражение, значит, были слабы и не заслуживали ничего, кроме презрения. К тому же они были еще и глупы, потому что, сами будучи многократно биты афганцами, приходили к ним, кочевникам, навязывать им свою дружбу и покровительство. В довершение всего, они еще делали подарки. Тот, кто дарит, не рассчитывая на ответные дары, заискивает перед тем, кому дарит. Он не покупает его, как представили себе это англичане, а задабривает его — так видели это кочевники.

Туркменские вожди с охотой принимали подарки. Они вели с англичанами разговоры, которых те от них хотели. Они обещали признать над собой власть

---

<sup>18</sup> Английский исследователь тех лет писал, что и это нападение на Афганистан «кончилось, подобно предыдущей войне, поражением и унижением» Англии

персидского шаха или английской короны — им было все равно. Ведь это же были только слова, которые ничего не значили, в обмен на которые глупые «ференги» дарили им ружья и бинокли, часы и золотые монеты. Все в обмен на слова! Как было не презирать дарящих?

Правда, русские проявляли непонятный интерес к этим разговорам, которые ничего не значили. И вожди кочевников регулярно сообщали им, о чем говорили с ними английские агенты или присланные ими персы. Непостижимо, зачем было это русским начальникам, но раз они так желают, то почему бы... Тем более что за это можно получить пачку чая или целую голову сахара.

Так и жили вожди кочевников на водоразделе двух сил, которые вели между собой непонятную и, как представлялось самим кочевникам, бессмысленную игру. Единственный смысл этого были дары, которые можно получать в обмен на произносимые слова. Кто стал бы отказываться от этого?

Между тем английские агенты продолжали самозабвенно предаваться захватывающим интригам и изощренным козням. Они наматывали себе на головы чалмы, приклеивали фальшивые бороды, устраивали тайны и творили секреты, о которых их собеседники на другой же день со всех ног бежали сообщить русским.

Правда, то, что предводители кочевников докладывали о посещениях и разговорах, ни в коей мере не мешало некоторым из них предаваться привычному грабежу и разбою. Как и века назад, они грабили караваны, нападали на почту. Когда же в крае появились русские поселения и отряды, они не видели причины делать для них исключение. Если можно было угнать коней или скот, почему бы не сделать этого? Если можно

разграбить военный склад и уйти безнаказанно — почему бы этого не совершить? Тем более что грабежи и набеги почитались доблестью, ими гордились, как гордились количеством жен или тучностью стад. Как и в прежние времена, самой ценной добычей были люди. Хороший раб стоил больше коня.

Английские агенты весьма одобряли эти набеги и всячески провоцировали вождей кочевников на это. Когда же один из таких агентов, уже известный нам капитан Непиер, собрался в очередную поездку, чтобы подбивать вождей племен к грабежу и набегам, поездка эта встретила непредвиденное препятствие. Русское командование, находившееся в Ташкенте, сказало «нет».

Прибыв в Хорасан и собираясь продолжить путь далее, в туркменские степи, Непиер не подозревал, что там же, в Хорасане, находился уже, поджидая его, русский консул из Астрабада Бакулин. Из инструкций консул знал, что ему делать. Кроме того, он знал, что действия его заранее согласованы в персидском правительством.

Неудачи капитана начались с первых же дней. Проводник, с которым договорился он, соглашался пойти, только если англичанин заплатит ему вперед. Непиер колебался. Он достаточно хорошо знал этих людей и понимал, что, дав деньги, больше проводника не увидит. Он согласился наконец дать вперед четверть платы. Тот настаивал на половине. Сошлись на трети. Получив десять монет и договорившись прийти на следующий день, проводник, как и опасался капитан, исчез, и никакими силами нельзя было его ни вызвать, ни разыскать. Другие почему-то либо отказывались идти вообще, либо требовали все деньги вперед.

И коней тоже никак не мог он достать. Его конь по какой-то причине захромал. Все, у кого пытался он купить коня, запрашивали сумму, за которую можно было бы купить целый табун. Это была какая-то цепь неудач, сеть невезения, лишенная выхода. Он писал британскому послу в Тегеран, но не получал ответа. Могло ли прийти ему в голову, что в пути следования письма его меняли адрес и оказывались на столе русского посла?

Мог ли он догадаться, что в пригороде Хорасана, на тихой улочке, гостил в это время русский консул, который и дирижировал всем, что происходило с ним? Шла неделя за неделей, а незримая эластичная стена, возникшая перед ним, оставалась по-прежнему неодолимой.

Когда, отчаявшись, капитан решил возвращаться в Тегеран, оказалось, что купить коня не составляет никакой проблемы. И этого не пришлось даже делать. Нашелся лекарь, и конь его через день был здоров. Эта перемена произвела на капитана еще большее впечатление, чем прошлые неудачи.

Пришло время, когда слово «нет», сказанное по-русски, для английских лазутчиков в Средней Азии начало обретать силу вето.

## **МЕРВ — ПОСЛЕДНЯЯ КАРТА**

Лондон. Новый русский посол граф П. Шувалов на обеде у королевы. Говорить о делах за столом не только не принято — непристойно. Поэтому речь идет о всяческих пустяках, которым якобы придается величайший смысл и значение. Самый серьезный предмет беседы — погода.

После обеда, когда мужчины остались одни, герцог Дерби тем же тоном, которым только что говорил о бегах, спросил посла:

— Ну, когда же вы покончите с беспорядками кочевников?

Послу хорошо было известно, что делали Непиер и другие английские агенты для разжигания этих «беспорядков». Но посла отправляют в другую страну не для того, чтобы он уличал кого-то или «выводил на чистую воду». Перед ним другие задачи. Поэтому Шувалов ответил в том же легком тоне:

— Право, не знаю, господин герцог. Будучи в Петербурге, я говорил с некоторыми из наших военных, которые побывали в Туркестане. Они полагают, что, дабы прекратить грабежи и набеги, нашим отрядам было бы нужно продвинуться далее к югу.

Не имело значения, действительно ли говорил посол с кем-нибудь правда, ли кто-то сказал ему это. Значение имело не это, а реакция собеседника. Видя величайший интерес герцога к его словам, посол добавил:

— Мерв мог бы разрешить наши трудности...

Он не успел даже завершить фразу.

— О, нет! — воскликнул герцог. — Вам не следует приближаться к Мерву! Не следует приближаться к Мерву!

Посол выразил всю меру удивления, на которую он был способен.

— Правительство ее величества уделяет столь большое внимание пункту, находящемуся вне английских

интересов? Возможно, тому есть причины, о которых мне неизвестно?

Такие причины были, и герцог не скрывал их. Близость русских штыков к индийской границе, полагал он, может возбудить волнения среди князей и населения Индии. Это были старые страхи, но теперь акценты были расставлены ближе к истине: герцог сказал правду — колонизаторы боялись не русских солдат, а индийцев.

— Вам не следует приближаться к Мерву! — повторил герцог.

Посол не замедлил сообщить в Петербург о реакции одного из влиятельнейших лиц британского кабинета. Это была важная информация. Мерву, расположенному в южной части Средней Азии, негласно был предан статус как бы «ничейной территории». Пока англичане не осмеливались продвигаться дальше Кандагара, русские не приближались к Мерву.

Таково было условие, и русская сторона его соблюдала.

Однако установившийся было баланс сил оказался нарушен появлением нового лица.

Эдмунд О'Донован был специальным корреспондентом лондонской газеты «Дейли ньюс», прикомандированным к русским войскам в Средней Азии. Кроме этого, он был майором английской армии. И майором он был в большей степени, чем журналистом.

— Господин генерал, — говорил он в Ашхабаде русскому генералу Лазареву, — наши читатели желали бы знать, какие планы у русского командования. Свобода информации — признак цивилизованного государства...

Генералу очень хотелось, чтобы корреспондент мог отнести Россию к числу цивилизованных государств.

Сведения, собранные в русском штабе, О'Донован сортировал: одни отправлял в газету в Лондон. Другие сообщал своему коллеге по тайным делам, британскому консулу в Реште. А уж тот передавал их мятежным предводителям кочевников, где можно нанести наиболее чувствительный удар по русским, где совершить набег безнаказанно. Но для него все это было лишь увертюрой, только разминкой, вступлением к танцу. Танец же должен был состояться не где-нибудь, а в самом Мерве, в городе, по джентльменскому соглашению заповедному для обеих сторон.

Возможно, О'Донован ошибался, когда считал, что некий Дюфур является русским агентом. Возможно, Дюфур просто желал ему добра, отговаривая англичанина от рискованной поездки.

— Вы кладете голову на плаху, господин журналист, — сочувственно говорил он. — Поверьте, я знаю эти края. У вас мало шансов добраться до Мерва. И почти нет шансов вернуться.

О'Донован понимал, что в этом была доля правды. Но какой разведчик вернется, даже не приступив к заданию, только потому, что случайный человек в пограничном городе сказал ему, что это невозможно?

— Вы надеетесь на персидских солдат, что вызвались сопровождать вас? — продолжал Дюфур еще более участливо. — Я бы не возлагал на них большой надежды. Посмотрите в окно.

О'Донован увидел, что персы седлали коней. Некоторые были уже в седле.

— Я объяснил им трудности, что их ожидают, — пояснил Дюфур. — И, видите, они приняли разумное решение вернуться. Если ехать и туркменскую степь с охраной было рискованно, то отправляться одному — самоубийство. Вы понимаете меня?

О'Донован понимал. Он согласился с этим столь предупредительным и доброжелательным человеком. Он никуда не поедет. Пожалуй, он действительно вернется.

На следующий день, на рассвете, когда все спали, он выехал из этой пограничной деревушки. Но выехал в направлении Мерва. С ним ехали туркменские проводники. Если у человека есть деньги и настойчивость, он не останется один далее в туркменской степи — так думал О'Донован, когда последние глинобитные хижины растворились в солнечном мареве за горизонтом.

— Нас убьют, сахиб, — пыл за его спиной слуга-курд. — Вот увидите, сахиб, нас убьют.

Он приказал слуге замолчать. Тот повиновался, но через несколько минут начинал снова:

— У меня сердце чует, что нас убьют, сахиб. Может, лучше вернуться?

О'Донован заставлял себя не слушать его.

Не мог же да и не стал бы он объяснять этому кретину с кривыми ногами и лицом, заросшим бородою до самых глаз, что поездка его не безумная выходка эксцентричного англичанина. Что верные люди в Мерве знают о нем и ждут его. Речь шла о политическом фарсе. Постановщик и режиссер — британская секретная

служба. Солист — он, корреспондент английской газеты. Остальные статисты.

В Мерв О'Донован прибыл поздней ночью и сразу же был помещен в пустую кибитку, которая, казалось, только и ожидала его. Правда, поначалу ему не разрешили покидать ее. Это была необходимая строгость. Он был чужестранец, намерения его были непонятны и, возможно, пугающи.

— Пусть сахиб не выходит из кибитки — в городе много собак. Они могут покусать сахиба.

Он не стал проявлять нетерпения. Так было должно. Людям, не видевшим ни одного европейца, нужно было дать привыкнуть к самой мысли, что в городе англичанин.

И еще об одном предупредили его. Чтобы не вздумал писать. Кочевники, уже слышали о «ференги», которые записывают то, что видят, а потом по их стопам приходят солдаты. Если он вздумает написать хотя бы слово, ему перережут глотку. Так сказали ему сумрачные туркмены, приставленные стеречь его.

Он не был настолько глуп, чтобы пререкаться с ними. Решают не эти люди, которые лишь повинуются. Для тех же, кто решает, у него припасены с собой дорогие подарки, Само собой, не из своих гонораров заранее закупил он бинокли, золотые часы, серебряные шкатулки, украшенные драгоценными камнями. Не из его сбережения и целый мешок персидских серебряных монет, который он старательно прятал среди багажа, дабы не разжигать жадности провожатых. Он делал ставку на алчность местных ханов, и в этом он не ошибся.

— Что это? — удивился брезгливо хан, когда он поднес ему одну из шкатулок.

— Это серебряная шкатулка, украшенная рубинами, — пояснил разведчик.

— Зачем она мне? — Хан отодвинул ее кончиками пальцев.

— Я бы хотел, чтобы хан оставил ее у себя как память о моем почтении.

— Сколько она стоит?

— Шестьсот кранов<sup>[19]</sup>.

— Шестьсот кранов? — желчно рассмеялся хан. — Я не дал бы за нее и двух!

И он отшвырнул от себя шкатулку:

— Забирай свою коробку и лучше давай мне деньги!

Майор королевской армии послушно поднял с ковра шкатулку и поклонился. Если нужно будет для дела, он снесет и не такое оскорбление от этого обрюзгшего, неграмотного, пропахшего бараньим жиром человека.

— Конечно, хан, — согласился он. Никакого оскорбления нет, если не воспринимать это как оскорбление. — Я думал, что обижу тебя, если предложу деньги.

Он достал кошелек и отсчитал монетами сумму, равную стоимости шкатулки.

— Теперь другое дело! — Хан не скрывал своей радости.

---

<sup>19</sup> *Кран* — персидская серебряная монета, имевшая хождение в то время в Персии и сопредельных странах.

Манеры предводителей кочевников не соответствовали представлениям о хороших манерах, существовавших в английском обществе. Но и мир, существовавший в сознании, отличался не в меньшей степени.

Когда в первые дни О'Донована спрашивали, кто он и что делает, он пытался объяснить им функции прессы и специального корреспондента. Но это были напрасные попытки, потому что никто из кочевников не видел в глаза газеты, не знал, для чего она, и не испытывал в ней ни малейшей потребности. Зато они знали то, о чем этот «ференги» не имел ни малейшего представления. Не имел представления настолько, что однажды принялся насвистывать, не понимая, что тем самым он призывает джиннов, затаившихся в зарослях саксаула. Ему терпеливо объяснили то, что знают даже дети.

Самим кочевникам мир, лежащий за пределами Мерва, представлялся весьма смутно. Они путали Англию и Индию, полагая, что это одно и то же. Им представлялись одним лицом Компания и английский падишах, которого зовут Королева.

Они спрашивали О'Донована, пришлет он им английский падишах большую пушку и правда ли, что он подарит им ружья? Подарит ли он им также красивые мундиры и будет ли давать деньги?

О'Донован отвечал на эти вопросы так, как следовало отвечать для успеха его миссии. Тем более что через своего слугу он успел распространить слух, что он большой английский начальник. Тем более что дары, розданные им заранее намеченным людям, возымели свое действие. Если посланный английского падишаха так щедр, то какими же подарками осыплет их сам

падишах, когда они станут его подданными! О'Донован, естественно, не разуверил их в этом. Не только не разуверял, но объяснил, и весьма подробно, сначала по отдельности, а потом всем вместе, что надлежит им сделать, чтобы «английский падишах Королева» принял их под свою высокую защиту. С его участием был составлен документ на имя ее величества и скреплен личными печатями мервских ханов.

Бумага эта была написана, печати приложены и с курьером была торжественно отправлена в Мешхед, чтобы оттуда ее переслали в Тегеран, а потом в Лондон.

Событие это стоило отметить. О'Донован отремонтировал старую персидскую пушку, захваченную в какой-то из прошлых войн. Все население Мерва, тысяча горожан, собралось, чтобы услышать, как «ференги» заставит ее изрыгать гром. Из медного жерла вылетел белый дымок и пламя, и неслыханный доселе грохот раскатился над фисташковыми рощами и домами. Никогда прежде не слышал подобного звука этот древний город.

Антоний Дженкинсон, триста лет назад паливший из английского ружья в Бухаре, возвестил начало британских усилий проникнуть и утвердиться в этих странах. Другой английский агент открыл пушечную пальбу в Мерве. Но это был уже прощальный салют, хотя сам О'Донован не догадывался об этом.

Для него это был салют триумфа. Миссия, с которой он прибыл в Мерв, увенчалась успехом. Мерв просит английского подданства! Мерв стал английским! По рисунку майора был изготовлен английский флаг, чтобы в должный час вознестись над городом. Он нарисовал тавро, которым английская армия метит своих коней, и

мервские ханы принялись клеймить своих скакунов этим знаком — знаком собственности английской короны.

Не угодно ли господину осмотреть будущие британские владения? Владения «английского падишаха»? Да, угодно. На конях, клейменных британским тавром, кавалькадой выезжают они осматривать окрестности города, легендарные развалины старого Мерва, крепость. На руке майора рядом с часами миниатюрный компас. Он не снимает его. Но откуда кочевникам знать, что такое компас?

— Почему сахиб, — спрашивают его ханы, — все время смотрит, который час?

О’Донован отвечает им находчиво и остроумно, как представляется ему, и он приводит этот диалог в книге, которую написал по возвращении.

— Мы, ференги, — говорит он, — должны молиться гораздо чаще, чем мусульмане. Если я пропущу время молитвы, это большое зло.

— Но, — заметил один из ханов, почувствовав ложь его слов, — сахиб вообще не молится. Мы не видели этого.

— Я молюсь в своем сердце. Мы, ференги, молимся беспрестанно, — так отвечал он, ухмыляясь в душе глупости этих людей.

Не мог же он сказать правду. Не мог же он сказать, что поминутно смотрит на компас, чтобы потом, в кибитке иметь возможность точнее начертить схему местности. Не мог же он сказать, что использует наивность и доверчивость местных жителей, чтобы заниматься шпионажем.

Сказать, что туземцы не вызывают у него симпатий, значит, выразиться очень мягко. Он пишет об их бесчестности и грубости. «Их готовность клянчить и выпрашивать малейшие подачки, как и общая их жадность, превосходит все, виденное мной в других частях света». «Страдать от зубной боли стоит, чтобы познать радость, когда она прекратится. Точно так же среди мервских туркмен стоит пожить только ради того, чтобы пережить радость, граничащую с экстазом, когда покидаешь их».

Однако эта радость оказалась для майора не столь легко достижимой. Плотной толпой окружают его купленные и обманутые им ханы. «Когда придут дары от «английского падишаха»? — допытываются они. — А может, дары уже прибыли?» Такое подозрение возникло, когда посыльный привез ему из Мешхеда пачку газет.

Незадолго перед этим в одном из набегов они захватили у русских несколько пачек бумажных листков. Велико было их изумление, когда оказалось, что за эти маленькие кусочки бумаги в лавках Ашхабада и в других местах дают сахар и чай, красивый ситец и Порох!

Тщетно майор объяснял им в который раз, что такое газета. Они не слушали. Это просто хитрость, решили кочевники. Он хочет, чтобы все богатство досталось ему одному. Только когда он стал рвать и жечь газеты, чтобы убедить их, они начали ему верить — с величайшим разочарованием и огорчением.

Когда же придут дары? Завтра? Через неделю?

Он попытался заикнуться, что важные деда призывают его в Мешхед. «Какие еще дела?» — переглянулись ханы, смыкаясь вокруг него еще плотнее.

«Он хочет перехватить дары от английского падишаха», — говорили одни. «Он хочет уехать насовсем», — предполагали другие, не догадываясь, насколько она близки к истине.

Большой, устланный коврами помост воздвигнут был на главной площади Мерва. Новый шатер сооружен рядом. Вещи О'Донована перенесены в шатер. Никто ее спрашивал ни его мнения, ни согласия. При величайшем стечении народа его торжественно, под руки возвели на помост и провозгласили ханом Мерва. Обращаться к нему надлежало теперь не иначе как «Бахадур хан».

Так английский офицер, майор разведки стал ханом города Мерва.

Подобный ход событий не был предусмотрен ни теми, кто руководил этой акцией, ни самим майором. Нельзя сказать, правда, чтобы шансы его покинуть город стали от этого больше. Скорее наоборот. Казалось бы, чего спешить майору? Торопиться, однако, приходилось. Причины тому были более веские, чем чисто эмоциональные, чем колонизаторское его презрение к туркменам, переходившее в ненависть.

Появление английского майора в Мерве нарушило некое политическое равновесие, существовавшее здесь до сих пор. Он прибыл, чтобы качнуть чашу весов в сторону Англии. И она качнулась. Но теперь качалось обратное движение — нарушенный им баланс как бы компенсировал себя движением в противоположную сторону. Не все ханы, взяв его под руку, возводили на помост. Другие сидели с застывшими лицами и смотрели в сторону. Были и другие признаки неприязни к нему и вражды.

Во время очередного набега был захвачен русский офицер. Его привезли в Мерв. Пока решали, что делать с ним, он бежал. Майор знал, что бежать из Мерва невозможно. Значит, кто-то помог русскому, достаточно влиятельный и сильный. А завтра этот или эти «кто-то» могут сделать следующий шаг — связав его самого по рукам и ногам и перебросив через круп коня, отвезти и отдать русским как залог своей лояльности и мира. Или просто убить, что быстрее и с чем меньше хлопот.

На этом крохотном, окруженном пустыней островке человеческого бытия кипели свои страсти и шла своя политическая жизнь. «В любой час прорусская партия может прийти к власти» — (из донесения О'Донована английскому послу в Тегеране).

Запасы даров пришли к концу, и по мере их истощения падал его авторитет в глазах ханов.

Летом майор О'Донован, приложив тому невероятные усилия плюс профессиональную изворотливость и хитрость, чуть что не бежал из Мерва. Покидая город, он не забыл уверить ханов в скорейшем и триумфальном своем возвращении в сопровождении обещанных даров, денег и английских солдат. Это было такой же ложью, как и другие его заверения.

Знали ли в Ташкенте и Ашхабаде о событиях в Мерве? По всей вероятности, не только знали, но в какой-то мере воздействовали на них, во всяком случае, на заключительной стадии, когда английский майор не чаял, как бы ему бежать из города.

Теперь была очередь русских, их ход.

Этот ход был сделан со стороны Ашхабада. Купцы из Мерва часто бывали на ашхабадских базарах. Их товар,

главным образом ковры с неповторимым мервским орнаментом, хорошо знали. Они находили путь даже в Россию. А если так, то почему бы русским купцам не побывать в Мерве?

Караван отправился ранней весной, в начале февраля 1882 года.

— Что за люди? Куда направляетесь? — Персидский чиновник походил на большого кота. Даже усы были у него кошачьи.

— Господин, — отвечал ему один из приказчиков, говоривший на его языке, — это караван купца из Москвы. Следуем же мы в Мешхед с товарами.

— В Мешхед?

— Да, господин, в Мешхед.

— С товарами?

— С товарами, господин.

— Ну что же, да ниспошлет вам аллах удачи в пути и в ваших делах.

— Да будет так! — ответил приказчик и повторил за персом молитвенный жест. Другой приказчик сделал то же.

«У московского купца приказчики не только русские, но и мусульмане», — отметил про себя чиновник. Правильно делает купец.

Сказать чиновнику правду, куда следует караван, было нельзя. Нельзя было допустить, чтобы весть о том дошла до английских агентов. Поэтому часть пути они действительно двигались в сторону Мешхеда, а затем резко повернули заброшенной караванной тропой на

восток. После пути через безводную пустыню, после встречи с разбойниками и прочих опасностей, коих удалось избежать (спасибо персу за его пожелание!), поздно ночью они прибыли в Мерв.

Формально, внешне это был торговый караван, один из многих, приходивших в этот город. Но это был первый русский караван и первые русские, прибывшие в Мерв (если не считать попадавших сюда ранее не по своей воле рабов и пленных). Поэтому появление каравана было событием. Событием настолько важным, что был создан совет старейшин и ханов. Купец и одни из приказчиков, что мог служить толмачом, были вызваны на совет.

Купец, как и полагалось человеку богатому, занял место рядом с главным ханом, что сидел на возвышении. Приказчик расположился на циновке у входа. Таково было место, принадлежавшее ему по рангу.

Знай ханы истинное распределение ролей, возможно, они поменяли бы их местами — купца и его приказчика.

Когда караван повидал Ашхабад, генерал, командовавший Закаспийским краем, был в Петербурге, в отъезде. Заменял его начальник штаба, полковник Аминов. «Полковник», «начальник штаба» — это было слишком сложно. Предводители местных племен и жители звали его просто «Штаб», полагая в этом и его имя, и звание. Неизвестно, решился ли бы сам генерал на такую акцию, как послать караван в Мерв. А как посмотрят на это англичане? А что скажут персы? И что (а это главное!) подумают в Петербурге?

В отличие от генерала Аминов пошел на риск. Не согласуя ни с кем, не ставя в известность начальство, он

принял это решение. А почему, собственно говоря, должен был он согласовывать это с кем-то? Караван — дело торговое. В известном смысле, даже вне его ведомства. Что касается того, что приказчиком при караване отправлен поручик Алиханов, а писарем — корнет Соколов, то, помилуйте, господа, — это сущие пустяки!

Не так давно Алиханов был майором. Дагестанец служивший в казачьих частях на Кавказе, он был разжалован за дуэль. Разжалован в рядовые и отправлен служить в самый тяжкий Закаспийский край. Здесь, участвуя «в деле» и в пограничных схватках, Алиханов вернул себе офицерские погоны. Правда, пока только погоны поручика. Он-то и сидел сейчас на циновке у входа, готовый переводить, что собрание скажет господину купцу или что его хозяин, господин купец, изволит сказать собранию.

Но собрание молчало.

Молчали гости, им не полагается говорить прежде хозяина. Так продолжалось минуту, другую. Наконец кавказская кровь Алиханова не выдержала. Он заговорил:

— Почтенные старейшины и ханы! Вы получили наше письмо. В нем сказано, почему мы решили посетить славный город Мерв. Мой хозяин — уважаемый человек, богатый русский купец. Вместе с ним прибыли приказчики — Соколов, Платон-ага из Тифлиса и Максуд из Казани. Перед отъездом хозяин встречался с господином Штабом, который управляет Закаспийским округом в отсутствие генерала. Штаб приказал моему хозяину передать свой салам народу Мерва! Мой хозяин хочет посмотреть, как пойдет торговля у вас в городе,

что он сможет продать, что купить. Пусть всем будет известно, что русские власти весьма благожелательны к нашему начинанию. Торговля выгодна обеим сторонам. Ответьте, что думаете вы обо всем этом?

Вопрос был задан. За ним последовало новое молчание.

Кочевники молчали. Гости молчали тоже. Похоже было кто кого перемолчит.

Наконец заговорил один из старейшин. Он говорил, а Алиханов переводил, но его перевод и его хозяин, сидевший рядом с ханом, были условностью, это понимали теперь все. После слов Алиханова центром собрания стал не купец, который поглаживал бороду, оглядываясь по сторонам, а его приказчик, сидевший у входа. К нему обращался сейчас говоривший.

— Торговля, — сказал он, — хорошее дело. Очень хорошее дело — торговля. Мы радуемся вашему прибытию. Но с тех пор, как вы здесь, сердца наши не знают покоя, а мысли не ведают отдыха. Плохие люди, дети шакала, есть в каждом городе. Что, если они нападут на вас или чем обидят? Вот почему мы рассудили, что ради нашего покоя и вашего же блага вам будет лучше вернуться откуда пришли — в Ашхабад. Мы пришлем туда делегатов для переговоров. И когда узы дружбы свяжут наши народы как тесно, как душа привязана к телу, пусть будет тогда торговля. Потому что торговля — хорошее дело. Хорошее дело — торговля.

На эти слова должно было ответить сразу, поэтому Алиханов не стал даже переводить. Но теперь никто не заметил этого.

— Делегаты и переговоры — это не наше дело, — сказал он, — пусть этим занимаются власти. Наше дело — торговля. На ашхабадском базаре много купцов из Мерва. Почему же из Ашхабада нельзя прийти в Мерв? В Мерве торгуют бухарцы. В Мерве торгуют персы, хивинцы и люди из Афганистана. Почему не русские? Если вы запретите нам, мы уйдем, и больше вы никогда не увидите наших лиц. Но подумайте. А если генерал запретит вашим купцам появляться на ашхабадском базаре? Кто потеряет от этого — русские или Мерв?

Молчание было ответом на эти слова. Видя, что никто не решается взять слово, заговорил главный хан:

— Почтеннейшие, гость задал вопрос. Что ответим мы гостю? — Он обвел всех взглядом, но ни из его слов, ни из взгляда нельзя было понять, что думает об этом сам хан, и поэтому все молчали.

Но в молчании этом происходила борьба. Если бы все это было где-то еще не на Востоке, эта борьба мнений совершалась бы в потоке слов.

Алиханов молчал и готов был молчать хоть до следующей субботы. Купец уже не оглядывался по сторонам, а только поглаживал бороду, едва касаясь.

— Как зовут тебя? — Неожиданно главный хан обратился к Алиханову.

— Максуд я, из Казани, — отвечал Алиханов.

— Кто ты, Максуд?

— Приказчик моего купца, господина, что сидит рядом с вами.

— Скажи своему хозяину, Максуд, что только один помысел лежит на наших сердцах — ваша безопасность.

Мы ничего не имеем против вас, оставайтесь здесь хоть до конца своих дней!

— Да упасет нас аллах от этого! — не удержался Алиханов. — С нас хватит двух-трех базарных дней.

На этом и порешили.

Рано утром, едва рассвело, не замеченный никем, даже своими спутниками, Алиханов в туркменском наряде отправился к Мургабу поить коней. Или как бы поить коней. Потому что цель его заключалась в ином. Пока город спал, он внимательно осмотрел крепость. Лет десять назад, когда русские взяли Хиву<sup>[20]</sup>, английские агенты стали распускать слухи, будто русские полки разворачиваются на Мерв. 25 тысяч человек работали в крепости день и ночь, сооружая отвесные стены, копая глубокие рвы. Шли недели, но русских все не было. «Идут! Идут!» — твердили люди, которым велено было говорить так. Работы продолжались, пока хан не догадался сам послать лазутчиков в сторону русского лагеря. Полки действительно давно выступили в поход. Только двигались они вовсе не в сторону Мерва, а обратно, на прежние свои квартиры.

Англичане знали, с какой силой действует на людей страх. Испуганные и обманутые люди в считанные недели воздвигли впечатляющий памятник, но не

---

<sup>20</sup> Войска Скобелева взяли Хиву в 1873 году. Одним из результатов этого было запрещение рабства. Эдикт, подписанный хивинским ханом, гласил: «Я, Сенд-Мохаммед-Рахим-Бахадур-хан, повелеваю всем моим подданным из уважения к русскому дарю отпустить на волю всех невольников моего ханства. С этого момента рабство навеки уничтожается в моих владениях. Да послужит этот акт человеколюбия залогом вечной дружбы и уважения между моим славным народом и народом великой России». Каждое слово этого эдикта было оплачено ценою крови русских солдат. По эдикту были освобождены двадцать один русским, бывший в рабстве, и двадцать пять тысяч персов!

инженерному и не военному искусству, а лжи и политическому обману. Земляной вал, окружающий бастион, вздымался на огромную высоту — на тридцать метров.

Впрочем, английские офицеры принимали, возможно, и более близкое участие в этом сооружении. Алиханов, осматривая его, не мог знать этого. Никто бы и не знал о роли англичан в сооружении соседней крепости Геок-Тепе, не расскажи об этом отставной капитан Ф. Батлер на страницах лондонской газеты. Два с половиной года помогал он сооружать эту крепость у самых границ Российской империи.

Поездки переодетых англичан, активность английских секретных служб вызывали тревогу русских военных, побуждали их к действиям.

— Знаете ли вы, — говорил Генерал Скобелев английскому корреспонденту, — что присутствие таких путешественников на туркестанской границе вынуждает нас продвигаться дальше в Средней Азии?

Впрочем, осмотр крепости был отнюдь не главной заботой Алиханова по прибытии его в Мерв. Разведчик не только тот, кто может измерить на глаз высоту стены или сосчитать количество пушек. В политической разведке принят иной счет. Главный вопрос: какие силы творят политическую реальность, каков механизм власти? За долгие месяцы, проведенные в Мерве, английский майор не ответил на этот вопрос. Вернее, отвечал по готовому трафарету индийской колониальной практики. В ханах видел он главную пружину власти. Ханов оделял он подарками, им сулил всяческие почести и блага. Алиханов увидел эту картину иначе. На первом плане политической жизни действительно были ханы.

Они держались властно. Но это был только фасад политической жизни. Алиханов в первые же дни сумел заглянуть за него. Ханов, писал он полковнику в Ашхабад, «терпят только до тех пор, пока они выполняют волю народа, но их свергают, едва они пытаются пойти против нее. У меня есть причины считать, что реальное их влияние равно нулю. Здесь есть фигуры, наделенные политическим влиянием, но это не ханы. Это фанатики-ишаны»<sup>[21]</sup>.

Весь день в доме, где расположились русские, собирались старейшины, приходили ханы. Некоторые, не желая подчеркивать свой интерес к пришельцам, появлялись ночью. Долгие разговоры и тысячи вопросов. Причем из областей, от коммерции весьма далеких:

— Каковы цели русских в Средней Азии?

— Может ли мусульманин в России верить в своего бога? Может ли посещать мечеть?

— Чем кончилась война Белого падишаха с султаном?

— Правда ли, что русские собираются строить железную дорогу, и что это такое?

Все вопросы адресовали приказчику Максуду, что из Казани. Алиханов отвечал на них, как мог. В этом также была часть его миссии. Через него, его устами осуществлялось политическое влияние России на вождей и народ этого города.

— Как может простой приказчик знать все о железных дорогах? — качали головами старики.

---

<sup>21</sup> Ишан — (перс. — «они») — духовные наставники.

— Мы в России учимся в школах, — отвечал Алиханов и добавил, греша против истины, но не против любви к родине: — В России школы для всех открыты.

Предводители и старейшины понимали, что русские, прибывшие к ним, это нечто большее, чем просто купеческий караван. Неформально это была своего рода торговая миссия. А где торговля, там рука об руку с ней идет и политика. Первые дни они ждали щедрых даров. Английский майор приучил их к этому. Даров не последовало. Русские никого не задабривали, не подкупали. Это был признак силы. Туркмены поняли это именно так.

Успех политического агента, прибывающего в другую страну, зависит от того, как относится он к людям этой страны. Английский майор презирал и ненавидел туркмен. В книге, написанной им, он не скрывает этого. Алиханов не писал книги. То, что он писал, было предназначено только его военному начальству. Он не мог знать, что его донесения будем читать мы или кто-то еще, кроме полковника Аминова. Он мог быть предельно откровенен. И он был откровенен. Но это была откровенность человека, который видит светлую сторону людей, видит не дурные, а лучшие их черты. «Я был приятно удивлен, — пишет он, — когда узнал, что гостеприимство считается в Мерве священной обязанностью и что я могу рассчитывать на него. Любой путник, какой бы ни был он веры и нации, может быть уверен, что он сам и его пожитки вне всякой опасности, едва он вступил под крышу первой же хижины, встретившейся на его пути». Он пишет о поразительной храбрости мервских туркмен, об удивительной их выносливости.

Алиханов, оказавшийся в Мерве всего через несколько месяцев после О'Донована, так упоминает об одном из ханов: «энергичный человек, лет сорока»; о другом: «он получил образование в Бухаре, знаком с персидской литературой». Ни одного злого слова, уважительность и интерес.

За несколько недель, что были они в Мерве, пишет Алиханов, у них появились друзья среди туркмен. О'Донован даже не упоминает этого слова. «Они очень не хотели, чтобы мы уезжали, — пишет Алиханов в последнем своем донесении, — Мейли-хан буквально умолял нас погостить у него хотя бы пару недель. Мне тоже очень хотелось принять его приглашение, но... нам нужно было отправляться в обратный путь».

В сопровождении обретенных друзей и сорока нукеров, которые вызвались проводить русских до Теджентского оазиса, Алиханов и его спутники покинули гостеприимный Мерв.

Караван увозил с собой не только добрые воспоминания. Он вез также письмо от владельцев Мерва русским властям в Ашхабаде. «Мы будем стараться прекратить набеги и обеспечить безопасность караванов,— гласило письмо. — Желая жить в мире, мы отправляем к вам наших депутатов, которые уполномочены сообщить устно то, что не написано в этом письме».

Так завершился поединок разведчика Алиханова, дагестанца в мундире русской армии, и английского майора.

Это был поединок не только профессиональных качеств двух разведчиков. Это был поединок и разных

нравственных установок. Алиханов не подкупал, не сулил даров от Белого падишаха, не лгал.

Какое-то время спустя командующий Закаспийским округом телеграфировал в Петербург: «...собрание ханов туркменских племен Мерва, каждый из которых представляет две тысячи кибиток, состоявшееся сегодня в Ашхабаде, объявило себя подданными вашего величества, подтвердив это торжественной клятвой от своего имени и имени народа Мерва».

Алиханов, на этот раз в офицерском мундире и с майорскими погонами, торжественно въехал в Мерв. Нужно ли говорить, как были удивлены, как были рады туркмены, подружившиеся некогда с приказчиком Максудом, который так много знал и так толково отвечал на их вопросы!

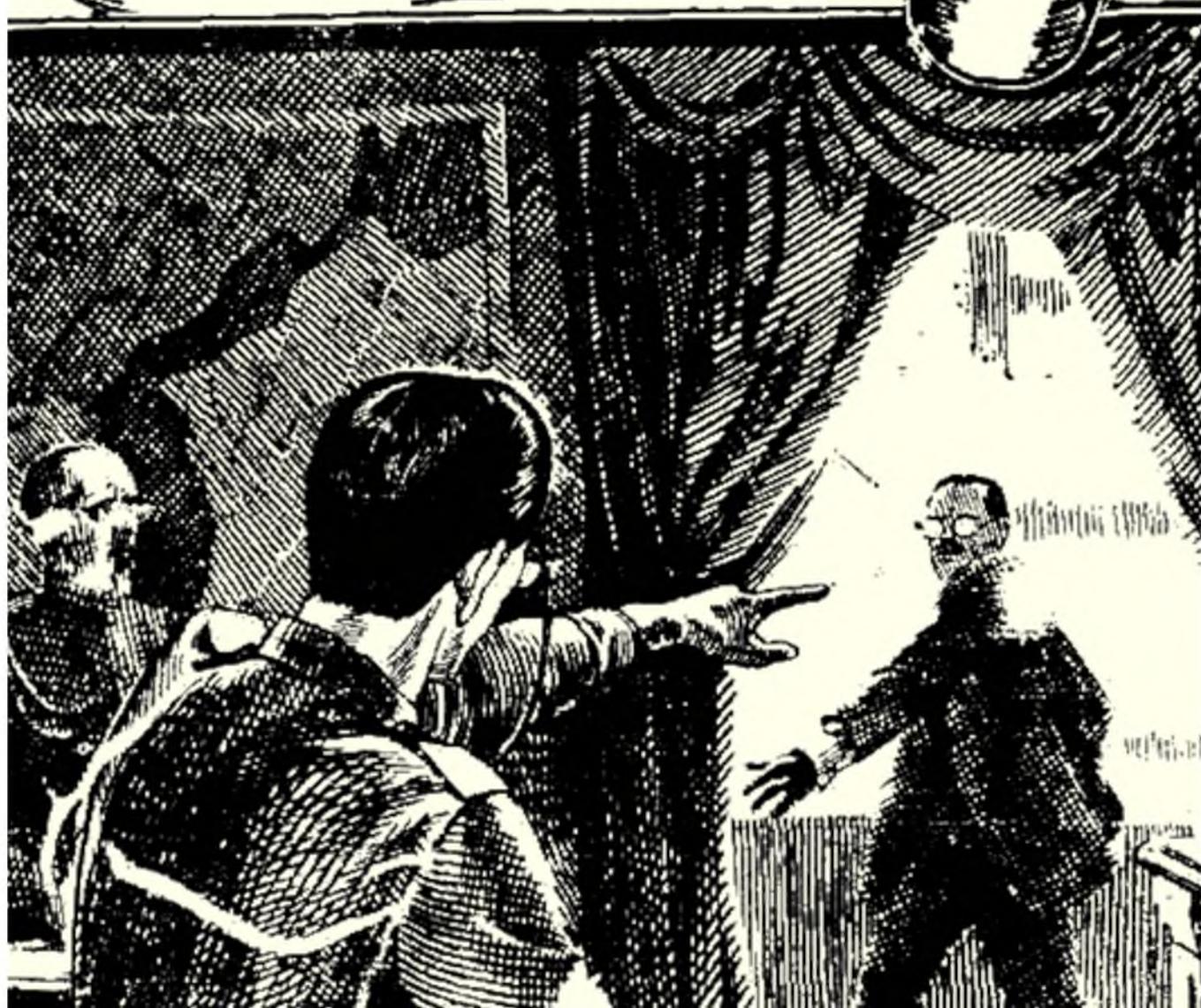
Позднее в чине полковника Алиханов стал первым губернатором Мерва.

# **ГЛАВА VIII**

## ***Средь маньчжурских полей и сопок***

# ГЛАВА VIII

*Средь маньчжурских полей  
и сопок*



Русско-японская война явилась как бы предвестницей, первым порывом приближавшейся мировой войны. Военные действия завершились поражением России. Огромная страна, простиравшаяся от Тихого океана до Балтики, оказалась к войне не готова. Сказывалось это не только в отсутствии должного числа войск на восточных границах, исправного вооружения или стратегических планов, но прежде всего в отсутствии данных разведки. Накануне войны в Японии, Маньчжурии и сопредельных странах военной разведки фактически не велось.

Позднее исследователи объясняли это не дальновидностью, косностью военно-бюрократического аппарата царской России. Кроме этого, был, однако, и другой аспект: Россия не собиралась воевать на Востоке.

Когда же военные действия все-таки разразились, разведку пришлось строить буквально под разрывами японской шрапнели.

## **ЭШЕЛОН ИДЕТ К ЮГУ**

Русские люди, кому привелось быть в Маньчжурии в годы русско-японской войны, никогда не забудут желто-красную маньчжурскую пыль. Она поднималась при малейшем движении воздуха, проникала повсюду, и нигде не было от нее спасения.

В синем пассажирском вагоне, предназначенном для офицеров, окна были плотно закрыты, но это не спасало от пыли.

— Ей-богу, господа, задохнуться можно. — Молоденький прапорщик, произнесший это, отличался от других таких же прапорщиков, заполнявших купе, только разве что более точным пробормотом и пенсне, придававшим ему несколько штатский вид.

Никто не ответил, и, приподняв раму, он открыл окно. Наружный зной тут же хлынул в купе, но это было хоть какое-то движение воздуха.

— Эк вы, господин студент! — пробурчал военный с погонами пехотного капитана, и по тому, как было это сказано, нельзя было понять, одобряет он прапорщика или, наоборот, осуждает. Очевидно, и сам он не знал этого.

Прапорщик, которого он назвал студентом, нервно поправил пенсне. И нужно же ему было проговориться, что он попал в армию из Владивостокского института восточных языков! Прозвище «студент» прочно пристало к нему в пути, и одно утешение было, что по прибытии пути всех расходились и оно не последует за ним в штаб корпуса, куда имел он назначение как переводчик.

На отделении, где учился прапорщик, изучалась классическая японская литература, история, философия — предметы, от военных дел весьма удаленные. Но в дни, когда рядом шла война и сверстники отправлялись в окопы, невозможно было, уважая себя, пребывать в стороне от всего этого. Тем более молодому человеку, знавшему то, что знали немногие, — язык врага.

— Ваш поступок весьма патриотичен, — произнес пожилой военный чин, выправлявший ему бумаги. Он подышал на печать и ловко ее оттиснул. — Наверное, вы знаете из газет, что у нас не хватает офицеров

допрашивать японских пленных. Приходится привлекать переводчиков-китайцев, которые ненадежны. К тому же они почти не знают русского. А японский и того хуже.

Когда, в какой жизни говорилось ему все это? Между тем разговором во Владивостоке и этим вагоном, казалось, легла вечность.

Прапорщик машинально стряхнул пыль, осевшую на гимнастерке, и посмотрел в окно. Там тянулась все та же монотонная равнина, изредка прерываемая плавными холмами у горизонта.

— Кто не знает, господа, — пояснил капитан, которому довелось уже бывать здесь, — те холмы называются здесь сопки.

Но это все уже знали.

Время от времени дорога делала плавный изгиб, и тогда из окна виден был паровоз английской конструкции, непривычного вида — удлиненный и низкий, и было видно белое облачко пара, неотрывно следовавшее над ним. Словно догадываясь, что все смотрят на паровоз, машинист давал гудок. Чужой и высокий звук разносился по такой же чужой маньчжурской степи.

Ночами эшелоны, следовавшие на юг, отводились на запасные пути. Навстречу им на север с приглушенными огнями двигались другие. В них на деревянных, наспех сбитых скамьях лежали, покачиваясь в такт вагонному ходу, раненные и изувеченные в боях. К каждому такому составу последним прицеплялся пустой вагон. Окна его были глухо забиты. Легкораненные, у которых хватало сил высовываться из окон, старались не смотреть в его сторону. Вагон этот с жестокой

предусмотрительностью был уготован для тех, кому суждено было умереть, не пережив дороги. Они все были еще живы и думали, что останутся жить.

Разумно полагая, что вид этих эшелонов не способен придать бодрости войскам, следующим на позиции, начальство распорядилось планировать их движение так, чтобы встреч было по возможности меньше.

Прапорщик снял пенсне и попытался соснуть. Но сон не шел.

— Батальонный говорил мне, — слышал он сквозь дрему голос пехотного капитана, продолжавшего какой-то разговор, начатый ранее, — у него свояк пять лет в Порт-Артуре на кораблях служил. Говорил он мне, что только слепому не видно было, что затевают японцы. То они шныряли по всему городу и даже по крепости, так что русского человека не видно из-за них было, а то совсем исчезли. Лавочки свои позакрывали, попродавали, кто успел. За день до войны, говорит, ни одного япошки в городе не было. Тогда все наши диву давались, что это они разбежались? Смекнули, когда снаряды над крепостью рваться стали.

Прапорщик потер глаза, снова надел пенсне и кашлянул.

— Позволю себе дополнить, — вставил он и остался доволен тем, как произнес это — так свободно, спокойно, как свой среди своих. — Двадцать четвертое января, господа, у нас во Владивостоке этот день никто не забудет. В порту в тот день творилось невероятное: с детьми, с вещами японцы бежали как от пожара. Только на английском пароходе «Афридж» уехало в тот

последний день их две тысячи. Само собой они знали, что готовилось.

— И знали — когда! — рубанул капитан воздух ладонью.

— Да, — согласился прапорщик и поправил пенсне. — Доподлинно знали они эту дату — двадцать пятое января. Еще с рождества началась такая распродажа, только хватай! Себе в убыток продавали. И знаете что? В японских лавках значилась та же дата — распродажа не позднее 25 января! Нет, уверяю вас, они точно знали, когда начнется!

— Наши только почему не знали?! — высунулся было один из прапорщиков, в погонах, таких же новеньких, как у «студента», но тут же стушевался потому, что здесь был старший по званию, а слова его предполагали как бы некоторое неудовольствие высшим начальством и даже критику.

— Измена! — отрубил капитан. — На каждого нашего солдата здесь до войны по два японца сидело. И неизвестно, сколько еще сейчас осталось. Вот в Благовещенске был случай...

Все наперебой стали рассказывать «шпионские истории», причем чем фантастичнее они были, тем охотнее верили им.

«Студент» посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Увидел нечто продолговатое в пенсне, украшенное гладким пробором, и остался собой недоволен. О том, что позволяли себе японцы накануне войны и что происходило сейчас, он знал, наверное, лучше других, ехавших в этом купе. Но промолчал: распространяться об этом со случайными своими

попутчиками было бы неуместно. То, что он знал, знать другим не полагалось, и это возвышало его в собственных глазах. Но поскольку другие не догадывались об этом тайном его превосходстве — было немного обидно. Будто он хуже этих других.

То же, что было ему известно, он знал со слов полковника генерального штаба, который пригласил его для беседы накануне отъезда. Трудно сказать, была ли это беседа или инструктаж — попытка на скорую руку ввести прапорщика в курс дел, которыми ему предстояло заняться.

— Мы говорили с вами час двадцать минут, — сказал полковник, поднося к глазам серебряную луковицу часов. — Я обязан считать, что подготовил вас для будущей вашей миссии. Учтите, в японской армии на это уходят, очевидно, недели, может, месяцы. Помните об этом и не приведи бог полагать себя умнее или хитрей неприятеля.

Но именно к этому сводилась некая тайная его мысль. Про себя он называл ее «Идея» с заглавной буквы.

— Заведующему разведкой, — заключил офицер, — передайте поклон от меня. Скажите, полковник Самойлов хорошо помнит его по Болгарии...

В купе между тем «шпионская тема» не иссякала.

— А кто слышал, господа, о есауле, который оделся в японский мундир и шашкой зарубил их генерала?

Поскольку никто не слышал, капитан поведал одну из тех легенд, которые появляются во всякой армии, когда ей приходится плохо.

— А где ж есаул по-японски говорить научился? — спросил кто-то из прапорщиков, когда капитан кончил рассказ.

Спросил не с сомнением, а только для того, чтобы получить еще одно свидетельство есаульской лихости. И получил его.

— А ему и не надо было! Как кто ему скажет что, он только зубы оскалит — «пошел», мол, у них это знак такой, и за шашку! От него и отставали. И физиономией схож оказался. Из калмыков, говорят. А уж как генерала-то этого достал, тут уж он по-русски им крикнул, чтоб знали — за наших, мол, ребятушек! Вскочил на коня — и был таков!

— Не догнали?

— Куда там! Ушел. Потом сам господин командующий, генерал Куропаткин, ему, говорят, «Георгия» вручали. Однако газетам писать о том запрещено было, и даже фамилии есаула никто не знает. Есть, значит, у командования на этот счет свои виды...

И по тому, как он сказал это и замолчал, можно было понять, что он, капитан, видам этим некоторым образом причастен.

То, что мог бы рассказать «студент», выглядело куда менее драматично. Никто шашкой никого не рубил и на коне не скакал. Все было прозаично, анонимно, но от этого только страшнее.

Решение начать силами 1-го Сибирского корпуса операции под Вафаньгоу было принято 31 мая. Тогда же с соблюдением всех мер секретности Куропаткиным была направлена об этом шифрованная телеграмма в Петербург. Но уже на другой день, 1 июня, в Токио об

этом было известно. Когда, рассчитывая на полную неожиданность, 1-й Сибирский корпус перешел в наступление, японцы ждали и были готовы к этому. Батальоны атакующих, захлебнувшись кровью, откатились назад<sup>[22]</sup>.

Сообщив весьма доверительно этот служебный эпизод, полковник, беседовавший с ним, имел в виду показать, на какие уровни проник шпионаж японцев. Это уже не уличные фотографии и не разносчики сластей, которые считают число кораблей и пушек в гавани. Это куда серьезнее и тревожней. Но тогда же, слушая его, прапорщик подумал невольно о другом. Как вообще стало известно, что японцы узнали об этом? Ведь сообщить это в Россию мог только русский разведчик, находящийся в Токио и причастный высшим военным тайнам. «Не так, значит, просты мы, не так уж плохи!» — подумал он обрадованно, но сказать, понятное дело, ничего не сказал.

Щелкнув замками, капитан достал из чемодана почти новую колоду карт.

— Не угодно ли в штосс, господа? Вы, господин студент?

— Благодарствуйте, нет настроения. В другой раз. — И правда, настроения не было.

---

<sup>22</sup> Другой пример глубокого проникновения японской разведки — история кавалерийского рейда генерала Мищенко на Инькоу. Штабу японского фельдмаршала Ояма было известно о готовящейся операции за две недели до того, как это стало известно самим частям, участвовавшим в рейде. Японцы знали не только число солдат, но и точные номера частей. Каким образом эта сверхсекретная информация стала известна неприятелю, на этот вопрос до сих пор нет ответа.

— Не везет в игре, везет в любви, — изрек кто-то из прапорщиков с той многозначительностью, с которой произносятся обычно подобные банальности. — Значит, господин студент счастлив в любви!

— Об этом, господа, здесь придется забыть, — капитан тасовал колоду. — Сами увидите. Все ходят с косами, а...

О том, что маньчжуры и китайцы носят косы, все уже знали, как всем известно было, что сопки называют здесь сопками.

Однако тема эта вызвала в купе оживление.

— Простите, господин капитан, не совсем понимаю, — силился быть остроумным один из прапорщиков. — Если мужчины с косами и дамы тоже носят косы, нетрудно и ошибиться. Может, простите, конфуз получится...

Все дружно загоготали.

«И это все, что они знают об этой стране, — поморщился «студент». — Великий Лаоцзы, дао, государство Чжоу — слова эти ничего не говорят им». Впрочем, и сам он, кончая гимназию, не знал ничего о мире Востока. История всего человечества вмещалась для него в два слова — Рим и Эллада.

## **РАЗВЕДКА МОЖЕТ БЫТЬ БИЗНЕСОМ**

Штаб корпуса размещался в полуверсте от станции, в нескольких зданиях неопределенного, но достаточно неприглядного вида. Такие дома из красного кирпича в

России возводили обычно под общежития для фабричных.

Полковник оказался человеком того возраста и той внешности, которые в высшей степени соответствовали его званию. Подобно тому как войны порождают мальчиков-прапорщиков, периоды между войнами создают этот тип людей — штабных офицеров, спокойных, обстоятельных, интеллигентных, интересующихся музыкой и искусством и почему-то непременно пожилых. Впрочем, прапорщик был в том возрасте, когда все, кто хоть несколько старше, кажутся пожилыми.

Рапорт его полковник принял рассеянно, бумаги просмотрел мельком, не задав никаких вопросов. Казалось, все время он думал о чем-то другом, более важном и, слушая прапорщика, старался не потерять некой нити, которую держал в уме.

— Так, так, — повторил он, машинально похлопывая ладонью по лежавшим перед ним бумагам. — Единственное условие, прапорщик: о том, что говорите по-японски, в штабе пока пусть не знают. Так надо. Ясно?

— Нет. То есть... не понимаю. — Недоумение и обида захлестнули его. Для чего же тогда пошел он в армию? Зачем ехал сюда? Для чего получил назначение? — Я, господин полковник, пленных допрашивать должен...

— Каких пленных? — Полковник даже поморщился от досады. — Откуда пленные в армии, которая ведет оборонительные бои и отступает?<sup>[23]</sup>

---

<sup>23</sup> Почти за год (октябрь 1904-го — сентябрь 1905-го) через штабы всех шести

— Но я читал, в газетах писали...

— Присядьте, молодой человек. О многом, что вы читали в газетах, здесь вам придется забыть. И вместо этого узнать другое, о чем писать не принято. Известно ли вам, например, что за каждого пленного у нас в армии введена плата?

— Награждение? Как за отличие?

— Да нет же, голубчик, куда там! Платят из казны, за каждую голову, как за барана на базаре. За японского солдата сто рублей, за офицера триста. Не копейки, деньги немалые! До такого вот дошли мы порядка, небывалого в русской армии. Офицеры чаще бывают раненые и тяжело, до допроса не доживают. А вы говорите пленные...

И, не дав опомниться, вызвал вахмистра, препоручив вновь прибывшего его заботам.

— Он введет вас в курс наших дел. Пообвыкнете для начала, а там посмотрим...

Поклон, переданный от давнего своего коллеги, полковника Самойлова, он то ли не услышал, то ли не захотел принять.

Не этой встречи и не такого разговора ожидал прапорщик.

Но самое главное, полковник оказался не тем человеком, которому мог бы он доверить Идею.

— Если не возражаете, господин прапорщик... — заговорил вахмистр, едва они оказались за дверью. — У

меня сейчас один китаец. Господин Вей. Лучшего повода ввести вас в курс наших обстоятельств и не придумать.

Вахмистр был из бурят, коренастый и кряжистый. «Вот бы кого посылать к японцам лазутчиком», — подумал прапорщик, тут же поймав себя на нелепости этой мысли: только неискушенный европейский глаз мог спутать бурята и японца, китайца или монгола.

— Господин Вей, — представил вахмистр пожилого китайца, который при виде прапорщика принялся униженно кланяться.

Степень подобострастия не говорила еще о его социальном ранге — и крупный коммерсант, и кули держались бы в этой ситуации примерно одинаково: доля раболепия в адрес русского, облаченного в мундир, была максимальна, почти не варьируясь. Впрочем, не была ли это всего-навсего гипертрофированная национальная вежливость, понимаемая людьми другой культуры как раболепие?

Господин Вей оказывает нам некоторые услуги, которые мы ценим, — пояснил вахмистр. — Правда, Вей считает, что могли бы ценить их и больше. Это единственное, в чем мы расходимся. Во всем остальном у нас полное согласие. Я верно говорю?

Китаец, который до этого непрерывно улыбался и кланялся, теперь захихикал угодливо, повторяя, что «господин генелала холосо сказала, ошень холосо». То, что он назвал вахмистра генералом, было лестью лишь в европейском понимании. На Востоке (а здесь царили нормы восточного этикета) это было не более чем некой расхожей метафорой: всех русских солдат китайцы называли офицерами, а любой офицерский чин величали не ниже генерала. Это было продиктовано не столько

прямым стремлением обрести для себя какую-то выгоду или преимущество, сколько традиционной манерой сказать другому приятное. И уж таков человек: естественное желание сказать приятное увеличивалось многократно при виде символов силы — штыков и пушек.

Господин Вей, мелкий чиновник Мукденского отделения русско-китайского банка, действительно оказывал русской разведке немаловажные услуги. Это были услуги не совсем обычные даже для этого рода деятельности, где можно найти людей, мягко говоря, весьма разных. Вей выступал посредником. Он подбирал среди известных ему китайцев тех, кто был пригоден для агентурной службы, и, снабдив их деньгами за счет русского военного ведомства, отправлял по другую сторону фронта. Они оседали в нужных пунктах, открывали там лавочки и харчевни, и вскоре от них начинали поступать донесения. Поступали они к Вею — он был для них хозяин, он их нанял, и от него получали они деньги.

— О второй кавалерийской бригаде мы уже слышали в прошлый раз! — перебил Вея вахмистр, не то вправду сердясь, не то делал вид, что сердится. — Ты еще на прошлой неделе говорил об этом. Не на Мукденском базаре, чтобы одну курицу продавать дважды!

— Пусть не сердится славный господин генерал, — почтительно возражал Вей. — Это новые сведения о второй бригаде. Человек только вчера принес весть, что бригада получила подкрепление и вскоре будет переброшена на западный фланг.

— Это же мошенник! — сетовал вахмистр, когда китаец ушел. — К тому же он обходится нам в копейку!

Пять тысяч аванса и еще пятьсот рублей безотчетно! Это только для начала. А кроме того, я лично каждый месяц выдаю ему по тысяче восемьсот. Впрочем, он стоит этих денег. Хотя и мошенник. Мошенник!

Слово «мошенник» звучало у вахмистра не осуждающе. Скорее даже несколько одобрительно — ловкач, мол!

— Не зная обстановки, мне трудно судить, — заметил прапорщик, видя, что вахмистр ожидает его комментариев. — Но то, что сообщил Вей, представляется мне ценным. — Он постарался произнести это так, как, ему представлялось, должны были быть произнесены эти слова, и остался доволен сказанным. Несмотря на новенький мундир и погоны, не такой уж он, мол, новичок в этом деле. — Кроме того, — добавил он, и это прозвучало уже совсем профессионально, — как проверяете вы его данные? Можно ли доверять ему?

Вахмистр улыбнулся, и от этого лицо его на мгновение сделалось необычайно хитрым.

— Мы дублируем агентуру<sup>[24]</sup>. Это удваивает расходы, но лучшего ничего не придумаешь. Послать туда некого, а китаец — материалист: работает только за деньги.

— Все так?

— Почти. Есть, правда, несколько человек идеалистов. Этим денег лучше не предлагать. Не потому,

---

<sup>24</sup> К одной из дивизий армии Куроки, например, были прикреплены два агента. Один из них был дивизионный кузнец, другой — плотник. Они встречались по нескольку раз в день, не догадываясь, естественно, об истинной роли друг друга.

что любят русский флаг, ненавидят японцев. Старые счета.

— Японо-китайская война? Но ведь прошло десять лет!

— Для ненависти слишком малый срок. Японцы пролили много крови. Теперь брат мстит за брата, сын за отца. У нас, бурят, тоже долгая память. Обиду помнит не один человек — весь улус.

Самое сложное было, когда сведения, которые сообщил Вей и те, которые приносили вахмистру его люди не совпадали. Делать очную ставку, чтобы выяснить, кто лжет, было невозможно. Китайцы, сотрудничавшие с русской разведкой, никогда не должны были встречаться и знать в лицо друг друга. Этому принципу в штабе следовали неукоснительно.

— Сегодня у меня как раз встреча с одним таким китайцем. — Вахмистр взглянул на часы. — Очень молодой человек, он работает не за деньги. Поскольку мне поручили ввести вас в курс дела, не соблаговолите ли вы сопровождать меня? Кстати, есть ли у вас штатское платье? Нет? Не беда, это мы сейчас устроим. Минь! — крикнул он куда-то в глубину коридора. — Зайди-ка сюда.

Вошел китаец в штатском, в круглых очках, высокий. Поздоровался, но без обычного подобострастия. Тому было объяснение — это был «русский китаец», он давно работал переводчиком при штабе и, хотя ему и не был положен мундир, привык видеть в офицерах скорее коллег, чем господ-чужеземцев.

— Господин Минь занимается у нас японскими переводами, — представил его вахмистр. — А заодно и пленными, когда ребята на передовой постараются.

— Или когда им повезет, — вставил китаец.

— Да. Или когда им повезет, — согласился вахмистр. — Можешь ли ты подобрать господину прапорщику штатское платье? Лучше что-нибудь по коммерческой части. Как вы полагаете, господин прапорщик?

— Значит, вот кто ведет дела, которыми должно было бы заняться ему — китаец! Почувствовав на себе взгляд, Минь улыбнулся ободряюще.

— Где остановились, господин прапорщик? В гостинице? Не беспокоило ли там? На квартире было бы удобней.

И с готовностью вызвался помочь с жильем. Любезность эта оказалась нелишней — город был полон военными и сыскать свободную квартиру было бы нелегко.

Готовый в первую минуту невзлюбить китайца, прапорщик невольно почувствовал смущение и стыд. И правда, чем виноват он перед ним, этот китаец?

По-русски Минь говорил почти без акцента.

Темная пара, сорочка в крапинку, полусапожки и даже картуз, которые принес Минь, совершенно изменили его: не было больше вчерашнего студента, а ныне прапорщика российской императорской армии — был торговый агент, один из многих, кто шнырял в те дни по городу, охотясь за выгодными поставками для войск.

Все принесенное пришлось впору, и Минь радовался этому, как не радовался бы, наверное, за себя. Вахмистр посмотрел, снова сделал хитрое лицо, но не сказал ничего.

В том, что полковник поручил именно вахмистру ввести его в курс дел, а не кому-нибудь старше званием, таилось нечто неуважительное. Но прапорщик старался не думать об этом. Про себя же решил, если вахмистр посмеет забыться, позволит себе панибратство или покровительственный тон, он напомнит ему о чинах и рангах. Но пока вахмистр держался вполне корректно.

Костюм был не новый, но тщательно выутюженный и вычищенный. Тем не менее прапорщик почувствовал брезгливость как бы от незримого касания того, кто носил этот костюм раньше.

Вахмистр преобразился тоже, превратившись в баргузинского бурята. «А может, это и есть истинная его внешность?» — мелькнуло у прапорщика, и тут же подумал о себе — где он-то сам настоящий: в студенческой ли тужурке, в погонах ли — но уж, во всяком случае, не в этом своем обличье: торговцев да приказчиков в роду его не было!

— Думаете, наверное, в чем смысл маскарада? — Вахмистр словно прочел его мысли. — Согласно параграфу шестому инструкции мы должны встречаться с агентами, во-первых, вне войскового расположения, а, во-вторых, желательно в гражданском платье. Хотя в нашем случае смысла особого в этом нет — военных в городе не меньше, чем штатских.

— Но параграф все равно остается в силе? — Прапорщик усмехнулся.

— Так уж заведено, — пожал плечами вахмистр, не принимая иронии.

Возле одной из лавчонок, невзрачных и неотличимых от остальных, они остановились.

— По-китайски хорошо понимаете? — утвердительно, не сомневаясь спросил вахмистр и удивился, очень удивился, когда оказалось, что прапорщик не понимает.

— Я избрал южно-китайские диалекты. — Он словно оправдывался. — К тому же не столько разговорный язык, сколько древнюю письменность, литературу...

В его жизни как-то так получалось, что ему не приходилось бывать в ситуациях, когда нужно было бы говорить неправду. Он не ожидал от себя, что так легко сможет делать это — лгать.

Хозяин лавчонки, видимо, ждал их. Едва вошли они, как он тут же предупредительно распахнул другую дверь. В фанзе на циновке сидел очень молодой человек, почти мальчик. Он вскочил, приветствуя вошедших. Вахмистр поздоровался по-китайски.

— Его зовут Фан, — пояснил вахмистр и перевел первые несколько фраз. Но затем, по мере того, как молодой человек говорил, все больше волнуясь, лицо вахмистра становилось все тревожнее, и он не помнил уже ни о переводе, ни о прапорщике, в неловкой позе сидевшем рядом. Он коротко спросил юношу о чем-то, и тот ответил.

— Скверно, — сказал вахмистр по-русски. — Очень скверно.

И снова быстро заговорил по-китайски.

Вести действительно оказались дурные.

Японцам, которые сами использовали китайцев для нужд разведки, легко было догадаться, что русские поступают так же. Несколько дней назад ими введены были новые, чрезмерные меры.

Теперь хозяину каждой фанзы надлежало иметь документ с указанием числа членов его семьи. Кроме того, каждому жителю местный староста выдавал особое удостоверение. Без него никто не имел права выйти за пределы своей деревни. Даже работая в поле, нужно было иметь при себе эту бумажку, скрепленную печатью и подписью. Повсюду рыскали патрули, проходили облавы, и, если китаец не мог убедительно объяснить, как он попал сюда, от кого идет и куда направляется, его расстреливали на месте. Это делалось как мера предосторожности. Казненные валялись прямо на улицах. Возле каждого прохаживался японский солдат с ножевым штыком на винтовке. Несколько китайцев, вызвавших особые их подозрения, японцы закопали живыми в землю.

Когда вахмистр и прапорщик уходили, Фан почтительно проводил их до дверей и, склонившись в поклоне, стоял так, пока они не ушли за пределы его взгляда.

Хотя в первые дни никто из агентов не был схвачен и не попал в облавы, некая цель этих действий была достигнута: китайцы боялись теперь идти «на ту сторону». У кого оказались неотложные дела и обстоятельства, у кого — больная жена, кто «заболевал»

сам. Но и тем, кто, взяв аванс, соглашался идти, верить было нельзя<sup>[25]</sup>.

Находились ловкачи. Получив деньги, они с озабоченным лицом делали вид, что отправляются чуть ли не на верную гибель, сами же по нескольку недель отсиживались в городе, крадучись обходя харчевни и курильни опиума, где можно было встретить китайцев, недавно пришедших с юга. Из их рассказов, из слухов и домыслов составляли они «доклады» о том, что видели якобы сами.

Однако при всей своей ловкости плуты совершили ошибку, которую чаще всего делают люди избыточно хитрые: они недооценили меру зависти своих сотоварищей. Другие агенты, которые не были столь ловки, тут же донесли на них. С тех пор как идти к японцам стало особо опасно, стоимость услуг соответственно возросла, а число добровольцев упало, некоторые обратили ситуацию в выгодный для себя бизнес. Они приходили в штаб и сами предлагали свои услуги в качестве агентов. Выбирать не приходилось — им вручался аванс, давалось задание, после чего они отправлялись в штаб соседней части, где все повторялось сначала. Так они обходили штаб за штабом, везде собирая дань. Избежать этого бедствия не представлялось возможным — документов у китайцев не было, а имя всякий раз они называли новое.

---

<sup>25</sup> Данные по Третьей армии за март — сентябрь 1905 года: отправлено агентов 121, вернулось с донесением обратно только 56. В большинстве случаев из трех агентов-китайцев возвращался один.

— Изумляюсь вашей недогадливости, господа. Даже лениности мысли! — Полковник пожал плечами. — Неужели никто из вас ничего не может предложить?

Промолчать бы прапорщику. Но не смог, не удержался:

— Можно поставить какой-нибудь знак! На каждом агенте. К примеру, татуировку. Тогда, обратившись вторично...

Ему очень хотелось, чтобы голос его звучал уверенно и твердо. Но получилось только громко до нелепости, как на базарной площади.

— Превосходно, господин студент! — подхватил полковник.

«Господин студент!» — резануло его. — Вот как он сказал: «Господин студент!»

— Противник выдал бы медаль за это предложение, — продолжал полковник, весьма почему-то развеселившись. — Мера эта намного облегчала бы ему поимку наших агентов. Меченых-то грех не поймать! Идея не гениальна. Но, господа, это куда лучше отсутствия таковой! Насколько я понимаю, у остальных никаких мыслей по этому поводу нет вообще? Дурно! Не одобряю!

— Отпечатки пальцев? — предложил кто-то из офицеров и осекся.

— Хвалю! — Полковник поднял палец. — Вы довольно близки к цели. Думайте же, господа, думайте! Уверяю вас, в нашем деле иногда это полезно.

«Фотографировать?» — подумал прапорщик, но на этот раз благоразумие взяло верх, и он промолчал.

— Фотографировать? — произнес тот же офицер, уже уверенней.

— Вот! — короткий, как обрубленный, полковничий палец, взметнувшись, уставился на говорившего. — Он сказал! Браво, капитан! Именно: фотографировать!

Прапорщик почувствовал себя обворованным.

Когда все расходились, он задержался в кабинете, как бы замешкавшись.

— Господин полковник, — отчеканил он в ответ на недоуменный взгляд, за звоном в ушах не слыша своего голоса. — Вы изволили сегодня публично назвать меня студентом. Прошу обращаться ко мне согласно уставу и воинскому званию, мне присвоенному.

Человек с погонами полковника, сидевший за широким столом, взглянул на него с любопытством.

— Обиделись, господин прапорщик? Напрасно. Садитесь, — кивнул он и, видя, что тот не двигается, прибавил с жесткостью, появившейся вдруг без малейших усилий: — Когда я говорю что-то — расстрелять предателя, передать мне спички или сесть, — это принято выполнять. Сразу. Так вот. Если звание «студент» кажется вам обидным, непонятно, как столько лет вы носили его. Впрочем, это ваша проблема. Я вас не хотел обидеть. В моем представлении звание студента, ученого, человека науки ничуть не ниже любого из воинских званий. Что может быть благороднее причастности к знанию? Уж никак не причастность к тому, чтобы убивать других. Жаль, если вы полагаете иначе.

— Я, может, не так выразился...

— Идите, прапорщик. Не держу вас более.

Он ушел, не чувствуя себя победителем. Но промолчать и стерпеть было бы уж совсем постыдно!

Теперь, когда штабы стали обмениваться фотографиями агентов, у всех причастных к этому хлопот прибавилось. Но в этой же мере убавилось число охотников.

— Не-е-ет! — качал головой вахмистр. — Мошенника этим не остановишь. На то он и мошенник! Это уж точно.

Вести опрос агентов оказалось делом невероятно трудным. В этом прапорщик убедился, едва приступив к этому. Они повторялись, путались, лгали. Опуская главное, начинали тонуть в деталях, несущественных и ненужных. И невозможно было понять, действительно ли они столь бестолковы, или только прикидываются, потому что во всем, что касалось денег, они проявляли не сообразительность, а даже талант.

К сожалению, всякий раз ему приходилось прибегать к услугам переводчика. Но Минь был неизменно любезен — так следовало бы сказать, если речь шла о европейце. Минь же не только с величайшей готовностью откладывал все другие свои дела, отправляясь с ним на очередную встречу, он радовался этому и не скрывал своей радости.

«Это даже не вежливость, — думал прапорщик. — Вежливы, например, французы. Или дипломаты. Это не только нечто большее, но и иное».

Наблюдение это еще раз утверждало его в Идее, но по-прежнему говорить об этом было не с кем, да и не было ситуации воплотить ее.

Для подтверждения того, что агент действительно побывал у неприятеля, последнее время введена была дополнительная мера: каждому надлежало представить счет из магазина или лавки, расположенных «по ту сторону». Возвращаясь, агент рассказывал о виденном, перечислял номера японских частей, говорил, где они расположены, а в подтверждение, что все, сказанное им, — истина, приносил смятый листок — счет из какой-нибудь лавки, лежавшей на его пути.

Ни один агент не возвращался теперь без такого свидетельства истины. Некоторые из усердия подавали даже по два счета, из разных лавок. Казалось бы, теперь сведениям, что приносили китайцы, можно было бы верить. Но вахмистр был исполнен сомнений и тревоги больше прежнего.

— Что-то непонятное, — разводил он руками. — Трое самых опытных моих людей попались. Двух зарубили, одного расстреляли. Фан (помните того юношу?) еле вырвался из засады. А людишки всякие, базарная шушера возвращаются назад вполне благополучно. Сначала никто вообще не хотел идти, а теперь сами просят. Отчего бы такое рвение? А, господин прапорщик?

— От денег, полагаю, вахмистр. От денег. С чего бы еще?

— Все бы так, ваше благородие, не будь риска. Рискует ведь не чем-нибудь, головой. А платим мы небогато.

— Зря сомневаешься, вахмистр. Какие-то данные они могут собрать без того, чтобы идти через линии — через родственников, на базаре. Но уж чтобы счет представить, тут уж, извини, нужно побывать на той стороне. А что полковник?

— Сердится. Но молчит. Недоволен, что агентов теряем.

Не случай ли это, не шанс ли — проверить его Идею?

— Интересно выходит, вахмистр: мне и полковнику представляется все нормальным. Ты что-то подозреваешь. Но, уж если китаец, и правда хитрит, перехитрить его может, наверное, только другой китаец. Поговори с Минем, спроси Вея.

— Минь теперь сам больше русский, чем китаец. Он даже женат на русской.

— Не знал. Потому-то, наверное, он так хорошо говорит по-русски?

— По-японски, я слышал, даже лучше.

Вей, когда ему был задан этот вопрос, долго морщился, молчал, шевелил пальцами в воздухе, жевал губами. Наконец, завершив все эти манипуляции, сказал, что должен подумать, и ушел озабоченный.

Через день он явился, весьма довольный чем-то, и сказал, что дело сложное, но он, так и быть, только из уважения к русским берется его распутать. И назвал, сколько будет это стоить. Тысячу рублей. Вахмистр выгнал его. Потом вернул. Схватился за голову. И пошел к полковнику. Был у него долго. В конце концов тот дал санкцию. Но деньги будут уплачены только под

серьезные результаты. Вей, заметно повеселевший, обещал такие результаты. И тут же заговорил об авансе. Но здесь вахмистр был неумолим.

Неделю спустя Вей пришел торжественный и объявил, что счета, приносимые в штаб, — фальшивки. Все они печатаются в одном и том же месте. Но чтобы указать это место, запросил сверх оговоренных еще пятьсот рублей. Теперь вахмистр выгнал его уже по-настоящему.

— Вернется, — вахмистр смеялся, и лицо его от этого делалось хитрым.

И действительно, через час Вей пришел как ни в чем не бывало. Конечно же, он согласен на прежние условия. Конечно же, он пошутил. Разве не смешно вышло?

— Да ладно уж. Выкладывай, откуда жулики эти счета берут? — И вахмистр позвенел ключами, которые были Вею хорошо знакомы, ключами от денежного ящика.

Поддельные счета для агентов всей русской армии фабриковали в Чженьяньтуне. Когда занятые этим были пойманы с поличным, а на типографию наложен арест, китайцы, накануне еще так рвавшие отправиться «на ту сторону», потеряли вдруг всякий интерес к этому предприятию и вообще забыли дорогу к домику на окраине, где обычно происходили встречи. Остались лишь те несколько человек, которых подобрал вахмистр, да люди Вея.

Был ли это успех или это была потеря?

Для прапорщика ситуация эта подтвердила верность его Идеи. Ему самому никогда бы не додуматься, не

размотать этого дела. Но вот вахмистр заметил же, что что-то не так! Восточному ходу мысли, заключил он, может быть противопоставлен только восточный же ход мысли.

Вручив Вею обещанную тысячу, вахмистр долго не мог успокоиться, почему не поторговался в свое время!

Всеми японскими бумагами, которые удавалось раздобыть агентам или которые доставлялись с фронта, по-прежнему занимался Минь.

Прапорщик понимал, что сам Минь неповинен в этой ситуации, и зля, готового было вспыхнуть против него вначале, давно не чувствовал. Ситуация же представлялась тем более нелепой и непонятной, что последнее время дел у Миня ощутимо прибавилось. Если раньше редко кому из китайцев удавалось доставить в штаб какой-нибудь предмет с клеймом японской части, то за последние несколько недель число таких документальных свидетельств резко возросло<sup>[26]</sup>.

Как и в любом деле, в разведке бывают полосы удач и неудачи. Сейчас, очевидно, была полоса удач. Одного рода дело, когда агент просто говорит, что 6-я рота 27-го пехотного полка расположена в Каньпинсяне, а другого, если он приносит оттуда гетру с именем японского солдата Такахира и с обозначением этого полка и роты. За такое доказательство и приплатить не жаль.

---

<sup>26</sup> Предметам этим уделялось особое внимание. По штабам был разослан приказ, который гласил: «Добывание неприятельских погон, фуражек, кожаных бирок на ружьях, записных книжек имеет такое же значение, как определение мест расположения более крупных частей войск». Полученные сведения рекомендовалось незамедлительно по телефону сообщать генерал-квартирмейстеру армии.

Эту гетру доставил в штаб один из агентов. А через три дня вторая гетра с другой ноги этого же солдата того же полка и той же роты была доставлена другим агентом в штаб соседнего корпуса. По словам китайца, он подобрал ее совсем в другом месте — в Цзиньцзяньтуне.

Агентов свели и устроили им очную ставку. Каждый настаивал на своем. Капитан, ведущий допрос, пригрозил расстрелом. Оба поверили, испугались, но тем отчаянней стали цепляться каждый за свою версию.

Тогда им было сказано, причем по отдельности, что того, кто признается первым, освободят. Расстреляют того, кто будет вторым, кто не успеет признаться. Через пару минут оба они в разных комнатах, сбиваясь, торопливо давали показания.

Так был открыт подпольный склад в Дава, снабжавший за деньги агентов-китайцев различными предметами японского производства. Предприимчивые китайцы, следуя по пятам японских частей, подбирали, крали и даже скупали у солдат разные детали их обмундирования — фуражки, гетры, нагрудные знаки, куртки — все, на чем было клеймо части. На этой небывалой «черной бирже» высоко ценились также бумаги — газеты, письма, обрывки карт. Все это переправлялось через линию фронта и поступало в Дава, на тайный склад. Китаец-агент, знающий сюда дорогу, мог купить здесь любое «вещественное доказательство» своего пребывания в тылу неприятеля. За каждое такое «документальное свидетельство» в русском штабе платили хорошие деньги — по 40—50, а иногда и по сто рублей.

Тайный склад в Дава был опечатан. Но кто бы мог поручиться, что это единственный склад?

— Господа, обманывают нас китайцы. Это не комплимент китайцам, а упрек нам с вами, господа. Подумайте об этом. А вы, господин прапорщик, останьтесь, и пусть пригласят ко мне господина Миня.

— Господин прапорщик, — сказал он, когда Минь явился. — Надеюсь, вы достаточно освоились уже в наших делах? Я намерен поручить вам периодически составлять отчеты по японским документам и другим предметам, которые доставляются вам, господин Минь, Соблаговолите впредь передавать господину прапорщику копии ваших переводов этих бумаг.

— Слушаюсь, господин полковник! — по-военному ответил Минь, но произнес это так, как если бы ему сообщили нечто весьма приятное, радостно удивили его. — Подлинники прикажете передавать тоже?

— Господину прапорщику они не помогут. К сожалению, — полковник позволил себе улыбнуться, — не все так способны к языкам, как вы, господин Минь. Подлинники храните, как и прежде, в сейфе. Нет вопросов, господа?

У прапорщика был не вопрос — были недоумение и обида. Почему полковник не допускает его к работе с языком? Может, полагает, что он не владеет им в должной мере?

— Господин прапорщик! — Через несколько дней полковник случайно встретил его в одном из штабных коридоров. — Как продвигается ваш отчет? Зайдите ко мне на несколько слов.

Вот он, случай для разговора, которого прапорщик так ждал!

— Я не хотел обижать Миня, — пояснил полковник, когда они зашли в кабинет. — Минь аккуратный и старательный работник. Но у меня есть сомнение, достаточно ли он знает японский. Все-таки военная терминология. Минь работал в торговой фирме, особого опыта у него может и не быть. Вахмистр передаст вам японские тексты. Он сделает это так, чтобы Минь не знал об этом. У каждого есть самолюбие. А вы, будьте уж так любезны, сверьте его переводы. И доложите мне. Думаю, японский скоро вам пригодится!

Последняя фраза делала разговор, к которому прапорщик так стремился, не только бессмысленным, но и невозможным.

## **ПРЕДАТЕЛИ И ГЕРОИ**

До войны агентурной разведки в Японии Россия не имела. Военным агентом (атташе) в Токио состоял уже знакомый нам полковник генерального штаба Самойлов. По роду службы ему надлежало регулярно составлять обзоры по японским вооруженным силам. Он это делал. Каждый месяц специальный курьер с особыми предосторожностями доставлял от него в генеральный штаб пакет, запечатанный наглухо сургучными печатями с личным его оттиском. Однако, вскрыв пакет, штабные офицеры чаще всего оказывались в недоумении: материал, подаваемый полковником как «секретный», был давно им известен и строился на сведениях, почерпнутых главным образом из газет. Пятый отдел генерального штаба не стеснялся не раз указывать ему на это. Но нарекания эти не вызывали у полковника ни малейшего чувства неловкости.

Другой военный агент в Японии, полковник Ванновский, племянник и протеже военного министра, был не лучше. «Японская армия, — писал он в секретном докладе, адресованном высшим военным чинам России, — далеко еще не вышла из состояния внутреннего неустройства, которое неизбежно должна переживать всякая армия, организованная на совершенно чуждых ее народной культуре основаниях, усвоенных с чисто японской слепой аккуратностью и почти исключительно по форме, а отнюдь не по существу, как, впрочем, это замечается во всех прочих отраслях современной японской жизни. Вот почему, если, с одной стороны, японская армия уже давно не азиатская орда, а аккуратно, педантично организованное по европейскому шаблону, более или менее хорошо вооруженное войско, то с другой — это вовсе не настоящая европейская армия, создавшаяся исторически, согласно выработанным собственной культурой принципам.

Пройдут десятки, может, сотни лет, пока японская армия усвоит себе нравственные основания, на которых зиждется устройство всякого европейского войска, и ей станет по плечу тягаться на равных основаниях хотя бы с одной из самых слабых европейских держав...»

Этот вывод был сочтен военным министром вполне убедительным. На докладе Ванновского он написал: «Читал. Увлечений наших бывших военных агентов японской армией уже нет. Взгляд трезвый».

На таких докладах строились представления о боевых качествах японской армии.

По мнению главного специалиста, занимавшегося этим вопросом при генеральном штабе, в случае войны

Япония могла бы выставить не более 150 тысяч солдат. Япония выставила против русских 375 тысяч, мобилизовав 1 миллион 200 тысяч.

Да, Россия была готова к войне, но с той Японией и с той ее армией, которая, по словам Ванновского, лишь через десятки или сотни лет оказалась бы способна тягаться с армией хотя бы одной из слабейших европейских держав.

На этих ожиданиях строились и стратегические планы генерального штаба.

С началом войны главнокомандующий русской армии генерал Куропаткин представил царю доклад — план предстоящей кампании. В том, что японские части будут разбиты легко и быстро, командующий не сомневался. «После разгрома японской армии на материке, — заканчивался доклад, — должен быть произведен десант в Японии, должно быть подавлено народное восстание и война должна закончиться занятием Токио».

Легко осуждать наивность этого плана нам, чье преимущество заключается лишь в том, что мы живем значительно позднее и в силу этого нам известен последующий ход событий. План кампании, составленный Куропаткиным, не был химерой. Он был построен в строгом соответствии с данными о японской армии, представленными разведкой. Разведкой, которой не было.

Ее не было, несмотря на то, что дальневосточным пограничным округам каждый год на разведку отпускались крупные средства. И несмотря на то, что

каждый год средства эти расходовались исправно. С каким результатом? Вот строки одного из отчетов:

«Штаб Квантунской области, 1904 г. Отпущено на разведку 3000 руб. Представлено: ничего не представлено.

Штаб Приамурского округа, 1904 г. Отпущено на разведку 12000 руб. Представлено: ничего не представлено».

Предпринимались и другие усилия. С таким же, однако, эффектом. Так, накануне войны был составлен проект специального «разведочного бюро», которое охватывало бы своим вниманием пограничные с Россией страны Востока, и в первую очередь Японию. Ежегодная деятельность такого бюро равнялась бы стоимости одного миноносца. «Разведывательное бюро, — писали авторы проекта, — принесет России значительно большую пользу, чем миноносец». В военных верхах, однако, предпочтение отдано было миноносцу. Проект же этот, как и другие, был сдан в архив, не возымев никаких последствий.

Отсутствие разведки с первых же дней войны имело для русских войск результаты катастрофические. Каковы силы, каково расположение японских войск, откуда следует ожидать удара — все это представлялось командованию даже не в тумане, а покрытым совершенным мраком. Неизвестно было расположение не только отдельных частей — целых неприятельских армий. В апреле 1904 года Куропаткин телеграфирует с театра военных действий военному министру в Петербург. Главнокомандующий сообщал, что он «все еще в неизвестности, где Вторая японская армия. По некоторым сведениям, — гласил текст телеграммы, —

можно предполагать, что часть Второй армии высадилась в Корею. Крайне желательно выяснить это достоверно. Не представляется ли возможность, жертвуя большими суммами денег, выполнить это через наших военных агентов более положительным образом, чем ныне».

Военные агенты, находившиеся в Осло, Пекине или Женеве, могли, оказывается, успешнее разведать расположение неприятельской армии, чем на это был способен аппарат главнокомандующего, находящийся на театре военных действий.

Работа штабного разведчика нередко сводилась к деятельности довольно будничной и прозаической. Тем неожиданней и драматичнее оказывались порой результаты этой работы.

Когда прапорщик приступал к сравнению переводов, он понимал, что неизбежно найдет там неточности и ошибки и должен будет доложить о них полковнику. Конечно, так было ему приказано, он не сам напросился, но все равно ситуация представлялась малоприятной. Во всем этом было нечто от доноительства.

Впрочем, терзания его оказались напрасны.

Переводы китайца, если не считать мелочей, были безупречны. О чем он не замедлил доложить полковнику, радуясь не столько за Миня, сколько за себя.

Полковник, разгадав, наверное, его радость, улыбнулся едва заметно.

— Устный японский хорошо понимаете?

— Отлично, господин полковник! — И поправился: — Вполне прилично.

— Ну и хорошо. Ну и слава богу. Благодарю вас. — И, заметив его разочарование, добавил: — Полагаю через несколько дней вы будете мне нужны.

Потребовался он, однако, значительно раньше. К вечеру того же дня в штаб был доставлен пленный.

— Капитан, — передавали друг другу новость офицеры. — Наши пластуны взяли. Не раненый. Помяли немного, но отошел.

Хотя был уже конец дня, прапорщик не стал уходить, ожидая, что о нем вспомнят. И не ошибся. Полковник ждал его в кабинете.

— Еще одна деликатная ситуация, прапорщик. Впрочем, привыкайте. Через несколько минут начнется допрос. Толмачом, как всегда, будет Минь. Запись допроса я поручаю вести вам. Не случалось участвовать в допросах? Я так и думал. Вот и хорошо, значит, будет практика. Заодно прислушайтесь, точно ли будет он переводить. Все-таки письменный текст — это одно. А потом доложите мне...

Наверное, не нужно было быть физиономистом, чтобы прочесть все, что чувствовал прапорщик в ту минуту, на его лице.

— Задержитесь, — полковник встал из-за стола. — Ну вот, опять обиделись? Трудно вам будет жить на свете, господин прапорщик. Кстати, — продолжал полковник. — Вы ведь читаете газеты. Не попадался вам там поучительный эпизод с американским адмиралом Эвансом? Нет? Жаль. Так вот, несколько лет у адмирала был слуга-японец. Он подавал ему туфли, чистил платье. Потом взял расчет а уехал. А через год, когда адмирал поднялся с официальным визитом на борт японского

крейсера, в его командире он узнал бывшего своего слугу. Высший офицер флота служил лакеем! Впрочем, мне кажется эта история вас не убедила.

...Прапорщик впервые видел врага лицом к лицу. «Это враг», — говорил он себе. Если бы случай свел их не здесь, а где-нибудь на передовой, в окопе, японец не задумываясь, убил бы его. «Это враг», — повторил он себе, досадуя, что так и не смог почувствовать к пленному ничего, кроме любопытства.

Другим тоже, видно, было интересно, и по пути, как вели японца, из-за дверей выглядывали писари, офицеры, солдаты охраны.

Лицо капитана не выражало ничего, глаза за толстыми стеклами очков были исполнены безразличия ко всему. В газетах писали, что, если японский офицер, попавший в плен, возвращался потом к своим, он делал себе харакири. Позор плена не оставлял ему права жить. Поэтому и капитан считал себя, видно, как бы уже не живущим. И не имело ни малейшего смысла все, что могло бы произойти сейчас, в этом безвременном промежутке между прежним его бытием и минутой, когда ему дано будет вспороть себе живот, чтобы уйти из жизни. Все это не имело значения. Он не был намерен ни покупать себе жизнь, ни избегать страданий, если русские станут пытаться его.

— Назовите пленному мое звание и переведите ему, — начал допрос полковник, — переведите, что я и мои офицеры восхищены храбростью японской армии. Мы также высоко ценим смелость и мужество господина капитана.

Минь перевел точно и быстро. Прапорщик едва успевал записывать.

При звуках японской речи некое движение прошло по бесстрастному лицу капитана. Сказанное как бы разорвало на какой-то миг круг его безразличия. Почти врожденная, поколениями воспитанная вежливость не могла позволить ему оставить без ответа слова признания, даже когда их произносил враг.

Прапорщик удержался, чтобы не начать писать, что ответил японец, не дождавшись, пока Минь произнесет эти слова по-русски: капитан считает честью для себя беседовать с доблестным русским офицером.

Полковник сидел за своим столом, пленный — на стуле перед ним, почти посредине кабинета, Минь — сбоку, как бы между ними. Прапорщик с чернильницей и бумагами расположился за столиком в стороне, чтобы пленному не бросалось в глаза, что каждое слово его записывают.

— Сожалею об обстоятельствах, — произнес полковник, — в которых мы с вами встретились.

— Сожалею об обстоятельствах, в которых мы с вами встретились, — перевел Минь.

«Сожалею об обстоятельствах, в которых мы с вами встретились», — записал прапорщик.

— Оба мы офицеры, — продолжал полковник. — Оба давали присягу, я своему государю, вы — своему. Я хорошо понимаю вас и не собираюсь предлагать вам что-то, противное офицерской чести и принятой вами присяге.

Минь перевел, прапорщик записал сказанное.

Капитан между тем вернулся в прежнее свое состояние, и круг безразличия сомкнулся снова над ним. Он ответил учтивостью на учтивость, и больше не существовало для него ни этих стен, ни врагов, находившихся в этих стенах и творящих какие-то слова.

— Вам нет нужды сообщать мне что-либо. — Полковник пытался пробиться сквозь стену его отрешенности. — Я сам назову вам некоторые данные, собранные нашей разведкой, и вы только подтвердите их правильность. Ничего сверх этого.

Это был ход. Капитан готов был, очевидно, стать мучеником, а оказалось никто не ждет и не требует от него этого. Полковник знал свое дело и знал, как говорить с этими людьми. Пожалуй, зря прапорщик не рассказал ему об Идее.

— Вам будут названы некоторые данные, полученные русской разведкой, и от вас ожидают подтверждения их, если они верны, — произнес Минь по-японски. Перевод был не совсем точен, но достаточно близок.

— Каждое сказанное вами слово, — продолжал Минь без паузы, — будет нарушением присяги. Друзья Японии постараются, чтобы об этом стало известно у вас в армии и на родине.

Прапорщику показалось, что он ослышался.

Несколько секунд он не верил себе. Но по тому, как изменилось лицо пленного, понял, что чудовищные эти слова действительно были произнесены.

— Предатель! — закричал он и вскочил, указывая на Миня. — Предатель!

Он успел заметить взгляд полковника и прочесть в нем досаду. Часовой у дверей зачем-то вскинул винтовку. Все это были какие-то доли секунды, которые сознание его фиксировало с точностью фотоаппарата. Только доли. Потому что уже через мгновение Минь был на ногах. Прапорщику показалось, что китаец бросится на него. Но тот, словно не видя его, метнулся мимо, к окну. Тогда, не думая ни о чем, на одном инстинкте, прапорщик бросился за ним, повиснув на китайце сзади и пытаясь свалить его на пол. Минь отшвырнул прапорщика, но тот тут же вскочил, не чувствуя боли, и снова повис на Мине. Китаец снова отшвырнул его, и, падая, прапорщик успел заметить в его руке узкое, длинное лезвие. И тут оглушительно грохнул выстрел. Это часовой опомнился и, не понимая, что происходит, выстрелил в воздух.

Минь обернулся на выстрел, и этой секунды было достаточно. Прапорщик бросился не на китайца, а только на его руку, державшую на отлете нож, рванул ее на себя и вверх, закручивая за спину. Нож упал, впившись лезвием в доски. Минь рванулся было, и прапорщик почувствовал, что теряет его, как вдруг китаец обмяк и бессильно опустился на пол. Только сейчас он заметил полковника, который нанес предателю молниеносный и едва уловимый удар.

В ту же секунду дверь распахнулась, в комнату ввалились офицеры и солдаты охраны, сбежавшиеся на выстрел.

— Увести, — кивнул полковник на пленного. — И этого тоже.

Китайца стали поднимать с пола.

— Стойте! — остановил полковник. — Обыскать.

Тут только прапорщик заметил, что мир вокруг него непривычно расплывчат и тускл, а вместо лиц белели только какие-то пятна. Ему помогли разыскать пенсне, которое не разбилось чудом.

— Герой! — Обступив, офицеры дружески хлопали его по плечу. Несколько пожилых молча пожали руку. Он не ощущал ничего, ни радости, ни волнения. И вдруг почувствовал, что мелко дрожит — ноги, подбородок, руки, и главная мысль, главная тревога была, чтобы другие не заметили этого.

Оставшись с прапорщиком, полковник долго молчал. Временами он потирал ладонь и морщился. Прапорщик ожидал похвалы. Но он ее не услышал.

— Вы испортили всю игру, — произнес наконец полковник. — Вы нарушили мой приказ. Вам надлежало доложить обо всем мне. Что он сказал?

Прапорщик повторил.

— Тем не менее. — Полковник снова потер ладонь. — Приказ вы должны были выполнить! У нас были данные, что из штаба происходит утечка. Я предполагал, что это Минь. Если бы вы смолчали, мы могли бы поставлять через него ложные сведения о наших делах. Вами сорвана операция. Я имею все основания, прапорщик, требовать вашего отчисления, — заключил он жестко.

— Если бы мне сказали, господин полковник. Предупредили...

— Вас? — Полковник усмехнулся недобро. — Отлично представляю, что бы за этим последовало!

Каким Натом Пинкертоном вообразили бы себя! Пожалуй, вообще спугнули бы его. Сейчас негодяй хотя бы в наших руках! Нет, господин прапорщик! Хотя вы и обижаетесь, что я назвал вас студентом, но человек вы, простите, сугубо штатский. Чтобы стать офицером, мало надеть мундир. Впрочем, я не буду требовать отчисления. К сожалению, я не могу позволить себе расстаться с вами. Мой отдел не может оказаться без переводчика.

Почему-то сейчас прапорщик забыл, о чем помнил всегда — говорить так, чтобы в словах его звучали те нотки уверенности и авторитета, которые слышались ему в голосе других офицеров.

— Господин полковник, я давно ждал случая... — И не к месту, и совсем не ко времени он стал рассказывать о своей Идее.

Полковник слушал, не прерывая.

— Я понял вас, — перебил он его наконец. — Вам представляется, и совершенно справедливо, что иная психология, религия и культура противника требует от нас другого подхода. Мы же воюем с японцами так же, как если бы мы воевали с какой-нибудь европейской нацией. Совершенно согласен с вами. Но, к сожалению, мы на войне. Глобальные идеи хороши в мирное время. Поэтому я хотел бы вернуть вас к конкретным нашим делам. Можем ли мы, руководствуясь вашей мыслью, сделать так, чтобы капитан дал нам показания? Или Минь?

— Что касается Миня, господин полковник...

— Его оставьте. Им я займусь сам. Кстати, скажите там адъютанту, чтобы привели его. Прямо сейчас. Сами можете быть свободны. Да, еще одно. Сегодня, кроме,

простите, глупости, вы проявили еще и смелость. Я ценю это. Я представлю вас к награде.

Когда Минь переступил порог привычного кабинета где бывал множество раз, два штыка упирались ему в спину.

— Ты знаешь, что тебя ждет, — полковник, всегда отменно вежливый, просто не мог произнести «вы» обращаясь к предателю. — Тебя ждет петля, Минь! И ты это знаешь. На пулю не надейся. Я не жалею тебя. Ты понимал, на что шел. Но я хочу дать тебе шанс. Я могу указать в рапорте, что ты оказал значительные услуги нашей разведке, и просить о снисхождении. Тебе могут оставить жизнь. Но для этого я должен иметь основания. Думаю, ты меня понимаешь.

Минь наклонил голову.

— Господин полковник...

— Нет! — Полковник кивнул конвойным. — Я не желаю говорить с тобой сейчас. Уведите.

«Сейчас он может еще торговаться. К утру сломается окончательно» — так рассчитал полковник.

Но утром ему пришлось начинать допрос с другого: Вей был найден зарезанным на ступенях своего дома.

— ...Ты знал об этом?

Минь покачал головой. Это могло означать как «да», так и «нет».

— Знал?

Все знали, что это должно случиться. Раньше или позже. Пока Вей просто служил русским, это было его дело. Но когда он выдал своих в Чженьяньтуне, дни его

были сочтены. Это понимал, это знал каждый. Так отвечал Минь.

Допрос продолжался весь день и был продолжен на следующий. Результатом его было снаряжение летучего отряда из казаков.

— Вы идете с отрядом. — Полковник говорил устало, и прапорщику показалось, что он даже осунулся за эти дни. — Вы и вахмистр. Но ваше дело не стрелять. Это умеют делать другие. Вы переводчики. Надеюсь, вам найдется что делать.

Полковник не ошибся, им нашлось дело. Около станции Хайлар пятеро китайцев были схвачены на месте преступления — они пытались заложить пироксилиновые патроны под рельсы. Захватив диверсантов, солдаты едва отошли от полотна, как по рельсам простучал тяжелый воинский эшелон.

Еще двух японцев удалось схватить близ станция Фуляэрди. Они собирались взорвать мост через реку Нони.

В другом, правда, им повезло меньше, вернее — не повезло вообще. За несколько часов до появления отряда близ станции Хайчен в воздух взлетел большой железнодорожный мост. Когда они прибыли, развороченные рельсы были еще теплыми и в воздухе пахло толлом<sup>[27]</sup>.

Китайские диверсанты и двое японцев были тем «отступным», той платой, которую Минь давал за свою

---

<sup>27</sup> После ряда попыток японцев вывести железную дорогу из строя была усилена ее охрана. Каждый километр железной дороги в Маньчжурии охраняли 55 человек. Это весьма затруднило действия японских диверсантов, в то же время ослабив русскую армию на 50 тысяч солдат.

голову. В бумагах, направленных военно-полевому суду, полковник упомянул о ценных сведениях, сообщенных Минем после ареста. Однако суд смягчающих обстоятельств в этом не усмотрел. Правда, Минь не был повешен, его расстреляли. Это единственное снисхождение, которое было ему оказано.

— Хочу показать интересного человечка, господин прапорщик, — обратился к нему как-то вахмистр, придав лицу выражение такого простодушия, что сразу стало понятно, что он задумал какую-то хитрость.

Через минуту в дверях появился китаец-кули в выцветшей старой блузе, с неизменной косой. Войти он не смел и только топтался на пороге, боязливо озираясь и кланяясь двум страшным большим начальникам.

— Давай не робей, хóдя<sup>[28]</sup>, — подбодрил его вахмистр, но тот никак не мог решиться переступить порог, а после окрика вахмистра засуетился еще испуганней.

— Ну? Каков? — осведомился вахмистр, торжествуя неведомо по какому поводу.

— В агенты? — Прапорщик с сомнением покосился на вахмистра. В этом случае китаец вообще не должен был бы приближаться к штабу. — Так ведь дурак же! Сразу видно. Дармоедов у нас и так хватает.

Вахмистр не сдерживал уже улыбки.

— Ну-ка, ходя, подай голос! Кто ты такой есть.

---

<sup>28</sup> *Ходя* — пренебрежительное прозвище китайцев, бытовавшее в те годы в Маньчжурии.

Китаец перестал дрожать, распрямился, стал «смирно» и совсем заправским, солдатским жестом приложил руку, как к козырьку, к засаленной тряпке, обмотанной вокруг головы.

— Чемарского пехотного полка рядовой Василий Рябов, ваше благородие! — с рязанским напевом выпалил он.

И уже не солдат, а мужик, довольный своей проделкой, смотрел на прапорщика озорно и радостно. Вахмистр веселился больше всех:

— Слышу вчера у солдат смех, вся казарма собралась. Целое представление! А это он! Пошли, Василий, я тебя еще другим господам офицерам покажу!

Спектакль повторялся еще и еще раз, и всякий раз вахмистр веселился и радовался, как впервые.

От каких случайностей, неувимых сцеплений обстоятельств зависит судьба человека!

Случилось так, что именно в тот день в штабе оказался глава армейской разведки генерал Ухач-Огорович, прибывший из ставки. Услышав от офицеров о необыкновенном солдате, он не преминул заметить полковнику:

— А еще жалуетесь, что к японцам посылать некого. Вот его, Рябова, и пошлите! А что, неплохая мысль, господа?

Полковник знал много способов не исполнять вздорное приказание. Возражать было самым худшим из них.

Генерал Ухач-Огорович был поставлен во главе разведки, которую, по сути дела, еще предстояло

создать. В этом и состоял, в частности, смысл теперешней инспекционной его поездки по штабам корпусов и армий.

— Господа, — объявил полковник. — Его превосходительство генерал Ухач-Огорович изъявил желание встретиться с нами для неофициальной беседы.

Встреча оказалась малолюдной, приглашены были лишь немногочисленные сотрудники отдела разведки.

— Прошу, господа, без церемоний. По-домашнему, — пробасил генерал.

Генерал рассказал несколько историй. О том, как разъезд поручика Шванебаха наткнулся на двух лам, которые молились в кибитке и которые оказались вовсе не ламами, а переодетыми японскими офицерами. О казацкой сотне, которая, проходя Ый-Чжу, захватила там переодетого майора японского генерального штаба Тацуиро с пятью нижними чинами и двумя штатскими. О шпионах-китайцах, которые, находясь в тылу боевых порядков наших войск, переговаривались с японцами при помощи красных и белых тряпок, намотанных на шести.

— Или вот еще поучительный случай...

Однако за всеми этими случаями не было общей картины и не вставало единого плана на будущее. Может, поэтому разговор так легко свернул на более легкую тему — о прошлом. Как оправдать провалы, объяснить неудачи и поражения — тому у генерала готовы были убедительные доводы и аргументы. Конечно, кое-что недоучли, недодумали, упустили, но в основном повинны были обстоятельства.

И действительно. Возможно ли было помешать шпионажу, если только в Уссурийском крае из 223 тысяч жителей 46 тысяч были пришлые — японцы, маньчжуры, китайцы! А сколько японцев оседало в городах близ казарм, военных частей и доков! Кто бывал во Владивостоке, помнит, наверное, фотографа Нарита. Он был японец и исчез недели за две до войны. Так вот, этот Нарита занимался групповыми фото офицеров. Он делал это лучше и дешевле других. Благодаря ему японцы имели полное представление о командном составе наших войск в городе. Впрочем, во многом мы сами виноваты. Помню, несколько лет назад в Иркутске мы как лучшего гостя принимали японского атташе Фукусима. Он следовал в Европу, в Париж или Лондон и не мог выбрать лучшего пути, кроме как через весь наш Дальний Восток и Сибирь. Железной дороги тогда еще не было, и весь путь он проделал верхом. Оказалось, Фукусима тогда уже был капитаном генерального штаба. Сейчас он руководит разведкой армии генерала Куроки, воюющей против нас.

Что могла противопоставить тогдашняя Россия этому тотальному шпионажу?

— Господин генерал, — решился один из офицеров. — Некоторые полагают, что наша разведка ограничивается театром военных действий и дальше, так сказать, интересов своих не простирает. Справедливо ли это предположение?

Генерал посмотрел строго и вопросительно. Однако даже не на говорившего, а на полковника, поскольку это был его подчиненный. После чего заметил строго:

— Во время войны таких вопросов не задают!

— А если задают, то на них не отвечают! — подхватил полковник несколько даже весело. Получилось так, что все, мол, у нас обстоит замечательно, только это тайна! И, подразумевая этот невысказанный подтекст, генерал кивнул полковнику — и рад бы, дескать, поведать об этом, да не могу, не имею права.

И все же, вздумай генерал Ухач-Огорович ответить на этот щекотливый вопрос, он должен был бы признать, что такой разведки у ставки нет. Едва ли ему могло бы быть известно, что генеральный штаб, тщательно конспирируя свои связи, всю войну держал двух своих агентов в Японии и одного в Китае. В самом начале войны в безотчетное распоряжение этим трем были переданы 52 тысячи рублей на организацию агентурной сети. Что удалось им сделать и удалось ли — неизвестно. Документов не сохранилось.

Покидая штаб, Ухач-Огорович еще раз напомнил командующему про Рябова. Непременно проинструктировать и послать. Полковнику затея эта представлялась безумием, и он, насколько мог, включил свои бесшумные тормозящие устройства. Через неделю, однако, командующий вызвал его.

— Что вы тянете, полковник? Не понимаю! Дайте ему задание попроще. Важно, чтобы этот солдат побывал на той стороне. Знаете, что сказал генерал? «Мы сделаем из него героя». И он прав — это нужно для морального духа войск.

Через неделю Василий Рябов, не знающий ни слова по-китайски и обладающий лишь даром мимикрии, был направлен в японский тыл. Вместе с ним шел Фан — тот самый молодой китаец, которого прапорщик видел в свой

первый день. Проводить их через посты боевого охранения поручено было вахмистру.

— Все в порядке?

— Так точно, господин полковник, — сказать это можно было по-разному. Вахмистр произнес это мрачно.

— Ничего. Не грусти, вахмистр. Вернется Василий.

И, хотя полковник постарался сказать это бодро, чувствовалось, что и сам он не очень этому верит.

После отъезда Ухач-Огоровича прошел слух, будто полковника переводят в ставку. То ли в силу ожидаемой перемены, то ли из-за каких-то других обстоятельств прапорщик нашел полковника как бы отключенным от того, что происходило вокруг. Таким прапорщик видел его только в день своего приезда. Может, поэтому он не решился коснуться причины своего прихода сразу.

— Через вас, кажется, полковник Самойлов передавал мне поклон? — Полковник говорил, не поворачиваясь к нему, глядя в окно, за которым моросил унылый маньчжурский дождь. — Знаете, что мы с ним в Болгарии делали? Нет? Как ни странно, мы оказались там благодаря японцам. Их офицеры прибыли туда, дабы негласным образом изучать опыт нашей войны с турками. Больше всего их интересовали обстоятельства, в которых русская армия терпела неудачи. Ну а нам нужно было знать, что интересует их. Некоторые мои коллеги допускали возможность войны с Японией. Правда, когда наш посланник в Токио Извольский сообщал, что Япония готовится к войне, в Петербурге от него отмахивались...

То, что говорил полковник, было мыслями вслух и не предполагало никаких комментариев прапорщика. Поэтому, когда он позволил себе заговорить, полковник

взглянул на него с некоторым недоумением, словно только сейчас заметил присутствие молодого человека.

— Конечно, он не берется судить, заметил прапорщик, но последнее время многие говорят об измене...

— Измене? — полковник скривился болезненно. — Вы действительно верите этим утешительным сказкам?!

— Но, господин полковник, вы же не станете отрицать — гаубицы взрываются...

— Гаубицы? Стодвадцатимиллиметровые, крупновские? Еще бы не знать! Взрываются.

Артиллеристы, приписанные к гаубицам, числились в должности самоубийц. Орудия взрывались в среднем после 300—500 выстрелов, но могли взорваться и на первом и на сотом. Когда раздавалась команда «пли!» и заряжающий дергал за шнур, никто из расчета не знал, что за этим последует — выстрел или взрыв.

— К сожалению, ни измена, ни японцы здесь ни при чем. — В голосе полковника послышалась горечь. — Капсюли для снарядов изготавливаются у нас, под Петербургом. При загрязнении гремучей ртути чувствительность ее к толчкам возрастает многократно. Так вот, добиться нужной чистоты мы не можем или не умеем, хотя во всем мире это делают без труда. Конечно, кричать «измена!» куда легче! А о «диверсии» на Сибирской железной дороге вы тоже, наверное, понаслышаны?

Еще бы, зимой 1904 года об этом говорили все. Сибирская железная дорога, единственная, связывавшая Россию с фронтом, бездействовала целый месяц. Но и здесь японцы, диверсия и измена были ни при чем. На

станции Тайшет у депо столкнулись два паровоза, загородив доступ к складу угля. Конечно, уголь можно было бы погрузить на паровозы корзинами. Но раньше так делать не приходилось, и страх перед новым оказался сильнее всего. Начальство распорядилось охладить паровозы. Стоял сорокаградусный мороз. Охлажденные паровозы, находившиеся на путях, вышли из строя. Другие составы, бывшие на соседних и дальних станциях, вынуждены были тоже остановиться и тоже охладить паровозы. Через несколько суток движение было парализовано на всей дороге. Было заморожено около семидесяти паровозов, на станциях и перегонах скопились сотни эшелонов с амуницией, снарядами и войсками.

— Знаете, прапорщик, чем мы заплатили за «диверсию», которую устроили сами себе? Поражением под Мукденом! Ни больше и ни меньше! Армия недополучила двести воинских эшелонов — полтора корпуса, которые могли бы изменить весь ход сражения. Русская армия извела позор неудачи, тысячи убитых, десятки тысяч раненых — и все это только потому, что на станции Тайшет два машиниста — пьяницы, а начальник — болван. Однако признать за собой такое стыдно. Кричать же об измене предпочтительнее, поскольку позволяет нам продолжать быть о себе хорошего мнения!

Полковник отошел от окна и наконец обернулся.

— Я, кажется, наговорил вам всего. — Он сделал попытку улыбнуться. — Думаю, больше мы не увидимся. Меня переводят в ставку.

На столе поверх бумаг лежал только что вскрытый полковником синий штабной конверт. Он не стал

говорить прапорщику, что было в нем. Узнает в свое время. Из ставки сообщали, что Чембарского пехотного полка рядовой Василий Рябов был схвачен японцами, предан суду и расстрелян.

\* \* \*

...А ведь добрый и верный китаец Фан так торопил Рябова возвращаться:

— Домой! Домой! — И махал рукой в сторону севера.

Шел шестой день их пребывания в тылу японских войск. До сих пор все обходилось. Они побывали даже в одном военном лагере, что оказалось не так просто. Рябов ничего не записывал, полагаясь на память, да и в грамоте силен не был.

Бывает на какое-то время опасность обретает вдруг для некоторых необъяснимую притягательную силу. И кажется, мало уже ходить по краю, нужно заглянуть в самую бездну, а то и побалансировать, покачаться над ней. «Это смерть зовет его», — говорят о таких старые люди.

Каждый японец на их пути мог оказаться первой ступенькой той короткой лесенки, что ведет к взводу, расстреливающему на рассвете. Но Рябова словно неумолимой силой влекло навстречу риску. Заметив на привокзальной площади офицера с саквояжем, он бросился к нему, знаками давая понять, что готов донести багаж. Японец согласился хмуро. Фан семенил рядом, перехватывая время от времени ручку саквояжа.

При виде офицера часовой у ворот дернулся, беря карабин на караул. Они оказались в расположении

какой-то воинской части, прошли мимо палаток и нескольких фанз, стоявших с края. Ничего не изменилось, ничего не произошло, но почему-то все стало походить на дурной сон. Так стало казаться Фану.

Офицер проявил неожиданную щедрость, не потеряв при этом своего хмурого вида. Когда же, поплутав сколько нужно, чтобы осмотреться, они направлялись к воротам, слева увидели десятка два кули, которые сгружали ящики с армейских обозных телег. Пройти бы мимо, но снова Рябов пошел навстречу риску. Дернув Фана за рукав, он пристроился за последним и взвалил на себя очередной ящик. Фан, идя следом, сделал то же. Они пошли по двум доскам, настланным на земле, и почему-то все стало как во сне, который неизбежно должен был обернуться кошмаром.

Японец в желтых крагах, стоявший под навесом, руководил разгрузкой. И на какой-то миг показалось, что все это уже было — и этот навес, и этот японец.

Поставив ящик, Рябов замешкался почему-то. Что произошло дальше, Фан не понял. Когда он обернулся на крики, Рябов, неестественно пригнувшись, бежал к воротам. Японец закричал ему вслед пронзительным голосом. Фан метнулся за штабеля и оттуда видел, как солдаты, выскочившие откуда-то сбоку, сбили Рябова с ног.

Кули стали шуметь:

— Он был не один! С ним был другой! Где он?

Фан еще глубже забился в какую-то щель и замер.

Через несколько дней на передовой японец с белым флагом вручил русскому офицеру пакет, адресованный генералу Куропаткину. Это было письмо от японского

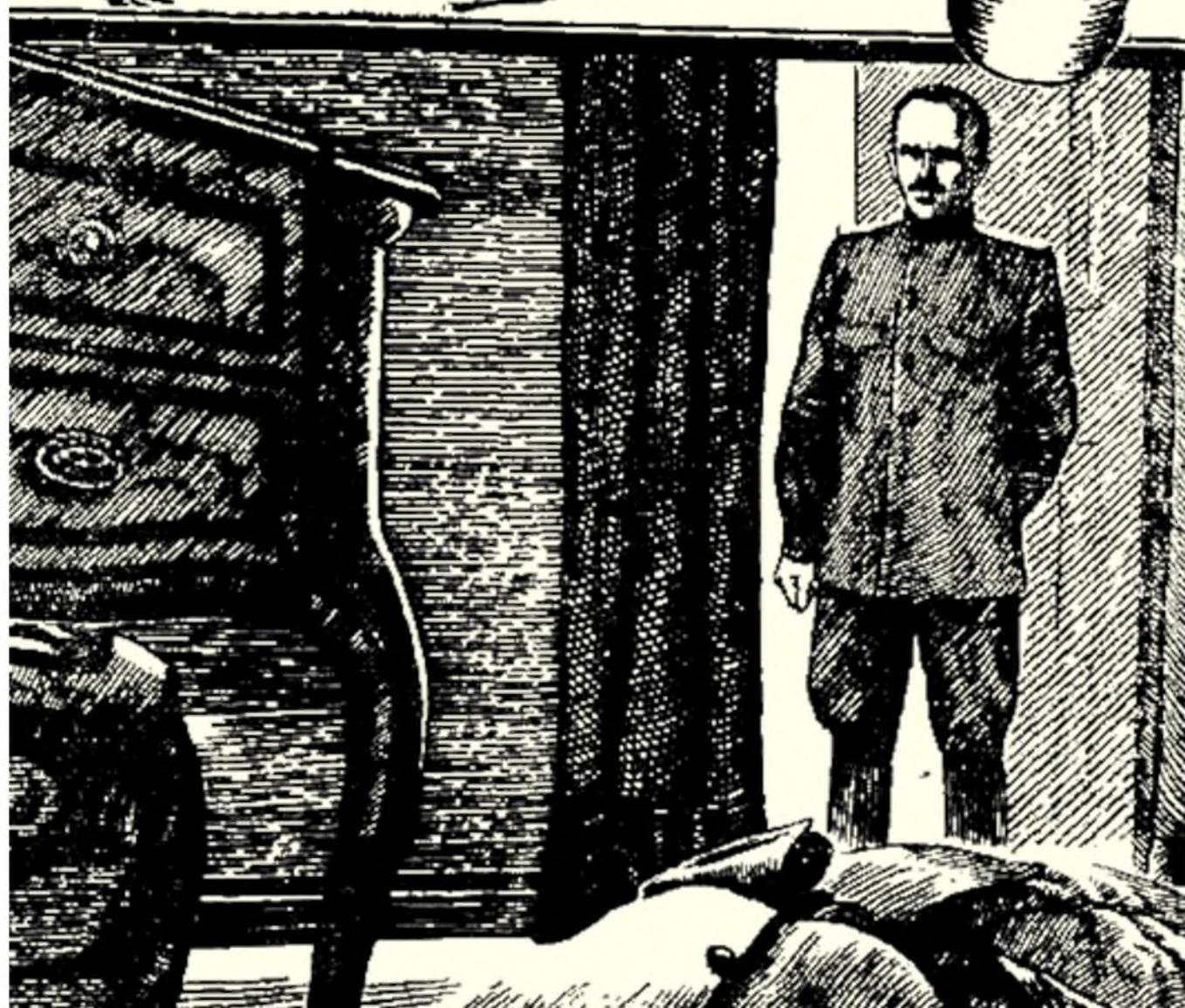
командующего. Русский солдат Василий Рябов, сообщал командующий, был задержан на территории японской воинской части и в соответствии с законами военного времени был предан полевому суду и расстрелян. Японский командующий поражен храбростью этого солдата, мужественно принявшего смерть. Он сообщает о происшедшем генералу Куропаткину и выражает свое восхищение.

# **ГЛАВА IX**

## ***Разоблачение***

# ГЛАВА IX

## *Разоблачение*



Первая мировая война была войной империалистической, войной за передел колоний. Колониями владели Англия, Германия, Франция. Но Россия, такое же империалистическое государство, как и другие, входила в это переплетение экономических, военных и политических интересов. Передел мира, писал В. И. Ленин, «не мог на основании капитализма произойти иначе, как ценою всемирной войны»<sup>[29]</sup>.

Но накануне войны Россия была уже чревата революцией. Вот почему то, что делали русские военные патриоты-разведчики, заносилось в архив истории уже не только по ведомству царской России. На их дела в той или иной мере падал отблеск приближавшейся революции.

Подвиг разведчика Колаковского, разоблачившего германского агента Мясоедова, ждет еще подробного и скрупулезного исследования военных историков. Когда эта работа будет проделана, версия, изложенная нами, обретет новые детали, а возможно, иной ракурс. Вот почему на том, что рассказано на этих страницах, рано ставить точку.

\* \* \*

Решетки на окнах были легки, ш у т о ч н ы, однако, когда арестант потрогал их, воспользовавшись отлучкою немца, к нему приставленного, убедился — не выломать, сделаны, что называется, от души, не на один день...

---

<sup>29</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 370.

— Еще раз расскажите подробно, как вы попали в плен? — спросил офицер генерального штаба германской армии, чиновник бюро разведки Бауэрмайстер, говоривший по-русски свободно, без акцента (чему, впрочем, удивляться — до мая 1914 года жил в Петербурге как русский подданный, подвизался в сфере страхования имущества).

— Вы же знаете... Ваши солдаты схватили меня контуженным; патронов к нагану не было, отстреливаться нечем...

— Бедненький русский офицер... Нечем отстреливаться... Японцы в таких случаях кончают жизнь кинжалом.

— Кинжалы для русских офицеров поставляли до войны ваши заводы, клинки слишком быстро ржавели и крошились; не харакири ими делать, а старикам пятки щекотать...

— Стоит ли так злобно отзываться о нашей военной индустрии?

— Стоит. Это для вас она военная, для нас — изменническая.

— Извольте по-прежнему дерзить?

— Нет. Просто называю кошку кошкой...

— Так ведь это и есть высшая форма дерзости!

— В моем положении она-то и есть спасение...

— Ваше имя?

— Вы же знаете...

Бауэрмайстер по-прежнему словно бы не слышал собеседника, сказал еще раз, бесстрастно, будто со стороны:

— Имя?

— Яков.

Бауэрмайстер повторил удовлетворенно, словно бы любуясь чем-то, одному ему видным:

— Яков... Прекрасно... Яков... Почти Якоб, очень близко к прусскому, не находите?

— Нахожу, отчего ж нет? Русы и прусы — одного рода племя.

— Ну, так-то резко б не надо...

— Не привык таить мнение...

— Придется и этому выучиться... Итак, Яков... Имя отца, пожалуйста.

— Вы знаете...

— Пожалуйста, имя отца?

— Павел.

— Павел. Почти Пауль. А может, и впрямь, русы и прусы? — улыбнулся офицер генерального штаба. — И наконец, фамилия?

— Колаковский.

— Что-то есть в звучании польское, не находите?

— И отец и дед мой православные, католиком никто в роду не был.

— Не верите в теорию крови?

— Не верю.

— Только «дух определяет личность»?

— Только.

— Ну а как же тогда прикажете понять, что вы, православный, русский... Кстати, какой полк?

— Перед вами лежат мои данные, господин Бауэрмайстер.

— Вот я их и намерен перепроверить.

— Тогда я отказываюсь говорить с вами. Я — офицер, и слово свое почитаю абсолютным... Коли я сказал о своем согласии, извольте мне верить, а не устраивать пустые перепроверки... Мы так в гимназии баловались, в шестом еще классе, слабеньких духом пугали, начитавшись «Бесов»...

— Вы стали значительно более говорливым, после того, как мы подкормили вас в лазарете...

Колаковский откинулся, словно от удара:

— Вы своему начальству доложите: отныне я вообще говорить с вами перестаю и предложение свое беру обратно.

— Поздно, Яков Павлович. Ваше согласие служить германской разведке уже зафиксировано на фонографе, так что отказ ваш невозможен. Очень сожалею. В случае отказа мы ошельмуем вас в глазах офицеров двадцать третьего пехотного Низовского полка... Хотите послушать запись нашей беседы, когда вы в первый раз изволили дать трещинку? А я, словно капля, в трещинку юрк, юрк и затаился... И ждал, пока мороз ударит... Лед камень рвет, словно порох, Яков Павлович...

— Ну и какой же вам смысл меня шельмовать? Каков прок? — спросил Колаковский, хрустнув пальцами так, что гримаса свела лицо немца.

— Прок таков, чтоб другим было неповадно финтить! — отрезал Бауэрмайстер.

Колаковский поднялся из-за стола, попросил:

— Встаньте, пожалуйста.

— Это еще зачем?

— Я ударю вас по лицу, дабы вы имели основание вызвать меня на дуэль.

Бауэрмайстер вздохнул, закрыл глаза, долго сидел недвижно, потом откашлялся:

— Хоть я и могу вас швырнуть в карцер, ибо вы наш пленник, но тем не менее прошу принять мои извинения, Яков Павлович... Простите, милый, но в разведке проверка — вещь необходимая, мы ж вам — коли передадим петербургскую агентуру — вручим судьбы людей, наших друзей, так что простите, бога ради, Яков Павлович, и не держите на меня зла, коли можете...

Колаковский опустил на стул, снова хрустнул пальцами:

— Разве ж допустимо так, право... Тем более я пленник... Ну да ладно, я удовлетворен вашим ответом вполне, лжи нет в нем...

Бауэрмайстер чуть поклонился, лицо его снова дрогнуло:

— А не слишком ли вы меня легко простили? Нет ли в этом простолюдинства? Истинный дворянин не может быть столь снисходителен к оскорблению.

Колаковский перегнулся через стол и резко ударил офицера.

Тот упал с кресла, ударившись головой об угол стола.

Колаковский поднялся, вышел в соседнюю комнату, крикнул дежурным:

— Поднимите вашего командира, он хлипкий...

Никто, однако, не ответил ему. В приемной Бауэрмайстера тоже было пусто.

Колаковский вышел в соседнюю комнату — никого; в третьей — тоже.

Он толкнул ногою тяжелую дверь, что вела на улицу, — подалась легко.

Колаковский хмыкнул, вернулся назад, тронул мыском Бауэрмайстера, лицо его дрогнуло, сказал презрительно:

— Ладно, поиграли, и будет. Бежать смысла нет, схватите. Или — или. Коли у вас нет нужды начать со мною серьезное дело — верните в лагерь, надоело мне подлаживаться под ваши дурацкие проверки. Отчего я согласился работать на вас, хотите понять? Оттого, что в России сейчас правят дурни, которые ведут империю к краху. Поднимать ее из руин предстоит Европе; ближе всех к нашим границам — вы; следовательно, вы-то именно и станете работать с нами; так не лучше ль договориться о форме сотрудничества, при котором насильник и мерзавец — то есть вы — станет выполнять по отношению ко мне те условия, которые мы обговорим заранее, пока вы во мне более заинтересованы, чем я в вас?

...После семидесяти четырех часов утомительнейших допросов состоялся обед в особняке генерального штаба. Генерал, принимавший Колаковского и Бауэрмайстера, заключил трехчасовую трапезу словами:

— Мы поручаем вам в Петербурге организацию диверсии, Якоб Паулевич, мы подвигаем вас на террор — именно вы должны будете застрелить великого князя, и, наконец, мы вам доверяем ценнейшее наше приобретение жизнь и честь друга, Якоб Паулевич; имя друга — Мясоедов; звание — полковник жандармерии; кличка в нашей разведке — «Шварц», оклад — сорок тысяч марок в год.

...Через девятнадцать дней, поздней ночью, в квартире подполковника генерального штаба Ивантеева, что на Мойке, задребезжал звонок.

Сонная прислуга не разобрала имени, побрела в покои барина. Тот спал отдельно от супруги, в своем кабинете, возле телефонного аппарата.

— Ктой-то к вам, Леонид Фомич, — сказала женщина, а кто — не пойму.

Ивантеев лежал на диване одетым, словно бы ожидая этого прихода.

Посмотрел на часы; стрелки показывали три часа утра.

— Ложитесь спать, Григорьевна, — сказал он, — я сам гостя впусти.

Света в прихожей Ивантеев не зажигал; когда вошел гость — обнял его, прижал к себе, ощущая чужой запах шинели, провел в кабинет.

Колаковский — а это был он (никакой не офицер пехоты, но сотрудник военной контршпионской службы) — чуть не обвалился в кресло и сказал, не разжимая губ:

— Вы были правы... Все эти годы правы... Будь мы все прокляты... Мясоедов действительно их агент.

Ивантеев протянул Колаковскому папироску, поднес обжигающе близкий огонь спички, спросил:

— Пароль и отзыв к нему вам дали?

— Да.

— Явку?

— Тоже.

— Это в протоколе допроса, который с вас станут потом снимать, не очень-то открывайте, ясно?

— Ясно.

— Сейчас спать, утром — за рапорт на мое имя, составим вместе, а потом — вплоть до ареста, если бог даст, мы сможем его на этот раз взять, — из дома моего не выходить, вас шлепнут незамедлительно...

Основания для такого рода опасений были весьма серьезны: агент разведки германского генерального штаба, полковник жандармерии Мясоедов был одним из начальников контршпионского ведомства России.

О его предательстве говорили не первый год; публично его обвинил в германофильстве член государственной думы октябрист Гучков; в популярнейшем «Новом времени» один из наиболее влиятельных журналистов России, Суворин, прямо

объявил Мясоедова человеком, стоящим на службе иностранных интересов.

Казалось, такого рода обвинения несмыаемы.

Увы, нет.

Об этих обвинениях тем не менее говорили в обществе шепотом, ибо генезис страха, вдавленный в головы подданных, предписывал и на сей раз: «Молчи и будь подалее!» И не зря страх шевелился в сердцах людей: военный министр Сухомлинов — любимец царя; Мясоедов любимец Сухомлинова. И все тут! Логическое построение иного порядка, кроме как: «Молчи! Т-ссс!» — попросту невозможно было в те годы.

Подполковник Ивантеев, несмотря на царивший страх, в течение многих месяцев собирал по крупицам документы, неопровержимо свидетельствовавшие об измене Мясоедова. Он при этом понимал, что без главной улики, без явок, паролей, без связей, без того, чтобы германские разведчики не назвали своего агента, — он не сможет в обход министра Сухомлинова, а точнее говоря, в обход царя, — арестовать жандарма.

И поэтому, когда началась война, русские военные разведчики, стоявшие на патриотических позициях, отправили в действующую армию ряд наиболее талантливых сотрудников для того, чтобы внедриться в германскую шпионскую службу и получить улики против сановных изменников, засевших в Петербурге под защитой скипетра российского самодержца и его августейшей подруги...

Колаковский такую улику получил, остальные его коллеги погибли «при исполнении долга»...

...Назавтра, минуя Сухомлинова, втайне от него, был отдан приказ: арестовать полковника жандармерии Мясоедова как шпиона, выдавшего Берлину, и Вене секретнейшие данные России...

Особенно одно «дело» Мясоедова было вопиющим по своему коварству. Именно ведь потому, что Сухомлинов смог назначить Мясоедова на столь секретный пост в военном министерстве, произошло предательство века: в 1913 году, как раз в ту пору, когда генеральные штабы Германии и Австро-Венгрии приступили к созданию к о н ц е п ц и и предстоящей войны, ушел из жизни самый загадочный лазутчик XX века, начальник разведслужбы Австрии полковник Редль, работавший на русский генштаб в течение десяти лет.

Однако «провал» Редля объяснялся как угодно, во только не как следствие германского шпионажа в России, то есть не как результат деятельности Мясоедова.

Предоставим слово английскому исследователю Роуану.

Вот что он писал о Редле:

«До 1905 года полковник был директором австро-венгерской разведки, сокращенно «КС», и успешная работа его отдела снискала ему полное признание руководителей армии. Он разоблачил и задержал нескольких из наиболее ловких шпионов Европейского континента; он сумел разузнать немало тщательно охраняемых тайн соседних держав; говорили, что он не знал неудач. Но больше половины своего времени Редль в действительности отдавал службе на пользу России».

Английский исследователь рассказывает далее, что, если возникал интерес к какому-нибудь посетителю, его могли сфотографировать «анфас и в профиль, а также снять пальцевой отпечаток, причем каждое слово, сказанное им, записывалось на специальной пластинке — и все это без ведома посетителя. Где бы этот посетитель ни сидел, на него всегда можно было направить две фотокамеры в наивыгоднейшем освещении. Во время беседы с посетителем вдруг начинал звонить телефон — это дежурный офицер сам «вызывал» себя к телефону, незаметно нажимая ногой под столом кнопку электрического звонка. В течение этого мнимого разговора офицер знаком указывал на закрытый портсигар, лежащий на столе, приглашая гостя взять папиросу. Металлическая крышка портсигара была соответствующим образом обработана и сохраняла отпечатки пальцев того, кто к ней прикасался.

Если гость был некурящий, офицер по телефону «вызывал» себя из комнаты; извинившись, он второпях забирает с собой портфель. Под ним оставалась папка, помеченная надписью «секретно». И мало кто из приходивших в центральное бюро «КС» отказывал себе в удовольствии заглянуть в папку с такой заманчивой надписью. Разумеется, поверхность этой папки также была обработана. А если посетитель не поддавался искушению, применялась новая хитрость, и так далее, пока какая-нибудь из них не удавалась. И все это время скрытый прибор запечатлевал каждый звук на граммофонной пластинке, находившейся в смежной комнате.

В 1905 году Редль переехал в Прагу в качестве начальника штаба крупнейшей армии, передав свой пост талантливому разведчику капитану Ронге. Именно он, капитан Ронге, решил перецеголять Редля. Он внедрил, как утверждает Роуан, новый вид слежки — тотальную тайную почтовую цензуру. «Подлинные мотивы этого нововведения были известны только трем лицам — Ронге, его начальнику и чиновнику, которого он поставил во главе венского «черного кабинета». Всему остальному штату сказали, что это делается для преследования таможенных жуликов, и обязали хранить сообщенное в тайне. Благодаря такой уловке работники бюро цензуры обращали особенное внимание на письма, получаемые из пограничных пунктов.

2 марта 1913 года в «черном кабинете» (то есть в отделе контршпионской службы, занятом перлюстрацией писем, полученных из-за границы) были вскрыты два конверта. Оба были адресованы: «Опера, Балл, 13, до востребования, главный почтамт, Вена». Судя по почтовым штемпелям, они прибыли из Эйдкунена в Восточной Пруссии, пункта на русско-германской границе. В одном конверте лежали кредитки на сумму 6 тысяч австрийских крон, в другом — на 8 тысяч. Ни в том, ни в другом не было сопроводительного письма, и это, естественно, показалось подозрительным. Вдобавок Эйдкунен был маленькой станцией на русско-германской границе, хорошо известной шпионам всех наций. «КС» вернула оба письма в отдел писем «до востребования» и решила посмотреть, кто явится за ними.

Позади венского главного почтамта на Флейшмаркте (Мясном рынке) приютился небольшой полицейский участок. Ронге распорядился соединить этот участок специальным телефонным проводом с почтовым отделом

«до востребования». Дежурному чиновнику достаточно было нажать кнопку, чтобы в одной из комнат полицейского участка раздался звонок; он должен был сделать это, как только придут за обоими письмами, и возможно дольше задерживать при этом выдачу их. В полицейском участке постоянно находились наготове два сыщика, которые должны были поспешить по звонку на почту и выяснить, кто явился за письмами.

Прошла неделя, пишет Роуан, все было «на взводе», но звонка не было. Прошел март, апрель, но никто не являлся за письмами; 14 тысяч крон оставались невостребованными. Но на 83-й день ожидания, в субботу вечером 24 мая, раздался звонок с почты. Одного из сыщиков не было в этот момент в комнате; другой мыл руки. Спустя две минуты, однако, они уже мчались на почту.

Почтовый чиновник сказал, что они опоздали, что получатель только что вышел «налево». Выбежав на улицу, они увидели удалявшееся такси. И ничего более. Сыщики простояли на месте двадцать минут и чувствовали себя провинившимися школьниками; им очень не хотелось сообщать о своей неудаче и выслушивать упреки начальства. Но, по иронии судьбы, как раз неудача сыщиков и их бестолковое стояние на месте перед почтой дали превосходную нить для следствия. Возвратилось такси, на котором уехал получатель двух злополучных писем. Сыщики немедленно расспросили шофера и установили, что его недавний пассажир направился в кафе «Кайзергоф».

— Поедем и мы туда, — сказал один из сыщиков.

По дороге они тщательно обследовали сиденье в автомобиле и нашли футляр от перочинного ножа из

серой замши. В эту пору дня в кафе «Кайзергоф» было почти пусто; пассажира не оказалось. По-видимому, он пересел на другой автомобиль, чтобы запутать след. Неподалеку была стоянка машин, и здесь сыщики узнали, что какой-то мужчина за полчаса до этого взял автомобиль и приказал ехать к отелю «Кломзер».

Явившись в отель, они спросили у портье, приезжали ли кто-нибудь в такси за последние полчаса. Да, приезжало несколько человек; в номер 4-й, в номер 11-й, а также в 21-й и 1-й. В 1-м номере находился полковник Редль.

Сыщики показали портье футляр от перочинного ножа:

— Возьмите и при случае спросите гостей, не потерял ли кто-нибудь из них эту штучку.

Портье был рад услужить полиции. Один из сыщиков отошел в сторону и стал читать газету. Хорошо причесанный господин в щегольском штатском костюме спустился по лестнице и отдал свой ключ. Это был «номер 1-й».

— Виноват, — сказал портье, — вы случайно не потеряли футляр от перочинного ножа?

— О да, — сказал Редль, — конечно, это мой футляр! Благодарю вас.

Но тут он заколебался. Где он пользовался перочинным ножом в последний раз? В первом такси, вынимая деньги из конвертов! Он поглядел на портье — тот вешал ключи на место. Неподалеку стоял другой человек, видимо, поглощенный чтением газеты. Редль положил футляр в карман и направился к выходу.

Сыщик, читавший газету, кинулся в телефонную будку и потребовал: «1-23-48» — секретный номер штаба политической полиции в Вене. И главным чинам «КС» стало известно, что письма, адресованные «Опера, Балл, 13», были наконец получены адресатом: их получатель использовал два таксомотора, чтобы запутать возможных преследователей, но имел неосторожность потерять футляр от своего перочинного ножа. Установлено, что этот футляр принадлежит их шефу — Альфреду Редлю.

Офицеры поспешили на почту за справками. В отделе венского почтамта «до востребования» все получающие письма должны были заполнять краткий формуляр:

Род вложения:

Адрес на пакете:

Укажите (по возможности), откуда ожидаете.

Контрразведчики увезли с собой бланк, заполненный человеком, получавшим письма на адрес «Опера, Балл, 13». С потайной полки в своем кабинете достали небольшой, изящно переплетенный томик. Это был секретный документ, написанный самим Редлем, — он считал его слишком конфиденциальным, чтобы отдавать в перепечатку.

Был сличен почтовый формуляр с рукописью. Сомнений быть не могло — это почерк Редля.

А в отеле тем временем Редля ждал доктор юриспруденции Виктор Поллак, пригласивший старого друга отобедать в ресторане «Ридгоф». Полковник согласился, но пошел переодеться во фрачную пару. Поллак был одним из виднейших юристов Австрии, он часто сотрудничал с Редлем в судебных процессах по

шпионским делам. Сыщик подслушал их разговор, протелефонировал своему начальству, а затем отправился в «Ридгоф» предупредить директора ресторана.

Когда Поллак и Редль сели за стол в отдельном кабинете, им прислуживал в качестве официанта агент тайной полиции. Но услышал он мало, ибо Редль был угрюм и почти ни о чем не говорил со своим приятелем. Во время ужина Поллак, покинув на минуту кабинет, подошел к телефону и, к изумлению официанта-сыщика, вызвал к аппарату начальника венской полиции, отвечавшего за слежку в операции против Редля.

— Друг мой, вы поздно работаете! — сказал Поллак.

— Я жду данных по одному важному делу, — сказал тот и стал слушать Поллака, который начал рассказывать ему о каких-то «затруднениях Редля».

Полковник действительно весь вечер казался не в духе, был чем-то взволнован, признался Поллаку в нравственных терзаниях, дурных поступках, но, конечно, ни слова не сказал о шпионаже или измене.

— Вероятно, переутомление, — закончил Поллак свой рассказ. — Словом, он просит меня устроить так чтобы он мог немедленно уехать обратно в Прагу с наибольшими удобствами. Не можете ли вы оказать ему содействие?

— Успокойте полковника, — ответил шеф полиции, — пусть он придет ко мне завтра утром. Я сделаю для него все возможное.

Поллак вернулся в отдельный кабинет.

— Пойдемте, — сказал он Редлю в присутствии «официанта». — Я уверен, что нам удастся все устроить.

Поллак оставил официанта-сыщика в растерянности и недоумении. Адвокат телефонировал начальнику полиции, а потом сказал шпиону и предателю, что ему кое-что «устроят».

В 11 часов 30 минут Редль попрощался с Поллаком в холле отеля и вернулся в свой отель. В полночь четыре офицера в полной форме вошли к нему. Редль в это время сидел за столом и писал.

— Я знаю, зачем вы пришли, — сказал он. — Я пишу прощальные письма.

— Мы должны узнать масштабы и продолжительность вашей... деятельности.

— Все, что вы хотите знать, отыщется в моем доме в Праге, — сказал Редль.

Потом он попросил револьвер.

Офицеры, которым начальник австрийского генерального штаба поручил допросить Редля и обеспечить его немедленную «казнь», отправились в кафе «Централь», заказали кофе и стали в напряженном молчании ждать.

В полночь Редля не стало».

...Вот какого уровня разведчика сумели разоблачить в Вене в 1913 году...

Полно, в Вене ли?!

...Прежде чем начать анализ версии, высказанной Роуаном, посмотрим, как излагали это же событие

австрийские историографы. Один из руководителей венской разведки (по прошествии многих лет после описываемых событий) сообщил, что дело началось не в почтовом отделении на одной из прекрасных улиц Вены, а в Берлине, в кабинете начальника германской разведки полковника Николаи.

В апреле 1913 года в Берлин из Вены было «почему-то» (?) возвращено письмо, адресованное «до востребования». В Берлине его, «естественно» (?), вскрыли, прочитали, сфотографировали. Было в письме, по утверждению австрийских юристов, шесть тысяч крон и два шпионских адреса, известных секретным службам Берлина и Вены, — первый в Париже, другой в Женеве. Именно берлинская секретная служба и отослала «сестринской» шпионской организации в Вену загадочное письмо с деньгами и предложила начать слежку за почтой, чтобы выявить получателя.

Любопытная деталь. Английский историк об этом факте не упоминал. Отчего?

Теперь о других «разночтениях» в деле Редля. «Разночтения» ли? Стоит заметить, что австрийский исследователь был в свое время виднейшим деятелем австрийской разведки. Именно он-то и утверждал, в частности, что в почтамте незнакомца ожидали три сыщика.

Почему английский исследователь говорит всего лишь о двух?

Куда делся третий?

Кто он и откуда?

Австрийский исследователь сообщает, что шофер, вернувшийся к сыщикам после того, как они потеряли

«объект наблюдения», сообщил, что вез своего пассажира к гостинице «Кломзер».

А почему он ничего не сказал им про кафе «Кайзергоф», как утверждает Роуан?

Почему австрийский исследователь обошел факт посещения полковником Редлем этого модного шумного кафе, где возможны контакты со всякого рода людьми?

Впрочем, словно бы поправляя своего коллегу, другой австрийский исследователь, Урбанский (в прошлом — генерал военной разведки в Вене), вспоминает кафе «Кайзергоф» и выдвигает версию, что, мол, сыщики расспросили мойщика такси возле кафе, и вот именно тот человек сказал о господине в штатском, который уехал на другом «моторе» к гостинице «Кломзер».

Как мойщик мог слышать то, что сказал пассажир шоферу?

Можно ли слышать в н е машины то, что говорят в н у т р и, да еще при включенном моторе?

Сыщики, по версии австрийского исследователя, пришли в отель, и сразу же, безо всяких «экивоков», задали вопрос портье:

— Кто из постояльцев прибыл сюда на таксомоторе?

— Полковник Редль, — сразу ответил тот. — Я только что передал ему ключи.

Зачем же нужно было играть в «футлярчик»?

Эта игра нужна была для того, чтобы все поверили: не прояви Редль легкомыслия, будь он постоянно мобилизован, никогда бы ему не грозила беда.

Короче: все должны знать — в провале виноват сам Редль и никто иной.

Однако при тщательном исследовании этого дела, возникают вопросы, ответы на которые пришло время дать.

Итак: во-первых.

Как явствует из документов, опубликованных в литературе, Редль начал сотрудничать с русской разведкой начиная с 1900 года. Все это время (а не с приходом преемника Редля капитана Ронге) «черный кабинет» действовал безотказно, и письма, приходящие из «подозрительных» районов, тщательно перлюстрировались чинами австро-венгерской контрразведки. Но отчего только в 1913 году, то есть накануне войны, венская контршпионская служба установила постоянный пункт слежения за почтовым отделением не по собственной инициативе, а с подачи Берлина? Отчего восемьдесят три дня полицейская служба столь тщательно караулила неведомого корреспондента?

Да потому, что австрийцам нужна была неопровержимая улика против Редля, добытая не где-нибудь, а в Вене и не как-нибудь, а путем личного наблюдения, дабы ни у кого, никогда, ни при каких условиях не возникло и мысли, что сигнал о работе Редля с русскими поступил из Петербурга от Мясоедова.

Во-вторых, описанный метод слежки за Редлем производит в высшей мере странное впечатление. Ведь шофер такси опознал того, кто ехал с ним в кафе! И второй шофер опознал! И портье отеля указал на того,

кто только что приехал из кафе. Круг-то замкнулся — чего не хватало?

В-третьих, кому нужно было ждать сигнала сыщика о начале слежки за Редлем после того, как ему отдали футлярчик? Почему лишь после этого поехали на почту, чтобы затребовать формуляр для выдачи получения, заполненный полковником? Почему этого не сделали немедленно после того, как сыщики потеряли Редля при его выходе из почты? Зачем было ждать? Если бы контрразведка не знала з а р а н е е, кто придет за деньгами, ее люди обязаны были бы поспешить на почту, они бы обязаны были немедленно з а п у с т и т ь формуляр, заполненный получателем, в графологическую, почерковую и прочие экспертизы. Никто, однако, не торопился; суетились бедные сыщики, не посвященные в суть операции; руководители беспокоились об одном лишь — об убедительности м о т и в а ц и и при задержании шпиона...

В-четвертых, как объяснить, отчего шофер такси, увезший Редля, столь з а б о т л и в о вернулся обратно, чтобы забрать незадачливых сыщиков, потерявших объект наблюдения, да еще подвезти их ко второму шоферу такси, который — о чудеса! — подробно рассказал, что он доставил интересующего пассажира в отель «Кломзер»?

Ответ ясен: за Редлем уже не первый день следила военная контрразведка, а сыщики, служившие в венской политической полиции, были лишь прикрытием для тех, кто знал (получивши сведения из Петербурга), что Редль работает с русскими. Можно допустить, что и шоферы таксомоторов были включены в операцию.

История с футляром перочинного ножичка на самом деле является л е г е н д о й, ибо сам по себе факт обнаружения замшевой «фитюльки» не является уликой.

Да и вообще, в деле Редля улик нет. Все улики были обнаружены после самоубийства Редля.

А кто может подтвердить факт самоубийства?

Его слова о том, что он, мол, знает, зачем к нему пришли, приведены теми офицерами генерального штаба, которые отвечали за то, чтобы Редль перестал жить. Каким образом — выстрелом ли в висок или же в спину — особого значения не имеет.

...Эпизод с Редлем — лишь одна из страничек биографии жандармского полковника Мясоедова, специализировавшегося на предательстве России иноземцам...

...Данные, добытые Колаковским, позволили честным русским офицерам провести стремительную комбинацию: Мясоедов был арестован без санкции военного министра и немедленно увезен в Варшавскую крепость — подальше от всесильного заступника.

Однако, прежде чем рассказать о том, как закончилась судьба германского супершпиона, разоблаченного русскими военными контрразведчиками, необходимо более подробно остановиться на личности министра обороны России генерала Сухомлинова. Без этого трудно понять, каким образом Мясоедов был допущен в святая святых царского кабинета и к тем сверхсекретным данным, которые вправе были знать

лишь Николай, премьер и министры обороны, иностранных и внутренних дел, промышленности.

Впервые о Сухомлинове услышали в 1877 году, во время освобождения Болгарии, — молодой подполковник генерального штаба получил солдатского «Георгия», ибо проявил отвагу, ворвавшись с четырьмя казаками в турецкую крепость; там он дерзко потребовал капитуляции и привез в штаб Дунайской армии рескрипт, подписанный турками.

Когда генералы принялись сочинять депешу о происшедшем, то со свойственным, увы, бюрократизмом они ее переписывали чуть что не десять раз, и все никак не могли понять, верно ли расставлены акценты, достаточно ли часто упомянуто имя государя, сколько раз говорится о великих князьях, упомянуто ли здоровье ее императорского величества государыни-императрицы.

Сухомлинов, наблюдая эту штабную панику, предложил генералам отдохнуть за чашкой чая (он был тогда скромн, ловок, изящен), и те, понятно, с радостью приняли предложение молодого подполковника (кстати, про него в депеше генералы ничего не писали, хотя он-то и был истинным героем дня).

Когда штабные начали пить чай, Сухомлинов сел к столу и в минуту написал депешу. Корпусной командир прочитал текст и, подписавши, сказал:

— Очень верно понято все то, что государю будет приятно прочесть.

Так впервые Сухомлинов угодил вкусу Царского Села.

После этого он незаметно ретировался с театра военных действий, вернулся в северную столицу, стал

правителем дел в Академии генерального штаба, затем руководил офицерской кавалерийской школой, но при этом суетливо ощущал, что жизнь проходит сквозь пальцы, словно песок, и решил он тогда, что выделиться среди других военачальников, подняться и войти в с ф е р ы можно лишь растворением в августейшем мнении, с одной стороны, и скоморошеской приметности — с другой. И Сухомлинов принялся сочинять рассказы, укрывшись за звучным псевдонимом Остапа Бондаренки. Брошюры Бондаренки издавались большими тиражами, они стали известны в России, их читали многие, а поскольку литература социальна и находит свой «сектор» в обществе, то Бондаренку особенно отметили б ы в ш и е, то есть те, кто сформировался во времена Николая Палкина, кто скорбел по спокойному, неторопливому времени, по царству бар и урокам шпицрутенами, кто боялся слова и чтит казарму; те, словом, которым новые времена, стремительное развитие науки, промышленности, культуры России были чужды и страшны. Именно этому процессу всячески противилась царская бюрократия и поддерживавшие ее черносотенцы.

Поэтому для них появление разудалого «Остапа» — а они-то знали, что это полковник генштаба Сухомлинов, — было словно бальзам на раны, ибо прогрессивные русские военачальники перед тем, как их убирали в отставку, бесстрашно продолжали повторять: военное дело как дитя научно-технического прогресса переживает эру исканий; на вооружении армий Запада уже внедрена скорострельная быстроподвижная артиллерия; бездымный порох, магазинное ружье! Все большее количество ученых Запада думает, как подчинить воздух армии; а землю — моторам!

А Остап Бондаренко в каждой своей брошюрке резво издевался над этими «профессорами от армии».

Знания он называл «кабинетно-табуретными», книжки русских ученых — «книжонками»; а одну из своих брошюр назвал прямо, без обиняков — «Не всегда ученье свет».

Самое страшное для Остапа — инициатива, знания, любое новшество.

Едва кто-то из военных исследователей заявил, что эра кавалерийских атак ушла в прошлое, как Остап называет это «предательством русской старины» и забвением того «святого, чем жива Русь-матушка».

Эти брошюры легли на стол «серого кардинала» Победоносцева; тот передал их бывшему воспитаннику — царю Николаю.

Понятно, п р о з а Остапа понравилась — ни о чем ведь ином не радеет, кроме как о седой старине!

Именно таким образом Остап стал генералом, а затем начальником штаба важнейшего Киевского, пограничного с Австрией, военного округа.

Именно там по прошествии всего лишь трех лет после того, как угодливый генерал, он же черносотенный Остап, стал начальником штаба Киевского военного округа, состоялись в 1902 году огромнейшие маневры под Курском.

«Южными» были войска Киевского военного округа, «северными» — Московского.

«Северные» создали «летучие партизанские отряды». Солдаты одного из летучих отрядов, заброшенные в глубокий тыл «южных», увидели, как

среди березовых перелесков в экипаже на мягких дутиках преспокойно ехал вальяжный генерал. И «летуны» ничтоже сумняшеся захватили в плен генерала «вражеской» армии! А оказался этот генерал не кем-нибудь, а начальником штаба Сухомлиновым.

Он закричал:

— Это что ж такое! Да такого же никто в условиях не оговаривал!

Казалось бы, карьера начальника штаба «южных» на этом должна быть закончена. Но нет! Сухомлинов немедленно принялся за свои спасительные брошюрочки, обрушился на нововведения, зло потешался над «иностранщиной» и властно требовал возврата в старину: «То, что старо, — то истинно; то, что ново, — чужеземно, сиречь не нужно нам».

Словно капля бальзама были эти дремучие истины для августейшего семейства и неподвижной, тупой бюрократии — «казенным» людям. А коли так, то стоит ли обращать внимание на общественное мнение?! Какого рожна, где оно в этой державе?!

И в Петербурге подписывается указ о назначении Сухомлинова начальником русского генерального штаба!

Сухомлинов был вызван из Киева срочной шифрограммой без объяснения причины. Он приехал в Петербург в состоянии нервном; ему хватало причин бояться, ибо последние три года развивался роман стареющего генерала с молоденькой женой помещика Бутовича. Помещик в разводе отказывал. Тогда Сухомлинов стал угрожать рогоносцу заточением в сумасшедший дом; а тот, будучи человеком отнюдь не

робкого десятка, возбудил против Сухомлинова судебное дело.

И как раз в это время Сухомлинову и его жене начали оказывать всяческую помощь австрийский торговец Альтшиллер и киевский коммерсант Фролов. Они постоянно были рядом с влюбленными, стараясь — всеми правдами и неправдами — отвести от «достоинейшей четы» те «наветы», которые распускают завистники и вообще гадкие люди.

Судебные издержки стоили денег, средства Сухомлинова были на исходе, его молодая возлюбленная обожала общество, приемы, выезды.

Выручал Альтшиллер — ссужал деньгами постоянно; какую-то толику денег давал сам, но львиную долю ему переводило командование из Вены, ибо он был не кем иным, как главою немецкоговорящей резидентуры на юге России и в Киеве.

(«Отдавать» деньги Сухомлинову приходилось впоследствии архипросто: он не давал заказы на оружие русским заводам, а размещал их на Западе, там, где заранее производили для Петербурга допотопные, а то и вовсе бракованные пулеметы и револьверы. Вот вам и борец за «российскую самость» противу «западной заразы»!)

Видимо, перед отъездом в Петербург между Альтшиллером и молодой возлюбленной состоялась беседа — в какой-то мере вербовочная. Видимо, Сухомлинов знал об этом (догадывался — наверняка), поэтому-то был он нервен, прибывши в столицу, ожидал бог знает чего от начальства.

Однако же назавтра он был представлен государю императору и получил от того официальное назначение на должность начальника генерального штаба. Через год «Остап» Сухомлинов стал военным министром России.

Судебный процесс против него в Киеве еще продолжался, а военный министр Сухомлинов, переселившись в Петербург, устроил прием в своем доме, и гостей принимали три верных друга: Альтшиллер, Мясоедов и князь Андроников.

Итак, Альтшиллер, офицер австро-венгерской армии, резидент военной разведки в Киеве, вместе с Сухомлиновым переселился в Петербург.

Мясоедов — полковник жандармерии<sup>[30]</sup>, завербованный германской секретной службой в то время, когда он работал на пограничной станции Эйдкунен (именно той, откуда было отправлено в Вену письмо Редлю).

Князь Андроников — тесно связанный как с группой Распутина, так и с германскими разведчиками.

Кто привел в дом министра Мясоедова — неизвестно. Он появился там, находясь в положении весьма сложном.

Подполковник генерального штаба Ивантеев тщетно старался понять истоки этой дружбы. Сколько ни пытался он, — имея тревожные сигналы, переданные ему русскими разведчиками из Берлина о Мясоедове как об агенте немцев, — ни Сухомлинов, ни министр внутренних дел к материалам о полковнике его не подпускали.

---

<sup>30</sup> Некоторые источники и документы тех лет называют Мясоедова подполковником по предшествующему званию.

Косвенные улики так и остались уликами косвенными, во всяком случае, до той поры, пока не началась война и Колаковский не проник в германскую разведку.

А имей Ивантеев возможность вовремя получить материалы, заботливо хранимые в досье и на Мясоедова, и на Сухомлинова, сотни тысяч жизней русских солдат можно было бы сохранить от гибели...

Обратимся к показаниям директора царской охраны Белецкого.

«Из дел, особо интересовавших Сухомлинова, — сообщает Белецкий, — было три: во-первых, урегулирование вопроса о постановке агентуры в войсках; во-вторых, о волнениях в Туркестанском лагере, в коих он обвинял генерала Самсонова, и, в-третьих, полковник Мясоедов. В свое время тот был уволен из корпуса жандармов. В течение ряда лет Мясоедов тщетно пытался, прибегая к высоким связям, вернуться обратно на службу в корпус жандармов, откуда он был уволен, при генерале Курлове распоряжением покойного П. А. Столыпина.

Мясоедова я знал еще по своей службе в Ковенской губернии, при поездках в Кретинген, Тауроген и другие наши пограничные пункты, где Мясоедов состоял на службе в ту пору в качестве старшего жандармского офицера, осуществлявшего наблюдение как за проезжающими через эту границу лицами, так и по секретным поручениям департамента полиции и корпуса жандармов. В этом пункте Мясоедов служил долгое время, сумел быть полезным многим высокопоставленным лицам, в особенности их женам во время возвращения в Россию с купленными за границею

вещами, был в самых лучших отношениях со всеми пограничными властями Германии, пользовался особым вниманием к себе со стороны императора Вильгельма, всегда приглашавшего его на свои охоты в окрестностях, прилегающих к русской границе, в особенности вблизи Полангена, принимал участие в качестве коммерсанта-пайщика в германских и русских конторах в Вержболове и неоднократно в силу этого был на особом замечании чинов таможни и министерства финансов, имевшего даже по поводу неблагоприятных в этом отношении действий Мясоедова ряд переписок со штабом корпуса жандармов, отстаивавшим Мясоедова.

... Тем не менее Мясоедов был отчислен, а встретился я с ним вновь, когда я был приглашен к участию в работах совета по делам торговли и мореплавания по расширению добровольного флота с точки зрения создания мощного русского коммерческого мореходства, которое могло бы в случае войны с Германией быть сильным подспорьем для нашего военного флота. С этой целью имелось в виду принять со стороны правительства все меры к тому, чтобы убить частную конкуренцию в лице «восточно-азиатского общества» и других предприятий, созданных немецкими акционерами, при широкой поддержке германского производства. Во время продолжительных заседаний при рассмотрении выработанного по сему поводу правительственного законопроекта мне пришлось вступать в самые горячие дебаты именно с полковником Мясоедовым, являвшимся тогда одним из главных представителей «Восточно-азиатского пароходного общества».

Роль и значение в особенности этого общества была широко очерчена в «Торгово-промышленной газете» еще

в 1905—1906 годах; она разоблачала деятельность этого и подобного рода пароходных предприятий, работавших в водах, омывающих Прибалтийский край, не столько с коммерческими, сколько со стратегическими и обследовательскими — в интересах Германии — целями. Ввиду всех этих причин попытки Мясоедова вернуться в корпус оканчивались неудачей. Вследствие этого Мясоедов, не оставляя своего желания снова вступить в состав офицеров русской армии, как мне передавали, сблизился за границей с супругой Сухомлинова на почве оказания ей услуг, а затем и с ним самим во время лечения их на водах, сумел войти к ним в особое доверие и при приезде в Россию стал часто бывать у Сухомлиновых, ввиду чего, когда он выразил желание поступить в генеральный штаб для борьбы с контршпионажем, Сухомлинов изъявил свое согласие и, получив ответ от министерства внутренних дел, в общих чертах дающий неодобрительный отзыв о Мясоедове, лично обратился к министру внутренних дел А. А. Макарову с просьбой пересмотреть это дело. Когда А. А. Макарову была представлена мною в подробностях вся справка о Мясоедове, то он поручил мне отправиться к Сухомлинову и подробно с нею его ознакомить. Так как в этой справке явных улик, изобличающих Мясоедова как лицо, служащее интересам иностранной державы, не было, а было выставлено лишь много косвенных соображений, внушающих подозрение к нему, то Сухомлинов, узнав от меня, что эту справку составлял заведующий политическим отделом департамента полиции полковник Еремин, которого генерал Сухомлинов хорошо знал еще по Киеву во время службы Еремина в должности начальника киевского охранного отделения в дни революции, просил меня поручить

Еремину прийти к нему со всеми подлинными переписками, относящимися к делу Мясоедова.

Просмотрев все представленные Ереминым дела и выслушав доклад последнего об опасности допуска Мясоедова к делам особо секретного свойства генерального штаба, Сухомлинов тем не менее остался при своем первоначальном решении, и приказ о прикомандировании Мясоедова к генеральному штабу по отделу о контрразведке через некоторое время состоялся. После этого Мясоедов явился ко мне и дал понять, что хотя департамент полиции и чинил ему препятствия к его назначению, но тем не менее этим самым только укрепил доверие к нему со стороны Сухомлинова, давшего ему такое ответственное поручение, и просил меня допустить его к делам секретного свойства по политическому отделу для ознакомления с данными, могущими быть ему полезными в новой его должности. Получив от меня ответ, что все из интересующей его области департамент полиции от имени министра внутренних дел сообщает особо секретными письмами военному министру, Мясоедов тем не менее просил меня о разрешении до поры до времени заходить в особый отдел департамента полиции для наведения или проверки необходимых ему справок или для личного ознакомления с переписками, сославшись на то, что в данном случае эта просьба исходит не от него, а от военного министра. Хотя военный министр потом попросил министра внутренних дел оказывать в этом отношении содействие полковнику Мясоедову, но министр внутренних дел, которому я передал о своем опасении допуска Мясоедова к делам политического отдела, поручил мне продолжать старую систему сношения по делам о контршпионаже с министром

военным, и поэтому я, переговорив с полковником Ереминым и Виссарионовым, установил, чтобы во время заходов к Еремину полковника Мясоедова Еремин в вежливой форме, не обижая его, узнав о существовании его просьбы, для последующего затем, если в департаменте полиции имеются сведения, сообщения начальнику генерального штаба или военному министру, отговаривался неимением в распоряжении департамента этих данных. Со своей стороны, и генерал Поливанов принял, как мне известно было из наведенной мною справки, ту же систему недопуска Мясоедова к делам и планам особо важного значения в деле обороны по генеральному штабу, что вызвало по жалобе Мясоедова личное вмешательство генерала Сухомлинова и, если я не ошибаюсь, изменение по его приказанию заведенного ранее в этой области порядка в выделении известной группы дел в личное заведование полковника Мясоедова, под его, министра, руководством...»

...Вот как работал агент Мясоедов под опекою военного министра Сухомлинова!

Вот какие данные уходили в бронированные сейфы германского генерального штаба!

Вот какого уровня шпиона смогли разоблачить русские военные разведчики, несмотря на то, что действовали они прямо против воли царя, ибо заносили руку на его любимца Сухомлинова.

Казнь Мясоедова после приговора, вынесенного военным трибуналом в Варшаве, вызвала растерянность в германофильских кругах столицы, группировавшихся вокруг императрицы и Распутина.

Однако негодование общественности было столь велико, что Сухомлинов был вынужден уйти в отставку.

О дальнейшем развитии событий показывает тот же директор охраны Белецкий:

«Я изредка наносил визиты Сухомлинову, или, вернее сказать, его жене, а после его падения, будучи ему обязан принятием брата в Медицинскую академию, не считал себя вправе прекратить знакомство с человеком. До заключения его, Сухомлинова, в крепость я о ценности обвинительного против него материала не знал. Мне, впрочем, было известно, что тогдашний помощник военного министра генерал Беляев бывал у Сухомлинова, как равно и некоторые другие из высших чинов военного министерства, а также я знал, что министр двора граф Фредерикс, начальник охраны государя Воейков, генерал-адъютант Максимович и некоторые другие из придворных лиц продолжали относиться к генералу Сухомлинову с прежним благорасположением, не веря, чтобы он мог быть сознательным изменником родины.

Зная характер Сухомлинова и некоторым образом порабощение его женою, я допускал возможность, что он по просьбе жены мог оказывать доверие лицам, преследовавшим и цели шпионажа, так как супруга генерала Сухомлинова была, с моей точки зрения, неразборчива в изыскании средств для фонда, обслуживавшего все организации, созданные ею в широких размерах в связи с военными обстоятельствами, и зачастую знакомилась и оказывала внимание почти незнакомым ей лицам, прибегавшим путем благотворительных взносов к ее влиянию и поддержке в преследовании личных выгод. Затем в первое мое

посещение Сухомлинова он показал мне письмо, лично написанное ему самим государем, в котором его величество в очень доброжелательных выражениях изъявлял свое прежнее доверие Сухомлинову, свою благодарность за его службу и свое сожаление, что только напор общественных требований заставил его, государя, с ним расстаться.

Начала сближения Сухомлиновых с Распутиным не знаю. Но думаю, что сгустившиеся над ними тучи заставили их прибегнуть к той оси, на которой вращались в ту пору судьбы России, — к Распутину, и, как только они нашли способ заручиться его особым к ним расположением, положение дела Сухомлинова резко изменилось, и супруге Сухомлинова было обещано оказание содействия в деле ее мужа. Так как министр юстиции А. А. Хвостов, несмотря на все обращенные к нему просьбы Сухомлиновой и влияние на него со стороны многих лиц, в том числе и премьер-министра, не шел ни на какие компромиссы, то под влиянием Распутина положение А. А. Хвостова сильно пошатнулось. Государь исполнил просьбу премьера Штюмерера о замене Хвостова на посту министра юстиции А. А. Макаровым.

Распутин в это время был недоволен Штюмерером, ибо он хотя и передавал через фрейлину Никитину свои письма и прошения Штюмереру, но последний или не считался с ним, или замедлял, по ним исполнение. Дело дошло до того, что Распутин вызвал к телефону Штюмерера и в самой непозволительной резкой форме потребовал исполнения прошений. Когда Штюмерер начал говорить, что он исполнит только некоторые из этих просьб, то Распутин не только настоял на исполнении всех, но еще прибавил новые. Хотя после этого Штюмерер

стал чаще встречаться с Распутиным в помещении Никитиной в Петропавловской крепости, но зароненное подозрение сделало свое дело, и об изменившемся отношении Штюрмера к Распутину стало известно во дворце.

Когда я вернулся осенью в Петроград и встретился в воскресенье у Распутина с Вырубовой, то как Распутин, так и она выразили свое неудовольствие по поводу того, что и новый министр юстиции А. А. Макаров не желает идти навстречу пожеланию императрицы в деле изменения меры пресечения относительно Сухомлинова, хотя и имеет в своих руках доказательства болезненного состояния последнего, и просили меня по этому поводу поговорить с ним. Будучи вслед за этим с визитом у Макарова, я передал ему просьбу Вырубовой и узнал от него, что он в интересах государя, оберегая его имя, не считает себя вправе вмешиваться в следственные действия по делу Сухомлинова, порученные сенатору Кузьмину, о чем он, Макаров, и докладывал уже его величеству.

В таком духе я и передал Вырубовой ответ Макарова.

Неожиданное для всех освобождение Сухомлинова из-под ареста последовало помимо Макарова, и, как я потом узнал, Распутин приписывал своему влиянию последовавшее из ставки высочайшее повеление на имя председателя совета министров Штюрмера, — «освободить!».

Затем, будучи у Распутина незадолго до его смерти, по поручению Вырубовой, встревоженной распространявшимися как в Петрограде, так и в провинции слухами, дошедшими и до меня, о

подготовлении убийства Распутина и потому просившей меня повлиять на Распутина быть осторожным в своих знакомствах и секретных выездах, я в разговоре с Распутиным узнал от него, что он не успокоится до тех пор, пока не добьется прекращения дела Сухомлинова. В заключение Распутин добавил, что по его настоянию Макаров будет смнен и его должность займет Н. А. Добровольский, которого он уже рекомендовал вниманию императрицы и государя, так как он, зная Добровольского лично, уверен, что Добровольский примет все меры к скорейшей ликвидации дела Сухомлинова...»

...Несмотря на то что Сухомлинов был отпущен из Петропавловской крепости к себе в дом, жена его стала по-прежнему разъезжать по столице на «моторе», сановники вновь принялись наносить визиты вежливости, тем не менее после казни Мясоедова утечка информации из святая святых России была остановлена мужеством, умом и достоинством русского военного офицера Якова Колаковского, доставившего в генеральный штаб, в его разведывательное ведомство, ту главную улику, которая и позволила нанести удар по лагерю изменников.

Подвиг Колаковского — офицера русской военной разведки — позволил сделать достоянием гласности то, что тщательно скрывалось от народа, и кто знает, сколь много эта правда значила для тех, кто вскорости вышел на улицы Питера с оружием в руках, — весной девятьсот семнадцатого...

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книгу о разведчиках, о действиях секретных служб, о битвах «тайной войны» не часто встретишь на прилавке магазина: она раскупается мгновенно. Читателя привлекает не только напряженность действия, свойственная этому жанру, но и сильные характеры, а также патриотические побуждения людей, часто сознательно жертвующих своей жизнью во имя долга.

Популярность жанра связана и с известными издержками, с появлением «занимательной» беллетристики, с публикацией сочинений, показывающих подчас отсутствие реальных представлений о сути изображаемых явлений. Неизбежная и неразрывная связь разведки с секретностью порождает своеобразную романтику тайны, и последняя нещадно эксплуатируется в интересах занимательности.

Между тем разведка — это не романтика, а суровая действительность. Ее необходимость диктуется всей сложностью межгосударственных отношений. Можно с уверенностью сказать, что разведка так же стара, как и войны, а профессия разведчика — одна из древнейших. Любой из выдающихся полководцев древности — Александр Македонский и Ганнибал, Цезарь и Митридат Понтийский, не говоря уже о позднейших военачальниках и государственных деятелях, не только широко, но и умело пользовались данными, добываемыми разведкой. Она является составной частью военного искусства. Ее по праву называют «глаза и уши армии». Разведка была и остается одним из важнейших видов боевого обеспечения войсковых действий. Ее успеху всегда сопутствовали удачи на поле боя, а

поражение разведки часто сопровождалось военным разгромом.

Средства и методы разведки претерпевали изменения и совершенствовались. Они зависели не только от характера военных действий, но и от уровня общественного развития. С течением времени разведка стала вестись постоянно, а не только в военное время, и разведчики пытались добыть не только военные и государственные тайны, но и стали собирать сведения об экономике и внутривластическом положении враждебного государства. Росла и роль разведки в выполнении внешнеполитических замыслов, не говоря уже об успехе отдельных военных операций и целых кампаний.

Особенно возросло значение разведки в XX веке. Много примеров решающего воздействия разведки на успех крупных операций принесла вторая мировая война. Советским читателям хорошо известны имена Н. И. Кузнецова и Р. Зорге, Л. Е. Маневича и Шандора Радо. Многие другие имена остались неизвестными, однако дела этих героев не забыты. Их подвиги запечатлены в многочисленных книгах. В последние годы посвященная советским разведчикам литература быстро нарастает, так что советский читатель получает большую и обстоятельную информацию.

Однако в этом потоке литературы бросается в глаза определенная аномалия, а именно почти полное отсутствие историко-публицистических произведений, которые опирались бы на факты и давали бы анализ действий разведки и ее роли в работе государственного и военного механизма, в процессе принятия политических и стратегических решений. Такая

литература имеется только в виде переводных изданий, кстати, довольно многочисленных. И они показывают, что советские авторы не создали пока сколько-нибудь обобщающих работ, которые можно было бы поставить в один ряд с книгой Д. Макхарлана «Тайны английской разведки. 1939—1945» (М., 1971), рассказывающей о действиях военно-морской разведки в годы второй мировой войны, либо, скажем, с более ранней книгой американца Р. Роуана «Очерки истории секретной службы» (М, 1946), дающей общие контуры развития разведки с глубокой древности вплоть до первой мировой войны. Вышедшая в 1966 году книга советского историка Е. Б. Черняка «Пять столетий тайной войны» дает развернутую картину истории разведок европейских государств от «сотворения мира» до конца первой мировой войны. Книга Е. Б. Черняка, несмотря на ее несомненные достоинства и историчность, только подчеркивает другой существенный пробел нашей литературы — отсутствие исследований по истории разведки в России.

Предлагаемая читателям работа А. Горбовского и Ю. Семенова не просто восполняет пробел в существующей литературе. Она как бы открывает новую страницу в описании истории страны, обращает внимание на ту сторону деятельности государственного аппарата и его военного ведомства, которая прежде просто ускользала от внимания историков, но без которой невозможно представить себе его функционирование.

Создание такой книги представляло большие трудности, поскольку приходилось идти по целине, собирать рассеянные по крохам сведения и факты. Задача осложнялась и тем, что многие эпизоды — иногда

даже решающие события — не стали и никогда не станут известными, ибо сами участники в свое время позаботились об уничтожении всех следов и письменных источников. В других случаях, когда такие источники сохранились, они подчас продолжают оставаться недоступными.

В целом авторам удалось создать книгу, интересную не только для широкого читателя, на которого она рассчитана, но и для специалиста-историка в силу новизны приводимых фактов. Естественно, что в трактовке многих эпизодов авторы внесли свое видение проблем, допустили некоторый художественный домысел.

Однако беллетризованная форма изложения в данном случае не может сбить с толку. И А. Горбовский и Ю. Семенов по своему образованию — профессиональные историки, прекрасно знающие цену источника, архивного документа, авторитетного свидетельства, умеющие разбираться в тонкостях международной ситуации, в которой приходилось действовать разведчикам, и ориентироваться в противоречивых оценках исторической литературы.

Представляет интерес небольшой экскурс авторов в историю русской разведки допетровского времени, хотя основное внимание сосредоточено на событиях XVIII и XIX веков. Такая структура книги понятна не только с точки зрения имеющегося материала, но и вполне объяснима: реорганизация государственного аппарата при Петре I, включение Российской империи в европейскую и мировую политику потребовали решения новых задач, что было немыслимо без правильно организованной разведки.

Внимание читателя, немало знающего о многочисленных русско-турецких войнах XVIII века, привлекается к роли разведки в их исходе. Пожалуй, впервые так называемый широкий читатель узнает имя надворного советника П. П. Веселицкого, начальника тайной канцелярии главнокомандующего русских войск в Семилетнюю войну, выдержавшего единоборство с «королем шпионов» Фридрихом II, а затем серьезно потрудившегося для раскрытия военных секретов султанской Турции.

Чрезвычайно важным является сообщаемый в книге факт, как российская разведка раскрыла планы Наполеона о подготовке к войне против России.

История российской военной разведки в XIX веке подается в книге сквозь призму ее борьбы с английской разведывательной службой в Средней Азии, Персии и Афганистане. Посвященные этому периоду главы занимают добрую треть книги, а центральным эпизодом здесь является деятельность Ивана Виткевича — человека удивительной судьбы и трагического конца, сорвавшего происки английской разведки в Афганистане. Ему был посвящен первый роман Ю. Семенова («Дипломатический агент. Повесть о востоковеде И. В. Виткевиче». М., 1959), и включение материалов о нем в данную книгу вполне естественно и правомерно.

Нет нужды пересказывать книгу — читатель сам вынесет о ней суждение. Но об одной ее стороне хотелось бы сказать. Книга не претендует на последовательное изложение истории русской военной разведки. Давая лишь отдельные очерки ее деятельности, она не освещает таких проблем, как совершенствование секретной службы и военной

разведки по мере развития централизованного государственного аппарата Российской империи, по мере совершенствования разведывательной техники ее внешнеполитических противников, их перехода к созданию массовых агентурных сетей, по мере изменения представлений о том, что является военной тайной и какие функции должна соответственно выполнять военная разведка. Естественно, что российская военная разведка усложнялась и совершенствовалась, так же как и разведка других великих держав. Менялся также и тип разведчика: происходил переход от энтузиаста-патриота типа Александра Фигнера или армейского офицера, которому поручалось исполнение разведывательных функций, к разведчику-профессионалу. На передний план выдвигается фигура руководителя разведывательной организации, деятельность крупных учреждений в виде отделов или управлений генерального штаба, способных собрать и проанализировать большое число разрозненных фактов, дать им аналитическую оценку, создать подлинную картину планов противника, методов, средств и сроков их осуществления. Таких материалов в книге нет. Но винить в этом авторов не следует, поскольку ни один историк не касался еще поставленных вопросов. Они остаются «белым пятном».

Необходимо сказать несколько слов о последних десятилетиях существования царизма. Как часть военно-политического аппарата, российская разведка не могла не переживать тех же кризисных моментов, что и весь государственный механизм империи. Давно замечено, что кризис политического строя сказывается на работе всех звеньев управления, включая и разведку. Гнилость царского режима имела те же следствия. Даже

отдельные достижения не шли впрок. Достаточно вспомнить начало и ход русско-японской войны 1904—1905 годов как хрестоматийный пример неспособности воспользоваться данными, поставляемыми разведкой, да и вообще пренебрежения ею. Не на высоте оказалась и русская контрразведка. В поражениях русских войск в ходе этой войны промахи разведки играли чрезвычайно большую роль. Показателем может служить течение Мукденского сражения, исход которого был прямо связан с неведением русского командования о положении дел в стане врага. И какой разительный контраст: если в 1812 году русская разведка располагала данными о намерениях противника, то в 1904 году был полный провал — отсутствовали сведения о силах японцев, налицо был крупнейший просчет в определении возможностей противника и его конкретных планов.

Самое тяжелое поражение понесла российская военная разведка в годы первой мировой войны. Главное — она не смогла пресечь деятельность вражеской агентуры в стране в период войны, предотвратить утечку совершенно секретной информации на самом высоком уровне, не смогла выявить расшифровку русского военного кода германской и австрийской разведкой, что делало доступным для врага как стратегические, так и тактические планы русского командования. В силу ряда причин (массовые агентурные сети, наличие германофильских течений среди правящих кругов и на верхушке государственной иерархии, и т. д.) германская и австрийская разведки развернули в стране чрезвычайно широкую подрывную работу, сказавшуюся на состоянии экономики, психологическом климате, росте пораженческих настроений и внутривластной

напряженности, а также на других факторах, что резко ослабляло боевые возможности русской армии. Эти уроки истории не могут быть забыты. За них дорого заплатили все народы нашей страны.

Хотелось бы надеяться, что книга А. Горбовского и Ю. Семенова получит не только радушный прием у читателей, но и даст толчок развитию исследований по истории русской военной разведки — области, которая до сих пор совершенно незаслуженно обходилась историками.

*В. К. ВОЛКОВ,*

*доктор исторических наук*

# Примечания

## 1

И. И. Неплюев (1693—1773) был родом из бедных новгородских дворян. Был послан учиться за границу, в Венецию и Испанию, по возвращении во время экзамена Петр I особо отличил его. В своих записках Неплюев вспоминал: давая после экзамена руку для целования, Петр сказал: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все оттого: показать вам пример и хотя бы под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству».

Был Иван Иванович Неплюев русским резидентом в Константинополе, контр-адмиралом, наместником Оренбургского края. Восемидесяти лет, умирая в своем имении, в деревне, он велел поставить на могиле памятник со следующими словами: «Здесь лежит тело действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера Ивана Неплюева. Зрите! Вся та тщетная слава, могущество и богатство исчезают, и все то покрывает камень, тело же истлевает и в прах обращается. Умер в селе Поддубье, 80-ти лет и 6 дней, ноября 11 дня 1773 году».)

## 2

*Футор* — кожа особой, мягкой выделки.

## 3

К началу Семилетней войны большая часть территории нынешних Соединенных Штатов являлась

французской колонией. Значительная доля переселенцев там были французы и господствовавшим языком — французский. В результате войны большая часть этих владений перешла к Англии. Соответственно стал меняться и состав поселенцев. Если бы этого не произошло, на месте сегодняшних Соединенных Штатов сейчас, возможно, было бы другое государство. Язык большинства его жителей, очевидно, был бы французский. Естественно, сегодня нам трудно представить себе это, как трудно представить себе и возможные последствия этого гипотетического хода событий.

#### 4

*Бестужев-Рюмин* Алексей Павлович (1693—1766) — русский государственный деятель и дипломат. Политическая его программа состояла в укреплении союза с Англией, Голландией и Австрией против Франции.

#### 5

*Талейран* — французский дипломат, мастер интриги, одно время министр иностранных дел.

#### 6

Это слово капитан написал по-русски.

#### 7

*Компания* — имеется в виду английская Ост-Индская компания, имевшая свою армию и под флагом которой осуществлялось завоевание индийских княжеств и соседних стран.

**8**

Как понимать ваши первые слова? (*Перс.*)

**9**

То, что вы сказали, правда? (*Кирг.*)

**10**

Конечно, понимаю (*афг.*).

**11**

Полная свобода действий, буквально — белая карта (*франц.*).

**12**

Глиняный забор.

**13**

Государственный язык Афганистана.

**14**

Будь счастлив (*афг.*).

**15**

Подтверждением этого явилось сипайское восстание 1857—1859 годов, едва не стоившее англичанам этой колонии.

**16**

*Муаллим* — ученый, учитель, почтительное определение к имени человека.

## 17

Имеется в виду война 1878—1880 годов. Английские войска вторглись в Афганистан, но в результате народно-освободительной войны вынуждены были бесславно покинуть его.

## 18

Английский исследователь тех лет писал, что и это нападение на Афганистан «кончилось, подобно предыдущей войне, поражением и унижением» Англии

## 19

*Кран* — персидская серебряная монета, имевшая хождению в то время в Персии и сопредельных странах.

## 20

Войска Скобелева взяли Хиву в 1873 году. Одним из результатов этого было запрещение рабства. Эдикт, подписанный хивинским ханом, гласил: «Я, Сенд-Мохаммед-Рахим-Бахадур-хан, повелеваю всем моим подданный из уважения к русскому дарю отпустить на волю всех невольников моего ханства. С этого момента рабство навеки уничтожается в моих владениях. Да послужит этот акт человеколюбия залогом вечной дружбы и уважения между моим славным народом и народом великой России». Каждое слово этого эдикта было оплачено ценою крови русских солдат. По эдикту были освобождены двадцать один русским, бывший в рабстве, и двадцать пять тысяч персов!

## 21

Ишан — (*перс.* — «они») — духовные наставники.

## 22

Другой пример глубокого проникновения японской разведки — история кавалерийского рейда генерала Мищенко на Инькоу. Штабу японского фельдмаршала Ояма было известно о готовящейся операции за две недели до того, как это стало известно самим частям, участвовавшим в рейде. Японцы знали не только число солдат, но и точные номера частей. Каким образом эта сверхсекретная информация стала известна неприятелю, на этот вопрос до сих пор нет ответа.

## 23

Почти за год (октябрь 1904-го — сентябрь 1905-го) через штабы всех шести корпусов Первой армии прошло всего 15 пленных японских офицеров и только 808 солдат.

## 24

К одной из дивизий армии Куроки, например, были прикреплены два агента. Один из них был дивизионный кузнец, другой — плотник. Они встречались по нескольку раз в день, не догадываясь, естественно, об истинной роли друг друга.

## 25

Данные по Третьей армии за март — сентябрь 1905 года: отправлено агентов 121, вернулось с донесением обратно только 56. В большинстве случаев из трех агентов-китайцев возвращался один.

## 26

Предметам этим уделялось особое внимание. По штабам был разослан приказ, который гласил: «Добывание неприятельских погон, фуражек, кожаных бирок на ружьях, записных книжек имеет такое же значение, как определение мест расположения более крупных частей войск». Полученные сведения рекомендовалось незамедлительно по телефону сообщать генерал-квартирмейстеру армии.

## 27

После ряда попыток японцев вывести железную дорогу из строя была усилена ее охрана. Каждый километр железной дороги в Маньчжурии охраняли 55 человек. Это весьма затруднило действия японских диверсантов, в то же время ослабив русскую армию на 50 тысяч солдат.

## 28

*Ходя* — пренебрежительное прозвище китайцев, бытовавшее в те годы в Маньчжурии.

## 29

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 34, с. 370.

## 30

Некоторые источники и документы тех лет называют Мясоедова подполковником по предшествующему званию.